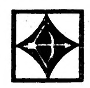


Юрий КЛАРОВ

ПЯТЬ ЭКСПОНАТОВ ИЗ МУЗЕЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА



Юрий КЛАРОВ

ПЯТЬ ЭКСПОНАТОВ ИЗ МУЗЕЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
1985

84Р7
К 47

Кларов Ю. М.

К47 Пять экспонатов из музея уголовного розыска: Повесть. — М.: Мол. гвардия, 1985. — 272 с., ил. — (Стрела).

1 р. 100 000 экз.

Повесть знакомит читателей с начальником Первой бригады Петроградского уголовного розыска Усольцевым и его другом искусствоведом Беловым. В событиях, описываемых автором, участвуют не только они, но и экспонаты созданного Усольцевым при уголовном розыске музея антикварных вещей, поисками которых занималась милиция. Читатель узнает о приключениях старинных часов, перстня Пушкина, медальона Марата и о многом другом.

К $\frac{4702010200—334}{078(02)—85}$ КБ—37—17—85

ББК 84Р7
Р2



Белов и Усольцев



сли бы кто-нибудь сказал, что криминалистика способствует процветанию литературы, искусства и науки, а уголовный розыск — верный и надежный покровитель муз, этого еретика в лучшем случае обвинили бы в кощунстве, — улыбнулся Василий Петрович Белов, старый искусствовед, с которым меня связывала многолетняя дружба. — Поэтому я, как вы знаете, никогда подобных заявлений не делал и делать не собираюсь. Но кто мне может помешать вспомнить некоторые любопытные факты? Поэтому, если не возражаете...

Я не возражал.

— Увы, — сказал Василий Петрович, — искусствоведам зачастую приходится не только разбирать достоинства и недостатки того или иного произведения, но и решать — не подделка ли это? И тут неизменно им на помощь приходит криминалистика.

А хищения? Не буду подробно рассказывать о нашумевшей на весь мир в 1911 году краже из Лувра знаменитой Моны Лизы Леонардо да Винчи, краже, в которой некоторые французские газеты обвиняли тогда не кого-нибудь, а самого германского императора Вильгельма II, решившего якобы таким образом подорвать дух французской нации.

Это дела давно минувших дней. Но как вам нравятся такие, например, цифры. За последние 30 лет в Италии совершено свыше 44 тысяч краж различных произведений искусства. Это значит, что свыше 44 тысяч раз итальянские детективы приходили на помощь ценителям искусства, разыскивая картины Рафаэля, Ван Гога, Ренуара.

Подобные поиски не всегда, конечно, успешны. Но недавно, например, я с радостью узнал, что сотрудникам уголовного розыска Югославии удалось наконец найти бесценную коллекцию расстрелянного во время войны гитлеровцами жителя Белграда Эрика Сломовича. Эта коллекция, состоящая из двухсот картин и рисунков Дега, Ренуара, Гогена, Писсарро, Сезанна, Пикассо, теперь находится в Белградском государственном музее изобразительных искусств.

Что же касается литературы, то без криминалистики здесь тоже не обошлось...

Работников уголовного розыска в романах, повестях и рассказах ничуть не меньше, чем в реальной действительности. Милиционеры честно несут свою службу на страницах многих книг.

А криминальные сюжеты? Причем я имею в виду не только мастеров детективного жанра, но и классиков: Шекспира, Льва Николаевича Толстого, Достоевского, Стендаля, Бальзака.

Марк Твен же вообще был с криминалистикой на «ты». Еще задолго до использования юристами Европы и Америки дактилоскопии, он в своей «Жизни на Миссисипи» с помощью отпечатков пальцев раскрыл убийство.

Литературоведам криминалисты и судебные медики помогли детально воспроизвести все обстоятельства гибели Пушкина и Лермонтова, отделить фантазию от реальности, домыслы от действительности. Некоторые исследования были связаны с Чернышевским. Графическая экспертиза доказала, что «Воззвание к барским крестьянам», за сочинение которого был осужден на 7 лет каторги великий революционный демократ, написано вовсе не им.

С помощью метода фотосовмещения и рентгеноскопии была уточнена внешность Шиллера и Гёте, Петрарки и Данте.

Не могут быть в претензии и историки. Достаточно вспомнить уникальную судебно-медицинскую экспертизу праха человека, убитого более чем восемьсот лет назад. Восемьсот, я не оговорился. Этим человеком был сын Юрия Долгорукова, князь Андрей Боголюбский.

Только один-единственный удар был нанесен князю спереди. Все остальные — сбоку и сзади или уже по лежачему. Таким образом, заговорщики застали свою жертву врасплох и воспользовались этим. Убийцы, по

заключению экспертизы, в качестве орудий преступления применяли копья, мечи и топор.

Даже кино не было обойдено вниманием криминалистов и криминалистики. О героях и сюжетах говорить не буду — это общеизвестно. Но вряд ли вы знаете что-либо об использовании в кино фоторобота. Между тем фоторобот весьма помог кинорежиссеру Иву Чампи, когда он решил снять фильм о легендарном советском разведчике Рихарде Зорге. Чампи тогда еще не располагал подлинными фотографиями Зорге, но он во что бы то ни стало хотел, чтобы актер, играющий главную роль, был похож на погибшего разведчика. Как этого добиться? На помощь режиссеру пришли криминалисты. По описаниям людей, знавших Зорге, составили портрет-робот. Он помог Иву Чампи подобрать на главную роль человека, очень похожего на Зорге.

Ну а теперь, — сказал Василий Петрович, — когда вы прониклись должным уважением и симпатией к уголовному розыску, криминалистам, криминалистике, судебным медикам, а главное — поняли, что они все-таки порой имеют некоторое отношение к музам, я вам хочу заочно представить моего друга Евграфа Усольцева, который после Октябрьской революции вместе со мной работал в Народном комиссариате художественно-исторических имуществ республики, а затем в Петрогуброзыске.

Я не мастер описывать людей. Скажу лишь, что Усольцев относился к числу тех, кто при первом же знакомстве вызывает доверие и симпатию, причем с годами у вас эти чувства не только не слабеют, а все более и более крепнут. В нем были основательность и целеустремленность сильного человека, твердо убежденного, что он выбрал правильный путь, цельность, любовь к жизни и завидная способность увлекаться, отдавая себя без остатка любимому делу.

Что же касается внешности, то, как говорят криминалисты, никаких особых примет, разве что уж очень синие глаза. Но, как известно, синих глаз на свете много, а Усольцев всегда был для меня один-единственный.

Надо сказать, что работа в уголовном розыске, как я смог убедиться, по плечу далеко не каждому. А уж в те годы — и говорить нечего. При Временном правительстве страну захлестнула волна преступности. Да что там волна — девятый вал. Причин тут, конечно, было много, но не последнее место среди них занимала

полная амнистия, объявленная в марте 1917 года всем разбойникам, бандитам, убийцам и грабителям.

Сразу же после амнистии газеты запестрели сенсационными сообщениями.

В Петрограде вооруженными уголовниками было ограблено здание Сената. Бандиты увезли золотую статую Екатерины II, сделанные из золота фигуры конных трубачей, уникальный ларец Петра Великого и другие ценности на сумму более полутора миллионов золотых рублей.

Банда Гришки Тряпичника совершила налет на музей Александра III (ныне Русский музей), а молодцы из шайки Старовойтова, именовавшего себя королем Лиговки, пытались — правда, безуспешно — ограбить Эрмитаж.

Убийства и налеты стали обыденным явлением, а уж к обычным кражам все так привыкли, что в витринах продовольственных магазинов рядом с сырами, колбасами, ветчиной обязательно красовалась эмалированная или фанерная дощечка с обращением: «Уважаемые граждане воры! Убедительная просьба не портить зря витрину: все выставленные в ней продукты сделаны из дерева и несъедобны».

Да, тяжело тогда приходилось работникам милиции, которые не знали ни сна, ни отдыха.

Когда в 1920 году я приехал по делам в Петроград и встретился с Усольцевым, то сразу же обратил внимание на его осунувшееся лицо. Правда, глаза Евграфа по-прежнему светились безоблачной синевой.

«Достается небось?»

«Да нет, ничего. Вчера три полотна нашли из тех, что Тряпичник в музее Александра III похитил. Так что не зря хлеб едим. Вот только времени свободного мало. Ничего не успеваю».

Это было не совсем так. Уж не знаю, когда и каким образом, но Усольцев, помимо своей работы, а он тогда уже возглавлял Первую бригаду, которая расследовала самые опасные преступления, успевал многое. Он ухитрялся постоянно читать книги, штудировал учебники по антропометрии, дактилоскопии, искусствоведению и истории. Активно участвовал он и в жизни Первой культурно-образовательной коммуны милиционеров, которой тогда интересовался Горький.

Энергии Усольцева хватало на все. И в конце двадцатых годов при Ленинградском уголовном розыске

стараниями того же Усольцева и эксперта-инструктора по научной части Гришака, книжника и педанта, был создан своеобразный музей, под который отвели большую и светлую комнату.

Экспозиция музея открывалась запечатленными на полотне словами Алексея Максимовича Горького, сказанными им на милицейской конференции, которая в марте 1920 года проходила в Таврическом дворце: «С удовольствием буду работать с милицией и в милиции».

Чего только не было в этом музее! Каждый принятый на работу сотрудник мог познакомиться здесь со знаменитым приказом начальника Петроградской губернской милиции, который был зачитан на Дворцовой площади у арки Главного штаба, где проходил первый в республике милицейский парад: «...Быть постоянно на посту завоеваний Октябрьской революции — вот одна из наших неотложных задач... Все, что добыто морем крови и жизнями многих тысяч лучших сынов трудовой России, — все это отдается под охрану красному милиционеру...»

Тут же отпечатанный на стареньком «ундервуде» текст милицейской присяги: «Я, сын трудового народа... обязуюсь стоять на страже революционной законности и порядка и защищать интересы рабочих и крестьян...»

Под текстом присяги — фотографии сотрудников Петрогуброзыска, погибших при выполнении своего долга. Многие красные милиционеры расстались с жизнью, очищая молодую республику от скверны бандитизма...

В музее экспонировались отобранное у преступников оружие (ножи, револьверы, пистолеты, винтовки, гранаты), воровские инструменты («рвотки», «шапоры», «гусиные лапки», «балерины»), поддельные документы, дагерротипы, отпечатки пальцев, альбомы фотографий воров различных специальностей. А в дальнем углу комнаты находилась витрина, которую можно было бы назвать так: «Искусство, история и уголовный розыск». Здесь под толстым стеклом лежали скромный медальон, рисунки перстня, старинных часов, фотографии солдата петровских времен и кресла.

Ничем не примечательные как будто экспонаты. Но Усольцев не зря выделил для них специальную витрину. С каждым из этих экспонатов была связана история. Весьма любопытная история, полная самых различных и разнообразных приключений.







Экспонат № 1

Треугольному оправленному в серебро каменному медальону, который лежал перед нами на гладкой полированной поверхности письменного стола, было без малого двести лет. Немой свидетель французской революции...

Но немой ли? По темному от времени серебру медальона раскинулась черная паутина миниатюрных, почти микроскопических рисунков.

— Ньелла, или, как ее у нас чаще называют, чернь, — объяснил Василий Петрович. — Один из древнейших способов обработки серебра.

Я взял медальон в руки и поднес его к глазам. Ньелла изображала похороны Марата. На лицевой стороне медальона в орнаменте из остроконечных фригийских колпаков высилась украшенная лентами четырехгранная усеченная пирамида. На ее вершине в окружении горящих факелов стояло ложе с обнаженным по пояс, так, чтобы была видна рана, телом Друга народа. Справа — ванна, в которой тяжело больной Марат работал над очередным номером своей газеты, слева на деревянном чурбане, служившем трибуну революции письменным столом, — его окровавленная рубашка.

На тыльной стороне медальона, в его верхней части, — прорезные контурные изображения Бастилии и двух отрубленных голов: Людовика XVI и Шарлотты Корде. Под ними снова сделанные чернью слова Марата: «Свобода должна существовать только для друзей отечества, железо и казни — для врагов».

Медальон не напоминал о прошлом — он его воскрешал. Всматриваясь в рисунки, я видел перед собой сем-

надцатилетнего юношу Жан-Поля Марата, который собирался уехать в далекий Тобольск для астрономических наблюдений, Марата-ученого, чьи исследования электричества были удостоены похвалы Франклина, и Марата — члена грозного Конвента, в ботфортах, кожаных штанах, в куртке с открытым воротом и красным платком на голове...

Я слышал грохот пушек и стук деревянных башмаков санкюлотов, мелодию «Марсельезы» и голос Робеспьера, видел, как представители Совета Коммуны вручают почетную шпагу основательнице Народного клуба вооруженных женщин Теруань де Мерикур. Вместе с членами Национального собрания читал обращение гражданок секции городской ратуши: «Жанна д'Арк спасла Францию в царствование деспота Карла VII. Окажемся ли мы менее мужественными, мы, свободные гражданки, поклявшиеся скорее умереть, чем вернуться в прежнее рабство?»

— Эта вещь попала в руки Усольцева летом 1917 года, — сказал Василий Петрович, — а всего месяц спустя она, скажем так, исчезла. Вполне возможно, что медальон никогда бы не украсил музей Петрогуброзыска, а тем более не оказался на этом столе, если бы не некоторые события того бурного и необычного времени.

Я уже упоминал об амнистии, объявленной Временным правительством. Справедливости ради следует сказать, что не все уголовники тотчас же после освобождения ринулись грабить магазины, очищать квартиры и убивать людей. Какая-то часть амнистированных, пусть и незначительная, решила порвать навсегда со своим преступным прошлым. И вот по Москве стало распространяться воззвание, которое затем было опубликовано в газете «Утро России». «Товарищи воры и грабители! — значилось в нем. — Мы живем сейчас как травленые звери, принужденные насилием добывать себе пропитание или помирать от голода, ибо «честные» и сытые не допускают нас к честному труду. Каждый день все больше и озлобление против нас, и озлобление наше против всех. Мы забытые люди. Опека над нами поручена сыщикам. Но мы не родились преступниками. Голод и нищета заставили нас воровать и грабить. Сейчас никто не дает нам труда и чистого документа, не поддержит нас морально, не сделает честными. Только мы можем это сделать. Товарищи, надо нам сообща обсудить все наши дела и недуги, надо найти выход,

создать свою организацию, свою газету, надо порвать с жизнью преступлений и травли».

Воззвание заканчивалось приглашением на митинг: «Приходите все, братья преступники, взрослые и малолетние!»

Очень похожие воззвания появились тогда и в Петрограде. Здесь митинги «братьев преступников, взрослых и малолетних» проходили на Толкучей площади нового Александровского рынка, на Васильевском острове, недалеко от Смоленского кладбища, в чайной общества трезвости, в работном доме рядом с больницей святой Марии Магдалины. Но, пожалуй, самым представительным, если не самым многочисленным, был митинг в приюте принца Ольденбургского. Здесь в президиуме рядом с известным профессором-юристом и представителем Петроградского Совета сидели взломщик замков Бурданов, который считался самым интеллигентным среди петроградских воров, так как окончил в свое время гимназию; карманник Сережа Аристократ, гибкости пальцев которого мог бы позавидовать любой музыкант; неизменная участница крупных афер Грушенька Перелесова и богатырь-громила по кличке Малыш.

Митинг шел по накатанной дороге. Выступавшие жаловались на судьбу, на равнодушие, на отсутствие внимания к их нуждам, уверяли собравшихся, что навсегда порвали с прошлым и предпочитают умереть с голода, чем вернуться к прежней жизни.

— Пусть отсохнут эти руки, если они еще когда-нибудь залезут в чужой карман! — патетически восклицал, заняв место на трибуне, Сережа Аристократ. — Раньше, похищая чужую собственность, я знал, что это собственность прихвостня самодержавия, царского сатрапа, гнусного и подлого кровопийцы, который жиреет на крови трудового народа. И это облегчало мою истерзанную совесть. Теперь же, когда кровавый Николай вынужден был отречься от престола...

И здесь распалившегося оратора бесцеремонно прервали. В пятом ряду поднялся со своего места голубоглазый парень и спросил у сидящих в президиуме:

— Похож я на царского сатрапа — жандармского генерала, к примеру, или министра двора?

В зале хохотнули, радуясь неожиданному развлечению. Собравшиеся уже устали от бесконечных речей.

Самый интеллигентный из петроградских воров надел на нос свое золотое пенсне, вгляделся в голубоглазого и сказал:

— Нет, на министра двора вы не похожи. И на жандармского генерала тоже. Вы не сатрап. Вы мастеровой или, как ныне говорят, пролетарий. Но почему вы прервали оратора? Это неинтеллигентно. Продолжайте, Сережа, — предложил он выступавшему. Но Аристократу не суждено было закончить свою речь.

Усольцев, а это, как вы догадались, был, конечно, он, сказал:

— Чего врать про царских сатрапов и истерзанную совесть? Помешала ему совесть ко мне в карман залезть? Не помешала. Я ж его сразу в трамвае приметил. — Самый интеллигентный из петроградских воров звякнул председательским колокольчиком, но Усольцев и ухом не повел. — Ежели б деньги, то черт с ними, — говорил он, рубя ладонью, как топором, воздух. — Слова бы не сказал. А то ведь медальон украл, реликвию революции французской. Из камня разрушенной народом Бастилии сделали тот медальон. Совсем совесть потерять надо было, чтоб такое вытворить!

— Ша! Засохни! — зычно крикнула Грушенька Перелесова, и Усольцев, никак не ожидавший, что у этой хрупкой женщины может оказаться такой громкий голос, на мгновение замолк.

Паузой тут же воспользовался Бурданов. Пообещав Усольцеву после митинга во всем разобраться, он предоставил слово очередному оратору.

Когда митинг закончился, Бурданов подошел к Усольцеву.

— Вы действительно убеждены, что у вас этот медальон, извините за выражение, затырили?

— Не буду же я врать! — возмутился Усольцев.

— А мы не прокуроры, — улыбнулся Бурданов. — Мы вас ни в чем не обвиняем. Мы вам верим, как родной маме. Но ведь и мама иногда ошибается. Вам могло показаться, что злоумышленник, к примеру, нахально лезет в ваш карман, а в ваш карман никто и не собирался лазить. Мираж. Сон. Оперетка «Летучая мышь».

— Ерунда!

— Может быть, и ерунда, — миролюбиво согласился Бурданов. — А может быть, и не ерунда. Единственное, о чем я прошу: поройтесь у себя в карманах.

— Чудес не бывает!

— Бывают, — заверил Усольцева Бурданов.

Усольцев вздохнул, раздраженно пожал плечами.

Он вывернул левый карман брюк, затем правый...

— Вот видите, — сказал он и тут же услышал стук упавшего на пол медальона...

Когда Сережа Аристократ и его друзья успели положить украденное обратно — неизвестно. Как-никак работали здесь не обычные рядовые воры, а высококвалифицированые мастера своего дела.

Бурданов смотрел, как Усольцев поднимает медальон, и укоризненно качал головой.

— В человека, — нравоучительно говорил он, — надо верить всегда и при любых обстоятельствах, а вы... Вам стыдно? Ничего, у вас еще все впереди. Сейчас я, к сожалению, очень занят, но, когда у меня будет свободное время, я обязательно загляну к вам немного поболтать и полюбоваться этой вещицей.

«Свободное время» у Бурданова нашлось ровно через десять лет, когда он был задержан и доставлен в уголовный розыск в связи со взломом и ограблением магазина.

— Говорят, что только гора с горою не сходится... — философски заметил он, когда его привели на допрос в кабинет Усольцева. — Свой медальон по-прежнему в кармане носите?

— Нет, теперь он в более надежном месте.

К тому времени треугольный, оправленный в серебро каменный медальон уже находился в музее уголовного розыска.

Показывая его каждому новому сотруднику своей бригады, Усольцев обычно говорил: «Красный милиционер как свои пять пальцев должен знать историю революций. И на посту он тогда будет зорче, никогда друга с врагом не перепутает и не струсит в схватке с бандитами. История — она вроде политического комиссара, все на свои места ставит. А этот медальон, ежели к нему с умом подойти, о многом расскажет».

— И говоря так, Усольцев был совершенно прав, — сказал Василий Петрович. — Приключения медальона, который вы сейчас держите в своих руках, — это рассказ о революции и Марате, о профессоре Царскосельского лицея Давиде де Будри, преподававшем Пушкину, Дельвигу, Кюхельбекеру и Пущину, рассказ о неудачном побеге из Парижа Людовика XVI, об «адской

машине», подложенной под карету Наполеона, и о пятерых повешенных на эспланаде Петропавловской крепости... Но прежде всего о мастере, его сделавшем.

В своей автобиографии Марат писал, что в пять лет он хотел стать школьным учителем, в пятнадцать — профессором, в восемнадцать — писателем, а в двадцать — гениальным изобретателем.

Жак Дюпонт, которого называли в Сент-Антуанском предместье Жак Десять Рук или Жак Счастливчик, был слишком слаб в грамоте, чтобы изложить на бумаге свои мечты. Да и мечтал ли он в детстве? Его будущее было предопределено. Маленький Жак твердо знал, что станет так же, как его отец, куафером. Не каким-нибудь брадобреем, а именно куафером, создающим из обычных, ничем не примечательных волос, растущих на голове у любой женщины, изящные и причудливые куафюры — прически-шляпы, подлинные произведения высокого искусства.

Из всех многочисленных ремесел куаферство было наиболее почетным, а главное — прибыльным. Если на улице Муфтар большинство жителей ютилось в жалких лачугах без печей и ежедневно обедало жидкой чечевичной похлебкой с ячменным хлебом, то в доме Дюпонтов никто не дрожал от холода, а в похлебке, которую варила мать Жака, порой можно было без особого труда выудить кусок мяса. И Дюпонт-старший ежедневно молился за здоровье королевы Марии-Антуанетты, той самой австриячки, которую проклинали все его соседи: бочары, лудильщики, плотники и чистильщики обуви.

Отец Жака рассматривал ее как святую покровительницу куаферов. Ведь не кто иной, как она, ввела в моду высокие, иногда в метр вышиной, прически, которые подпирались специальными пружинными подушечками на проволоке или китовом усе.

Куафер из Сент-Антуанского предместья никогда, разумеется, не был в числе тех, кто колдовал над волосами королевы или ее придворных дам. Герцогини и маркизы обходили его своим вниманием. Но зато к нему охотно обращались жены и дочери мелких чиновников.

Дюпонт-старший был завален работой, и не достигший еще десяти лет Жак старательно помогал отцу. Но Жак так и не стал куафером, а его отец в один из ненастных парижских дней внезапно превратился из ува-

жаемого мастера в обычного уличного брадобрея, который радуется любому клиенту и едва сводит концы с концами. Своим падением, как и возвышением, он был обязан все той же Марии-Антуанетте... После болезни королева потеряла почти все свои волосы. Поэтому куафюры тут же вышли из моды. Версальские, а вслед за ними и все прочие французские дамы вновь стали носить скромные небольшие чепчики: чепчик-«репа», чепчик-«капуста», чепчик-«сельдерей»...

И, посоветовавшись с женой, убитый горем Дюпонт решил определить сына в ученики к серебряных дел мастеру мосье Жиронди, который охотно взял способного мальчика.

Дела же отца Жака пришли в окончательный упадок. Теперь по милости проклятой австриячки дом Дюпонтов уже ничем не отличался от других домов на улице Муфтар. Здесь так же, как и у соседей, ели жидкую похлебку, носили деревянные башмаки и молили бога подарить Франции другую, более порядочную королеву, с сердцем, открытым для простого люда, и, если бог, конечно, не возражает, с длинными и густыми волосами, специально предназначенными для замечательных куафюр...

Старый куафер даже придумал королевскую прическу.

Дюпонт мечтал о том, как его куафюра завоюет всю Францию и его имя будет знать каждый подмастерье, посвятивший свою жизнь куаферству. Но узкие, без тротуаров улицы Парижа, по которым с грохотом стремительно проносились элегантные экипажи и золоченые кареты, не были приспособлены для мечтаний. И когда отец рассказывал Жаку — в который раз! — о своей королевской куафюре, на набережной Конти их сшибла карета.

Обычно аристократы из-за подобных пустяков не задерживались. Но на этот раз кучер, повинуясь приказу своего господина, придержал лошадей.

Брат короля и будущий король Франции граф д'Артуа искал популярности у глубоко презираемой им черни. Поэтому граф послал лакея передать пострадавшим свой тощий по милости скупердяя брата кошелек («О эта свинья Луи!») и выразить сожаление, что его кучер столь неловок.

К несчастью, Дюпонт-старший не смог оценить само-

отверженность высокородного графа, так как был уже мертв. Зато пестрая уличная толпа приветствовала д'Артуа восторженными криками, а нищие, не обращая внимания на удары бича (кучер вымещал на них свою обиду за незаслуженный выговор господина), плотным кольцом окружили карету, моля о подаянии и показывая свои язвы.

Между тем, растолкав зевак и убедившись, что брадобрею теперь ничего не нужно, кроме заупокойной молитвы и места на кладбище, посланец графа, отличавшийся трезвостью ума и хорошим знанием арифметики, поспешно разделил содержимое кошелька на две части. Одну половину он оставил себе, а другую честно отдал Жаку, который со сломанными ребрами лежал в сточной канаве и тихо стонал.

Молодой неотесанный простолюдин, конечно, не догадался поблагодарить графа за милость, тем не менее лакей, который тоже был чем-то вроде графа среди прочих лакеев, сообщил ему, что его господин, граф д'Артуа, щедро оплатит похороны умершего, а к нему пришлет врача. Кажется, молодого недотепу это проняло: на его глазах выступили слезы. Но до чего все-таки груба и неблагодарна парижская чернь!

Итак, Жака не зря прозвали Счастливчиком.

Во-первых, отец его умер не от голода, а погиб под колесами великолепной позолоченной кареты, рассказывая о куафюре, а не о болезнях.

Во-вторых, сам Жак не только не разделил участи отца, но и удостоился благосклонного графского внимания.

В-третьих, его ребра, ничем не примечательные ребра обычного ремесленника из предместья, оценили не в несколько су, а в десять ливров, что превращало его почти в состоятельного человека и давало возможность из ученика превратиться в серебряных дел мастера.

В-четвертых, его теперь бесплатно лечил один из лучших медиков Парижа, «врач неизлечимых», доктор графа д'Артуа.

А в-пятых — и это самое главное, — врач, навещавший Жака, знал не только медицину. Он знал, что нужно для счастья простых людей Франции. И в этом не было ничего удивительного, потому что ему предстояло вскоре стать одним из главных вождей французской революции...

Так, смерть куафера из Сент-Антуанского пред-

местья свела Жака Десять Рук с Другом народа Жан-Полем Маратом, врачом, ученым, памфлетистом и пламенным революционером, всегда утверждавшим, что «любовь к людям — основа любви к справедливости».

С тех пор Жак редко виделся с Маратом, но Марат навсегда вошел в его жизнь, как и тот знойный июльский день 1789 года в саду Пале-Рояля, когда из кафе де Фуа вышел со шпагой в одной руке и пистолетом в другой молодой, но уже достаточно известный журналист Камилл Демулен. Демулен призывал народ к оружию. Король, говорил он, должен наконец подчиниться воле третьего сословия, самого многочисленного сословия страны.

А потом, когда пропахший пороховым дымом, в изодранной одежде Жак нес пику, на острие которой качалась голова последнего коменданта павшей Бастилии де Лонэ, он думал об отце и Марате, о торжестве справедливости, о том, что самовластию аристократов положен конец. Жак считал, что революция, о которой ему говорил «врач неизлечимых», завершена. Но революция только начиналась.

Газета Жан-Поля Марата «Друг народа» била тревогу, предупреждая о готовящемся в королевском дворце заговоре и призывая французов, которым дорога завоеванная свобода, к бдительности. Но в Париже и его предместьях верили в доброго патриота Людовика XVI, верного сына Франции, который вместе с народом радуется поражению аристократов.

Верил в короля и Жак Десять Рук. Да и как не верить, если в Национальном собрании зачитывался королевский циркуляр: «Враги конституции не перестают повторять, что король несчастен, как будто для короля может существовать другое счастье, кроме счастья его народа». Чтение этого документа прерывалось криками: «Да здравствует король!» Нет, Национальное собрание не сомневалось в преданности короля народу и поэтому направило во дворец депутацию, которая поздравила монарха и вручила ему сделанный на серебре Жаком Дюпонтом миниатюрный портрет. На этом барельефе Жак изобразил Людовика с головой, увенчанной фригийским колпаком — символом революции. Это была работа зрелого мастера — мосье Жиронди мог гордиться своим учеником. Монарх был растроган.

А утром 21 июня 1791 года Жак вместе с другими парижанами узнал о его вероломстве: королевская чета

бежала из Парижа, чтобы возглавить армии эмигрантов, мечтающих о возвращении прошлого.

Вскоре стали известны и некоторые подробности заговора. Оказалось, что паспорт и необходимые для побега деньги изменники получили от русской баронессы Корф. Христианнейший король покинул дворец под видом лакея баронессы, а Мария-Антуанетта изображала ее горничную.

Да, не зря покойный отец Жака молил всевышнего о другой королеве. Но чем лучше своей жены сам король? И вообще нужны ли свободной Франции король и королева?

Жан-Поль Марат считал, что нет, не нужны. И на этот раз Жак уже не сомневался в справедливости его слов...

Людовику не удалось убежать. Задержанные народом «лакей» и «горничная» госпожи Корф вынуждены были вернуться в Париж.

В тот же день Жак Десять Рук ударом молотка расплющил возвращенное ему прачкой из Тюильрийского дворца изображение короля-изменника. А некоторое время спустя бесформенный кусочек серебра превратился под руками мастера в чеканный брелок, имеющий вид рыцарского меча, перевитого трехцветной лентой. На ленте были вырезаны слова Марата: «Я поверю в Республику только тогда, когда голова Людовика XVI не останется на его плечах».

Этот брелок висел на цепочке часов парижского палача мосье Сансона, когда тот исполнил приговор Конвента над Людовиком XVI...

В отличие от своего соседа и товарища по ремеслу Россиньоля, которого революция сделала вначале комиссаром секции, а затем генералом и командующим армией, Жак Дюпонт не участвовал в боях с австрийцами, пруссаками и шуанами. Тем не менее он был добрым патриотом, что признавал и боевой генерал Россиньоль.

Жак служил Республике резцом, карандашом и кистью.

Между тем в конце июня Марат тяжело заболел. Его постоянно мучили нестерпимые боли. Некоторое облегчение давали лишь теплые ванны. Марат-врач знал, что болезнь неизлечима и дни его сочтены, поэтому Марат-революционер торопился, он хотел успеть сделать как можно больше до своей смерти. На учете была каждая

минута. Марат с помощью жены и сестры превратил ванну в кабинет и, полуслепой, изможденный, измученный, ежедневно здесь работал по 16—18 часов.

В эти дни Жак Дюпонт в последний раз видел бывшего врача графа д'Артуа. Клуб кордельеров включил его в делегацию, навестившую больного в начале июля 1793 года. Их встретила и проводила к мужу молчаливая Симона Эрар.

Над покрытой доской ванной, рядом с которой стоял чурбан с чернильницей, возвышалась, как всегда, перевязанная красным платком голова Марата. Услышав скрип открываемой двери, Марат положил перо на доску и улыбнулся вошедшим.

Жак с ужасом смотрел на землистое лицо Друга народа, на его выступающие углами из-под сорочки ключицы, исхудавшие руки. За то время, что они не виделись, Марат постарел на двадцать лет. Он казался стариком. По-прежнему молодыми оставались только его проницательные живые глаза.

Угадав мысли Жака, Марат пожал плечами. «Меня нисколько не беспокоит, — сказал он, — проживу ли я на десять лет больше или меньше. Мое единственное желание — сказать при последнем издыхании: «Я умираю удовлетворенный, так как отечество спасено».

Делегация кордельеров пробыла у Друга народа недолго. Когда они уходили, Марат сказал: «Ничего, друзья, у меня в запасе четыре месяца жизни, а может быть, и полгода...»

Но Марат ошибся: его жизнь исчислялась не месяцами, а днями. Смерть уже стояла подле его дома в обличии миловидной двадцатипятилетней девушки с белокурыми волосами, одетой по последней моде того времени.

— Я хотела бы попасть к Другу народа...

— Он тяжело болен, гражданка, — сказал Дюпонт.

— Но у меня важное дело...

— Он никого не принимает.

— Жаль, очень жаль.

Девушка повернулась и пошла прочь. Это была аристократка из Нормандии Шарлотта Корде, та самая Шарлотта Корде, которая десять дней спустя предстанет перед революционным трибуналом по обвинению в убийстве Жан-Поля Марата и чей череп через 96 лет привезет на Парижскую выставку как самый сенсационный экспонат внучатый племянник Наполеона I Роланд Бонапарт...

Шарлотта Корде знала, как следует добиваться приема у Друга народа. Рядом с убитым Маратом лежал окровавленный нож и прочувствованное письмо убийцы: «Достаточно того, что я была несчастна, чтобы иметь право на Вашу благожелательность».

Благожелательность Марата стоила ему жизни...

Передавая Конвенту свою знаменитую картину «Смерть Марата», Луи Давид сказал: «Народ обращался к моему искусству, желая вновь увидеть черты своего друга... Я услышал голос народа, я повиновался ему».

Картина Давида предназначалась для миллионов французов, а сделанная Жаком Дюпонтом ньелла, в которую он вложил всю свою любовь к Марату, олицетворявшему Великую Революцию, лишь для одной француженки — вдовы Друга народа Симоны Эрар.

Когда Жак через несколько дней после смерти Марата принес медальон, Симона долго рассматривала ньеллу, и по щекам ее текли слезы. Затем она отрицательно покачала головой. Нет, она не примет этого подарка.

— Жан-Поль мне как-то говорил, — сказала она Жаку, — что сердце Вольтера было продано мужем его приемной дочери какому-то английскому коллекционеру за триста луидоров... К сердцу Марата не тянутся грязные руки, оно не будет продано с аукциона. Для сердца Марата высечена урна. Пусть медальон с пеплом сердца Друга народа и хранится в этой урне. Медальон Друга народа должен находиться там же, где и он сам.

Вечером того же дня Жак Дюпонт, сосед Жака, в недавнем прошлом рабочий-ювелир, а ныне генерал, Россиньоль, Симона Эрар и сестра Марата Альбертина встретились в саду кордельерского монастыря возле холма из каменных глыб.

Здесь в закрытом железной решеткой склепе покоилось тело Друга народа.

Альбертина отдала Жаку медальон, и Жак осторожно взял его в руки.

Это была сделанная им ньелла, но теперь камень Бастилии и серебро превратились в реликвию народа Франции: внутри медальона лежал маленький цвета алой крови мешочек с пеплом сердца Жан-Поля Марата.

Подержав несколько мгновений в руках медальон,

Жак передал его Симоне. Затем ньеллу взял Россиньоль и опустил пепел сердца Марата в урну. На возвышающейся над холмом пирамиде матовым блеском отливали покрытые позолотой слова: «Здесь покоится Марат, Друг народа, убитый врагами народа 13 июля 1793 года».

Марат погиб в тяжелое для Республики время. Против революционной Франции объединились все монархии Европы. Недисциплинированная, плохо вооруженная, голодная и раздетая армия Республики отступала под напором австрийцев, пруссаков и испанцев.

Необходимы были срочные решительные меры. И революционное правительство их приняло.

Конвент утвердил декрет о всенародном ополчении. Пока враг не будет изгнан с территории Республики, все французы объявлялись мобилизованными. Молодым и одиноким предстояло сражаться на фронте, а пожилым и семейным — делать оружие, амуницию и собирать необходимую для производства пороха селитру.

На фасадах домов, в том числе и на доме Жака Десять Рук, который, словно оправдывая свое прозвище, превратил ювелирную мастерскую в ружейную, появилась гордая надпись: «На гибель тиранам живущие в этом доме сдали полагающуюся порцию селитры».

Армии Республики нуждались в обуви. И добрые патриоты вместо кожаных башмаков стали носить деревянные, а комиссар Конвента Сент-Жюст, обращаясь к муниципалитету Страсбурга, заявил: «Десять тысяч солдат ходят босиком; разуйте всех аристократов Страсбурга, и завтра, в 10 часов утра, десять тысяч пар сапог должны быть отправлены в главную квартиру!»

На следующий день именитых жителей Страсбурга безошибочно можно было распознать по ногам...

Дети сдавали на оружейные заводы свои чернильницы, которые их отцы переливали в пули. Женщины щипали корпию и ухаживали за ранеными. И 30 декабря 1793 года в 7 часов утра в Париже прогремел мощный артиллерийский залп, возвещающий о начале празднества в ознаменование побед на фронте. К Марсову полю двинулись вооруженные депутации 48 секций Парижа. Впереди, предшествуемый военными трубачами, — отряд кавалерии. За ним — 48 пушек, по одной от каждой секции. Ветераны революции, штурмовавшие Бастилию, несут вылитый из бронзы бюст Друга народа. Этот

бюст сделан тем же Жаком Десять Рук из обломков трофейных пушек. Военный оркестр исполняет «Гимн в честь Марата, Друга народа, мученика свободы».

Да, Франция не забыла Марата. Когда Жак Дюпонт вечером пришел в сад клуба кордельеров, то он увидел, что железная решетка у входа в склеп украшена лавровыми ветками, а урна с пеплом сердца Марата увита трехцветными шелковыми лентами.

Революция по-прежнему находилась под угрозой. Более того, день ото дня эта угроза нарастала. В самом Париже ткалась паутина заговора. В Конвенте исподволь готовился переворот. И 9 термидора (27 июля) 1794 года Робеспьер, его младший брат Огюстен, Сен-Жюст и другие соратники Неподкупного — так назвал Робеспьера Марат — были арестованы, а 10 термидора гильотинированы.

Казни следовали одна за другой. Термидорианцы пышно праздновали свою победу. На праздничный бал жена одного из руководителей переворота мадам Тальен, прозванная Божьей матерью 9 термидора, явилась в длинной античной тунике с цветной накидкой и легких, одетых на голые ноги сандалиях. На голове прекрасной мадам возвышалась усыпанная изумрудами и украшенная белым атласом куафюра.

Это был прямой вызов голодающим парижским рабочим.

Термидорианцы каленым железом выжигали все, что напоминало о недавнем прошлом. По решению нового правительства было разрушено здание якобинского клуба. На месте клуба раскинулся рынок имени 9 термидора, на котором, по мнению парижан, распродавались не столько продукты, сколько Республика...

Были упразднены Парижская коммуна и революционные комитеты, выпущены из тюрем роялисты — их место в камерах заняли якобинцы.

В садах Пале-Рояля и Тюильри вновь появилась разряженная в пух и прах золотая молодежь. Мюскадены — бульварные франты, смачивавшие во время казни Робеспьера свои носовые платки в крови Неподкупного, распевали антиякобинскую песню «Пробуждение народа против террористов» и аплодировали генералу Мену, войска которого зверски подавили восстание санкюлотов и разоружили Сент-Антуанское предместье.

Все менялось. Лишь по-прежнему в саду кордельер-

ского монастыря белела мраморная урна с пеплом сердца Друга народа. Более того, не желая без особой нужды раздражать простой люд, деятели 9 термидора в сентябре 1794 года торжественно перенесли тело Друга народа в Пантеон, где поместили его рядом с Вольтером и Жан-Жаком Руссо. Термидорианцы не без оснований считали, что мертвый Марат для них не опасен.

Но перенесенному из сада кордельеров гробу недолго суждено было стоять в Пантеоне. Слишком ненавистна была сама память о Друге народа тем, кто фланировал теперь по улицам и бульварам города. И в феврале 1795 года Париж облетела весть, что мюскадены ворвались в Пантеон и надругались над прахом Марата.

Точно так же девятнадцать лет спустя оголтелые роялисты поступят с Вольтером и Руссо. Прах первого будет развеян по ветру, а тело второго брошено в яму с негашеной известью...

Когда, узнав о случившемся, Жак Десять Рук прибежал в сад кордельеров, он увидел валявшуюся на земле расколотую урну. Невдалеке под чугунной скамейкой, на которой любила сидеть Симона Эрар, он нашел красный мешочек с пеплом. Жак обшарил все вокруг — медальона не было...

Чтобы расчистить дорогу к трону, консулу Бонапарту необходимо было избавиться и от приверженцев Бурбонов, и от якобинцев, которые продолжали отстаивать идеалы Республики. Но все же, по мнению первого консула, якобинцы представляли для него большую опасность, так как пользовались поддержкой народа.

Наполеону нужен был лишь повод для их разгрома. И такой повод вскоре представился.

24 декабря 1800 года, когда первый консул, направляясь в Оперу, проезжал по улице Сен-Никез, позади его кареты взорвалась «адская машина». Мостовая покрылась телами убитых и раненых. Наполеон же не только остался жив, но не получил даже царапины.

Как вскоре выяснилось, покушение на улице Сен-Никез организовали роялисты. Тем не менее начавшиеся сразу же после взрыва аресты якобинцев продолжались. Арестован был и генерал Россиньоль, которого полиция пыталась представить чуть ли не главным заговорщиком.

Полицейский чиновник, допрашивавший генерала, долго и настойчиво добивался от Россиньоля признания

в том, что тот, находясь якобы на улице Сен-Никез, подал знак террористам приступить к действиям, как только появилась карета Наполеона. Но Россиньоль не собирался признаваться в том, к чему не имел ни малейшего отношения. И во время одного из допросов чиновник положил перед генералом медальон работы Жака Десять Рук.

— Вам знакома эта вещь?

— Да.

— Она была найдена недалеко от места взрыва.

— Допускаю такую возможность.

— У нас имеются данные, что медальон принадлежал вам.

Россиньоль заявил, что медальон никогда не являлся его собственностью и был похищен из урны в саду кордельеров мюскаденами почти шесть лет назад. Что же касается самого Россиньоля, то он в то время, когда было совершено покушение, находился у себя дома в Сент-Антуанском предместье.

— Кто это может подтвердить?

— По меньшей мере три свидетеля.

— Три якобинца? — усмехнулся чиновник. — У полиции более широкие возможности, чем у вас, генерал. В случае необходимости мы выставим тридцать три свидетеля. Но мне почему-то кажется, что такой необходимости не будет. Лучше всего против вас свидетельствует ваше собственное прошлое, генерал.

— Но в таком случае среди обвиняемых должен быть и министр полиции господин Фуше, — сказал Россиньоль. — В прошлом он был депутатом Национального собрания, председателем якобинского клуба и, наконец, членом Конвента, который вместе с Дантоном, Маратом и Робеспьером голосовал за смерть Людовика...

— Прошлое господина министра успел забыть не только он сам, но и Франция, — возразил чиновник, — а о вашем прошлом все помнят, в том числе и вы. Поэтому если вы даже не причастны к покушению, для вас все равно имеет смысл чистосердечно признаться. Лишь это может спасти вашу голову. Надеюсь, вы меня поняли?

Россиньоль прекрасно понял своего собеседника, но у него не было никакого желания признаваться в том, чего он не совершал. И хотя генерал великолепно знал хамелеона Фуше, с которым ему неоднократно приходилось встречаться во времена революции, он не мог

не использовать последнего шанса. Поэтому Россиньоль попросил передать министру полиции свою просьбу вызвать его на допрос. Чиновник не возражал. Разумеется, он безотлагательно передаст просьбу арестованного. В этом Россиньоль может не сомневаться.

— Но, как вы сами понимаете, генерал, министр очень занят и вряд ли сможет уделить вам время...

Однако сомнения чиновника не оправдались: Фуше нашел время для беседы с опальным генералом. Вечером того же дня Россиньоля привезли под охраной в министерство полиции и ввели в кабинет бывшего председателя якобинского клуба.

— Мне бы хотелось побеседовать со своим старым другом наедине, — сказал Фуше, любезно приветствуя Россиньоля. Стража тотчас же удалилась. — Садитесь, генерал. Прискорбно, что нам привелось встретиться при таких печальных обстоятельствах, но все равно мне очень приятно вас снова видеть. Я стал сентиментален, а вы вызываете воспоминания, которые всегда приятны хотя бы потому, что являются воспоминаниями.

Россиньоль заметил на украшенном бронзой столе министра все тот же медальон.

— Прекрасная вещь, — сказал Фуше, который неплохо разбирался в ювелирных изделиях. — Если не ошибаюсь, работа Дюпонта?

— Да.

— Некогда я хотел у него приобрести бюст покойного Марата. Кстати, к Жан-Полю я всегда относился с глубоким уважением, хотя покойник и был несколько резковат и нетерпим. Но, насколько я понял, вы решили меня навестить не для того, чтобы предаваться воспоминаниям?

Выслушав Россиньоля, Фуше улыбнулся.

— Использовать медальон в качестве доказательства? Да, выдумка не из удачных. Ведь историю медальона знаете не только вы. К сожалению, в моем министерстве пока еще слишком много дилетантов. Увы, но это так. Можете не сомневаться, что ваша критика будет учтена, а виновные мною наказаны. Я не потерплю таких грубых методов в полицейской работе. Но боюсь, что в вашей судьбе это никакой существенной роли не сыграет...

— Вы считаете меня виновным в покушении?

— Разве я произвожу впечатление дурака? — вопросом на вопрос ответил Фуше.

— Тогда в чем же дело?

— В том, что вам необходимо было своевременно покинуть Францию.

Россиньоль пожал плечами.

— Вы, надеюсь, не будете отрицать, что являетесь якобинцем?

— Я всегда был якобинцем.

— То, что вы им были, не беда. Беда в том, что вы им остались, — почти благожелательно сказал Фуше. Он взял в руки медальон и прочел вслух выгравированные на нем слова Марата: — «Свобода должна существовать только для друзей отечества, железо и казни — для врагов». Очень хорошо сказано, — кивнул головой Фуше. — У Жан-Поля было золотое перо. Но времена меняются. И первый консул считает, а у меня нет никакого желания с ним спорить, что друзьями отечества являются лишь друзья генерала Бонапарта. А ведь вы себя к их числу не относите, не правда ли?

— Нет, я не отношу себя к друзьям первого консула, — подтвердил Россиньоль.

— Тогда для вас остаются лишь железо и казни...

— Даже если я не принимал участия в покушении?

— А какое это имеет значение? Если вы не принимали участия в этом заговоре, то вы, по всей вероятности, будете участвовать в следующем. Не лучше ли вас избавить от искушения? Я очень сожалею, генерал, но не уверен, что смогу чем-либо помочь вам. Впрочем, я подумаю.

...Спустя две недели, когда Россиньоля отправляли в ссылку на Сейшельские острова, его навестил в тюрьме полицейский чиновник.

— Господин министр поручил мне вручить вам этот медальон и сказать, что, к его глубочайшему сожалению, это единственный подарок, который он может вам сделать.

Что ж, Фуше проявил если не благородство, то внимание. На большее Россиньоль и не рассчитывал. Он вложил в ньеллу переданный ему накануне Альбертиной Марат красный мешочек и повесил медальон себе на шею.

А на следующий день отплывающий из Марселя бриг «Святая Женевьева» навсегда увез мятежного генерала из Франции...

— Теперь, насколько я понимаю, нам с вами предстоит путешествие на Сейшельские острова? — предположил я.

Василий Петрович отрицательно покачал головой.

— Не угадали. Но мы действительно покинем Францию.

— И куда же мы отправимся?

— В Россию, в Царское Село.

— С того дня, как генерал Россиньоль оказался на борту «Святой Женевьевы», прошло семнадцать лет, — сказал после паузы Василий Петрович. — За эти годы, как вы знаете, в мире произошло много больших и малых событий. Но казалось, что они даже краем не коснулись Царского Села. Здесь все было по-прежнему. Ни в чем не изменился облик выстроенного еще при Елизавете и расширенного в царствование Екатерины II Большого дворца и старинного парка.

Но нас интересует дальнейшая судьба этого медальона, который давно уже покинул Сейшельские острова. Поэтому направимся в ту часть Царского Села, которая почему-то получила название Софии. Здесь неподалеку от Гостиного двора стоит дом с мезонином. В нем живет со своей семьей (жена и дочка, старшая дочь уже замужем) преподаватель французской словесности и грамматики, профессор Царскосельского лицея Давид Иванович де Будри, или, как его называет за глаза камердинер Севастьян, Давид Не Мудри.

Давид Иванович — обрусевший француз. Он, как и положено подданному русского императора, монархист и примерный чиновник с образцовым послужным списком.

Давид Иванович, предупредительный и добродушный по характеру, охотно предоставляет возможность пользоваться своей библиотекой каждому желающему. Но один шкаф здесь постоянно закрыт на ключ. Между тем литература, которая в нем хранится, представляет значительный интерес хотя бы потому, что она никак не согласуется с тем Давидом Ивановичем, которого все так хорошо знают. Полки этого шкафа заставлены произведениями времен французской революции. А на самой нижней полке лежат завернутые в пергаментную бумагу комплекты газеты Жан-Поля Марата «Друг народа» и революционные памфлеты самого Давида Ивановича...

Нет, Давид Иванович никогда не унижался до то-

го, чтобы скрывать свое прошлое. В глубине души он даже гордился им. Но стоит ли его афишировать? Прошлое — часть настоящего. А он как-никак чиновник. Кто знает, как отнесся бы к этой полке директор Царскосельского лицея?

К счастью, директор лицея даже не подозревает о более чем странном увлечении добродушного старика француза.

Но воспользуемся отсутствием Севастьяна, который сопровождает мадам де Будри, уехавшую сегодня вместе со своей младшей дочерью в Петербург, и без спроса заглянем в маленькую голубую гостиную, обклеенную бархатными с начесом шпалерами, как в то время называли обои.

Давид Иванович на этот раз не один. Он уже около часа беседует с черноволосым, тщательно одетым молодым человеком, виконтом де Коссе. Вернее, Давид Иванович не столько беседует, сколько слушает неожиданного посетителя, которого сегодня видит впервые. Судя по выражению лица де Будри, он несколько растерян, но старается это скрыть.

Гость Давида Ивановича рассказывает о Марате, Шарлотте Корде, Жаке Десять Рук, Симоне Эрар, Жозефе Фуше и генерале Россиньоле...

— С глаз долой — из сердца вон. Кажется, так говорят русские?

— Да, — подтвердил де Будри, — так говорят в России. — Он снял очки и тут же вновь водрузил их на переносицу.

— К сожалению, это соответствует истине не только в России, — краешком красиво вырезанных губ усмехнулся виконт. — Со времен Адама и Евы людям свойственны легкомыслие и забывчивость. Но, к чести ремесленников Сент-Антуанского предместья надо сказать, что они не забыли генерала Россиньоля. Память о нем жива до сих пор. И эхом этой памяти стал только что вышедший в Париже роман «Робинзон из Сент-Антуанского предместья». Не изволили читать?

— Нет, — сказал Давид Иванович, хотя роман уже несколько дней как стоял на заветной полке.

— Если желаете, я вам его пришлю.

— Вы очень любезны, виконт, но мои занятия в ли-

цее оставляют слишком мало досуга. Чем примечателен сей роман?

— Только одним, уважаемый господин де Будри, — он опровергает приведенную мною пословицу; автор романа рассказывает то, о чем говорят в Сент-Антуанском предместье.

— Вон как?

— В предместье уверены, что Россиньоль жив. Там считают, что он бежал из ссылки в 1805 году и после долгих приключений добрался на шлюпке до берегов Африки, где вскоре основал могущественную африканскую республику. В этой республике царствуют свобода, равенство и братство. В их честь построен из пальмового дерева храм, в котором люди поклоняются не богам, а вылитым из чистого золота статуям Жан-Жака Руссо, Вольтера, Эберта и Марата.

— Странная фантазия.

— Фантазия? Нет, мечта. Мечту в отличие от якобинцев нельзя ни расстрелять, ни сослать, ни гильотинировать. Она бессмертна. Поэтому для Бурбонов мечты французского народа страшнее пушек и кинжалов.

— Чаще всего мечты — всего лишь сказки.

— Но иногда и революции...

Де Будри испытующе посмотрел на своего странного собеседника. Бледное лицо виконта стало еще бледнее. Молодому человеку было не более двадцати — двадцати двух лет.

Виконт де Коссе... Нет, его визитер ничем не походил на отпрыска старинного дворянского рода: ни манерами, ни мыслями. Тайный агент царской полиции?

Может быть, на него донес кто-то из лицеистов?

Нет, конечно, нет. Но кто же он тогда и что ему нужно от преподавателя Царскосельского лицея господина де Будри?

Непонятный визит с каждой минутой становился для Давида Ивановича все более тягостным. Де Коссе бередил уже зажившие раны.

— Однако боюсь, что я вам прискучил.

— Напротив, — вежливо возразил Давид Иванович. — Все, что вы говорите, очень интересно. Продолжайте, пожалуйста.

— Ну что ж, ежели я вас не утомил, то оставим мечты и вернемся к действительности, — сказал виконт. — К сожалению, господин де Будри, в Африке нет и не было республики, о которой рассказывается в ро-

мане, а в Сент-Антуанском предместье напрасно ждут вестей от Россиньоля. Генерал больше никогда не вернется в Париж и не пришлет туда своих гонцов.

— Он, конечно, погиб? — сказал Давид Иванович, чтобы что-то сказать.

— Да. Россиньоля давно нет в живых. Он умер от гнилой лихорадки в 1802 году и похоронен в кокосовой роще на самом высоком холме острова Махэ. На гранитной глыбе, установленной на могиле, нет имени умершего. На ней лишь высечены фригийский колпак и короткая надпись: «Один из миллионов». В той же могиле похоронен пепел от сердца Жан-Поля Марата. Да, в той же могиле, — подтвердил виконт, смотря прямо в глаза де Будри. — Такова была воля покойного. Генерал считал, господин де Будри, что имеет право на такую высокую честь, что он завоевал это право, сражаясь за республику и свято храня память о Друге народа. И мне думается, что Россиньоль в этом не ошибся.

— Значит, сердце Марата похоронено на острове Махэ? — пробормотал Давид Иванович.

— Да, — подтвердил его собеседник, — на острове Махэ. Но медальон, о котором я вам говорил, там не остался.

— Где же он?

— У меня.

Давид Иванович снял очки и стал тщательно протирать стекла.

— Медальон работы Жака Десять Рук был сохранен одним из людей, хоронивших Россиньоля, и в дальнейшем передан английскому матросу, который в прошлом году переслал его с оказией в Париж. Вот он.

Виконт достал из кармана треугольный, желтого тисненого сафьяна футляр и раскрыл его. В футляре лежал медальон.

Под знаменами парижских секций шли, четко отбивая шаг деревянными башмаками, хмурые санкюлоты. Неслышно ступали, словно плыли по воздуху, девушки с кипарисовыми ветвями в руках. Шли, опустив головы, члены Конвента, Парижской коммуны, якобинского клуба и клуба кордельеров. Звучала музыка. Ее грустную и торжественную мелодию оборвал пушечный салют. А может быть, это был гром?

Кто-то говорил Давиду Ивановичу, что во время похорон Марата в Париже разразилась страшная гроза. Да, так оно и было. Гроза.

Давид Иванович чувствовал, как по его щекам ползут редкие крупные капли дождя. Сейчас хлынет ливень. Вон там черное небо уже рассекла, осветив лица людей, несущих гроб, зигзагообразная молния. Над Парижем гремел гром.

Виконт что-то говорил, но его слова заглушали раскаты грома, шум дождя и топот тысяч ног. Давид Иванович расслышал лишь последнюю фразу: «Теперь этот медальон ваш».

Медальон? Какой медальон? О чем он говорит?

Давид Иванович вытер платком свои влажные морщинистые щеки.

Дождь... Нет, дождя больше не было. Он прошел. За окном вновь сияло солнце и чирикали царскосельские юркие воробьи. Зычно кричал, расхваливая свой товар, продавец сбитня. Давид Иванович по-прежнему сидел в глубоком мягком кресле в своей уютной гостиной.

Он спрятал носовой платок, откашлялся.

— Простите, я немного отвлекся. Что вы сказали?

— Теперь этот медальон ваш, — повторил виконт.

— Простите, но я не совсем вас понимаю. Какое, собственно, касательство имеет ко мне этот медальон? — спросил де Будри, в котором с новой силой вспыхнули подозрения.

— Вы уверены, что нуждаетесь в объяснениях? — Давид Иванович отвел глаза в сторону. Мысли в его голове путались. Так и не дождавшись ответа, виконт сказал: — У Друга народа был младший брат, который, насколько мне известно, разделял мысли и чувства Жан-Поля Марата. Во всяком случае, он принимал участие в женевском восстании. В дальнейшем, опасаясь преследований, он воспользовался предоставившейся ему возможностью и уехал в Россию. С того дня братья больше не виделись. Но они переписывались. Когда Друг народа нуждался или ему требовались деньги для издания газеты, сыгравшей такую выдающуюся роль в революции, младший брат всегда приходил ему на помощь...

— Откуда вы все это знаете?

— Не все ли равно, господин де Будри? Главное не это. Главное — в другом. Симона Эрар считает — и я разделял ее мнение, — что сделанный добрым патриотом Жаком Десять Рук медальон после смерти генерала Россиньоля должен принадлежать Давиду Марату. Симона хочет, чтобы эта реликвия всегда напоминала Да-

виду о его великом брате, который навеки останется в истории Франции. Но ежели Давид Марат забыл и не хочет вспоминать свою подлинную фамилию, то... Я готов считать, господин де Будри, что моего сегодняшнего визита к вам не было. Забудьте о нашей встрече — она не состоялась. Еще одна легенда, не так ли? В конце концов, если в Сент-Антуанском предместье возникла легенда об африканской республике генерала Россиньоля, то в Царском Селе вполне могла возникнуть другая, столь же далекая от истины, — о посещении сыном Россиньоля младшего брата Друга народа... Честь имею, господин де Будри!

Россиньоль взялся уже за ручку двери, когда Давид Иванович остановил его:

— Уделите мне еще несколько минут, господин Россиньоль.

— Есть ли в этом надобность? — резко спросил гость.

— Присядьте, пожалуйста.

Россиньоль неохотно опустился в кресло.

— Слушаю вас.

— Я не желал бы, чтобы вы сделали поспешный, а следовательно, неправильный вывод, — с трудом подбирая слова, сказал Давид Иванович. — Молодости свойственны порыв и горячность, старости, когда кровь в жилах остывает, — нерешительность и осторожность. Таков удел стариков, а я старик, мой юный друг, мне за шестьдесят.

Россиньоль пожал плечами.

— Я далек от того, чтобы обвинять вас в чем-либо.

— Я не опасаюсь обвинений, — покачал седой головой Давид Иванович. — Совесть моя чиста. Но я хочу, чтобы вы меня правильно поняли и не осуждали естественную для моего преклонного возраста осторожность, возможно, иной раз и излишнюю... Сегодня я вас увидел впервые, а я далеко не равнодушен к судьбе своей семьи. Вы не женаты?

— Нет.

— А у меня жена, дочери и внуки. Когда-нибудь вы сможете меня понять лучше.

— Нужны ли столь обширные объяснения, господин де Будри? — нетерпеливо спросил молодой Россиньоль.

— Нужны, — сказал Давид Иванович. — Нужны для того, чтобы вы не составили обо мне превратного представления. Я старик, — повторил он, — но при всем том

смею вас заверить, что брат великого Марата, Давид Иванович де Будри, хотя он оказался в стороне от борьбы, не забыл и никогда не забудет свою подлинную фамилию. Я горд тем, что являюсь братом Жан-Поля Марата, перед которым я преклонялся всю свою жизнь. Об этом знают воспитанники лицея. И знают об этом они от меня. Если вы сможете уделить мне еще немного времени, то я вам представлю некоторые доказательства сказанному.

Де Будри проводил молодого Россиньоля в библиотеку и, открыв заветный шкаф, достал оттуда папку с гравюрами времен французской революции. Среди них была и гравюра со знаменитой картины Луи Давида «Смерть Марата».

— Теперь вы, надеюсь, мне верите?

— Да, господин де Будри.

— Де Будри? — переспросил Давид Иванович.

— Нет, конечно, — поправился Россиньоль. — Марат, гражданин Марат.

Давид Иванович растерянно улыбнулся.

— «Гражданин Марат»... Не предполагал, что ко мне когда-либо так обратятся. — Он положил футляр с медальоном на верхнюю полку и закрыл шкаф на ключ. — «Гражданин Марат»... Не откажите старику в любезности, повторите еще раз. Ведь так меня больше никто называть не будет.

— Счастлив был с вами познакомиться, гражданин Марат, — сказал Россиньоль.

Василий Петрович не торопился с продолжением своего рассказа. Он вообще не любил торопиться.

— Что же потом произошло с медальоном? — поинтересовался я, когда молчание, по моему мнению, слишком затянулось.

— Что произошло потом?.. — Он поудобней устроился в кресле, вытянул свои длинные худые ноги. — Давайте попытаемся разобраться, хотя ответить на ваш вопрос не так-то просто. Что произошло потом...

Вещи не оставляют дневников и мемуаров, а летописцы редко балуют их своим вниманием. Поэтому зачастую нам приходится прибегать к более или менее обоснованным предположениям, догадкам, а то и к фантазии. Формулировка «так было» заменяется другой — «так могло быть»...

Я заверил Василия Петровича, что подобная формулировка меня полностью устраивает.

— Как я уже вам говорил, — продолжал он, — Давид Марат умер под именем Давида Ивановича де Будри в сентябре 1821 года. Медальон же был найден в 1917-м. Таким образом, незаполненная страница в истории медальона исчисляется почти столетием.

В чьих руках побывала за эти долгие годы ньелла?

Кто рассматривал рисунки, выгравированные по серебру Жаком Десять Рук?

О чем думал новый владелец медальона, вспоминая о французской революции?

Обо всем этом можно лишь догадываться. И все же у нас есть некий, пусть и не очень точный, но все-таки ориентир — это место, где нашел в земле медальон в 1917 году Евграф Усольцев.

И вновь мы с Василием Петровичем в Царском Селе. Но на этот раз не в уютной гостиной милейшего Давида Ивановича, которого уже нет в живых, а на берегу поросшего лилиями и кувшинками дворцового пруда.

Наше общество составляют Николай I, его бывший главный воспитатель, а ныне дряхлый старик, генерал от инфантерии и член Государственного совета, граф Матвей Иванович Ламсдорф и любимец царя рыжий ирландский сеттер с длинным роскошным хвостом — Роби.

Восемь часов утра. Сквозь решето листвы, прикрытое деревьями, солнце сеяло светлые блики на темную поверхность пруда, от которого еще поднимался, тая в воздухе, легкий парок ночного тумана.

Царь играл с сеттером. Он коротким взмахом руки бросал в густую маслянистую воду носовой платок, и собака, не дожидаясь команды, стремительно кидалась в пруд.

— Хорошо, Роби, — говорил царь, отбирая у сеттера принесенный им платок, и вновь бросал его в воду.

Неподвижное белое лицо с тяжелыми оловянными глазами ничего не выражало. Не лицо — маска. Но старик Ламсдорф хорошо изучил своего воспитанника. Николай мог ввести в заблуждение кого угодно, но не его.

Едва заметные розовые пятна на скулах его вели-

чества красноречиво свидетельствовали о том, что император нервничает.

Выскочив из пруда, сеттер шумно отряхнулся рядом с Ламсдорфом, забрызгав водой шитый золотом генеральский мундир, и громко залаял. По аллее к пруду шел запыхавшийся от быстрой ходьбы тучный камерлакей. Остановившись в нескольких шагах и опасливо поглядывая на рычащего сеттера, он поклонился.

— Прибыл фельдъегерь из Санкт-Петербурга, ваше императорское величество.

— Наконец-то! — вырвалось у Николая. Он скомкал в руке мокрый платок, бросил на траву. Собака тотчас его подхватила и вопросительно посмотрела на хозяина. — Фу, Роби!

— Прикажете доставить донесение сюда?

— Не трудись, — сказал Николай и, резко повернувшись на каблуках, направился к дворцу, сопровождаемый еле поспевающим за ним камер-лакеем. Впереди бежал Роби.

Ламсдорф посмотрел им вслед. Царь шел быстрым и четким строевым шагом, развернув плечи и откинув назад голову. И Ламсдорф с удовлетворением подумал, что его усилия даром не пропали: из Николая получился неплохой фрунтовик.

Между тем Николай, сдерживая нетерпение, взял у фельдъегеря пакет, нарочито замедленным движением руки сломал сургучную печать и достал депешу.

«Экзекуция, — прочел он, — кончилась с должною тишиною и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного... О чем Вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу».

Тонко и протяжно завыл сидящий у ног Николая Роби.

— Уберите собаку!

На мгновение розовые пятна на скулах царя стали красными и тут же исчезли.

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком...»

Где-то в отдалении яростно лаял Роби. Император вложил депешу в конверт и небрежно бросил на столик. Затем он принял подобающую случаю скорбную позу, вздохнул и перекрестился.

— Прости им, господи, их тяжкие прегрешения перед Россией!

Затем Николай отправился в дворцовую часовню, где заказал панихиду по «рабам божьим: Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву-Апостолу, Михаилу Бестужеву-Рюмину и Петру Каховскому». А вечером того же дня он выслушал подробный доклад о казни.

В полдень 12 июля 1826 года, когда куранты Петропавловского собора играли «Боже, царя храни», узников русской Бастилии — так называли Петропавловскую крепость — под конвоем доставили в дом коменданта. Здесь старый чиновник зачитал им окончательное решение.

А в три часа ночи, как только стало светать, всех пятерых вывели из камер.

Воздух пах дымом и гарью. На фоне еще не достроенной виселицы, вокруг которой суетились плотники и палачи, горели многочисленные костры. Отсветы пламени играли на штыках, пряжках ремней и орленых пуговицах выстроенных солдат.

Куранты Петропавловского собора пробили половину четвертого, но виселица еще не была готова.

Генерал-губернатор Петербурга, тучный, с багровым лицом, косясь на сидящих на траве смертников, злым шепотом распекал коменданта крепости, который беспомощно разводил руками.

Но вот вбит последний гвоздь. К коменданту крепости подходит старший палач.

— Готово, ваше высокоблагородие!

...Когда чиновник закончил чтение приговора, смертники поцеловались. Затем они повернулись друг к другу спинами, чтобы пожать на прощание скованные руки.

— Поторопитесь, господа!

И тут произошло то, о чем мимоходом упомянул в своем донесении царю генерал-губернатор: «По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно: Рылеев, Каховский и Муравьев сорвались...»

Так Кондратий Федорович Рылеев, Сергей Иванович Муравьев-Апостол и Петр Григорьевич Каховский были казнены дважды.

А в 1917 году, когда русский народ разорвал и сбросил с себя оковы самодержавия, а потомок Николая I отрекся от престола и был сослан в Тобольск, журнал «Огонек» опубликовал статью «Таинственная находка на о. Голодай в Петрограде». В ней писалось:

«В «Биржевых ведомостях» недавно появилось сообщение секретаря Общества памяти декабристов В. В. Святловского о знаменательной находке на о. Голодай в Петрограде могил и останков 5 казненных декабристов, находке, произведенной 1 июня с. г. во время прокладки водопроводных труб около одного строящегося на острове здания...

2 июня В. В. Святловский, руководивший работами, нашел остатки пяти гробов, из которых только один, первый из найденных, представлял собой нечто более цельное.

В этом лучше сохранившемся гробу были видны останки человека, одетого в форму полковника александровского времени.

Хорошо сохранились части мундира, эполеты, а также обувь на ногах. Обращало внимание большое количество ремней, найденных на ногах трупа, что давало возможность предположить, что ноги трупа были связаны этими ремнями...

Возникает серьезный вопрос: представляют ли пять найденных гробов действительно гробы пяти казненных декабристов?

Местонахождение могил совпадает с рассказами старожилов и литературными данными. Военная форма первого гроба относится к 20-м или 30-м годам прошлого столетия...

По определению военных, бывших на раскопках, найденная форма могла принадлежать только штаб-офицеру, полковнику или подполковнику. Похороненный был положен в гроб без оружия, а самые гробы были поставлены, по-видимому, в общую могилу, не в обычном порядке, чересчур тесно один к другому, не так, как обычно хоронят на православных кладбищах...»

Вот в этой-то траншее, спустя несколько дней после публикации в журнале статьи, Усольцев и нашел этот медальон, который тут же был у него украден в трамвае, возвращен на митинге «братьев преступников» в приюте принца Ольденбургского, затем занял почетное место в музее Петрогуброзыска, а после смерти Евграфа Николаевича по его завещанию оказался у меня...

— Были ли то действительно останки казненных декабристов? На этот вопрос трудно ответить безоговорочно. Но для Грани Усольцева, когда он явился ко

мне с просьбой перевести с французского на русский вырезанные на медальоне надписи, подобного вопроса не существовало. Он не сомневался, что найдены тела тех, кто в июле 1826 года отдал жизнь за свободу России. Эту уверенность он пронес через всю свою жизнь, — сказал Василий Петрович. — Усольцев предполагал — я его тогда же, в июне семнадцатого, посвятил в историю медальона, — что Давид Марат незадолго до своей кончины подарил ньеллу кому-то из будущих декабристов, воспитанников Царскосельского лицея, а тот, в свою очередь, отдал ее одному из руководителей восстания.

Крайне сомнительная версия. Но что интересно, субинспектор Петрогуброзыска Савин, который во время гражданской войны партизанил в Забайкалье, рассказывал мне и Усольцеву, что в мастерской Гусино-Озерного буддийского монастыря, расположенного неподалеку от Селенгинска, ему среди прочих диковинок показали серебряную шкатулку, изготовленную, по преданию, в часовой, ювелирной и оптической мастерской, открытой некогда в Селенгинске, издавна служившем местом ссылки, попавшими сюда на вечное поселение после отбытия срока каторги декабристами Николаем и Михаилом Бестужевыми.

Рисунки и надписи на стенках этой шкатулки были похожи на рисунки и надписи, вырезанные на медальоне. Таким образом, Бестужевы, возможно, у кого-то видели этот медальон.

Усольцев считал, что они видели его у Рылеева.

Усольцев предполагал, что медальон, созданный в разгар французской революции, был у Кондратия Федоровича Рылеева, когда тот в тревожные и напряженные дни подготовки декабрьского восстания писал своего «Гражданина»:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, неспособен я в объятьях сладострастья
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.

Рылеев не мог «в постыдной праздности влачить свой век», и тяжело больной, он говорил товарищам по восстанию: «Итак, с богом! Судьба наша решена! К со-

мнениям нашим теперь, конечно, прибавятся все препятствия. Но мы начнем... Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества!»

И 14 декабря Рылеев вместе с лицейским другом Пушкина Пущиным отправился на Сенатскую площадь... А ночью того же дня он был арестован и посажен в Алексеевский равелин русской Бастилии. Здесь поэт-декабрист незадолго до казни выцарапал гвоздем на тюремном оловянном блюде свое последнее стихотворение:

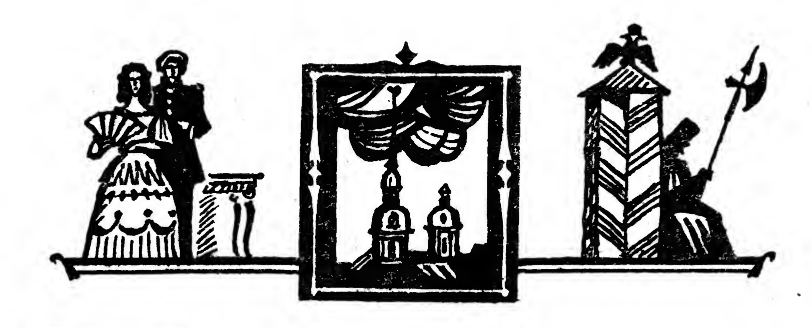
Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за Отчизну.

Кто знает, может быть, действительно, когда Рылеев переносил на олово эти строки, он, ощущая на груди заветный медальон, думал о трагической участи Жан-Поля Марата, о грозной Бастилии, превратившейся по воле восставшего против «тяжкого ига самовластья» народа в жалкую груду обломков, о казненном в Париже тиране, о тех, кто придет на смену погибшим декабристам и провозгласит в России столь дорогие его сердцу слова: Свобода, Равенство, Братство.

— Что же касается дальнейшей судьбы этого медальона, обретшего свою новую родину в России, то она неразрывно связана с судьбой Евграфа Николаевича Усольцева, — закончил свой рассказ Василий Петрович. — В Великую Отечественную войну медальон был постоянным и верным спутником генерала Евграфа Николаевича Усольцева, когда тот вместе с другими советскими людьми отстаивал от фашистских полчищ первое в мире социалистическое государство.

За годы войны медальон побывал во многих городах: в разрушенном Сталинграде, в Праге, Будапеште, Берлине. Но в Париже, где он был создан во славу революции в 1793 году замечательным мастером Жаком Дюпонтом, ему больше побывать так и не пришлось...







Экспонат № 2

августе 1920 года, расследуя убийство коллекционера картин Чеботаревского, сотрудники Первой бригады Петрогубророзыска вышли на многочисленную шайку, которая переправляла нелегально за границу произведения искусства. Большая часть этих вещей принадлежала до революции различным коллекционерам, но некоторые картины, скульптуры и геммы были похищены преступниками из государственных музеев и картинных галерей. Так, сотрудник Эрмитажа Келлер ухитрился украсть и вынести из этого музея пять великолепных полотен старых итальянских мастеров, которые экспертиза, после того как полотна были обнаружены и изъяты, оценила в восемьдесят тысяч рублей золотом.

На счету шайки, помимо хищений и незаконного вывоза за границу произведений искусства, оказалось и три убийства. В погоне за деньгами дельцы не гнушались ничем — ни мошенничеством, ни шантажом, ни убийством.

Состав шайки оказался весьма пестрым. В нее входили широко известный до революции аферист международного класса Клотц, его жена, профессиональный убийца Зубков, налетчики Федоров-Козлов, Буй, Ратнер, контрабандисты, воры, мелкие жулики и самый настоящий князь, которого некогда знали все русские коллекционеры.

Когда Василий Петрович услышал от Усольцева фамилию князя, он на мгновение потерял дар речи.

— Неужто тот самый?

— Он.

— Просто не могу поверить!

— Факт, Василий Петрович, факт.

— Но ведь тогда это значит...

— Пока еще ничего не значит, — поспешно сказал Усольцев.

— Ладно, не буду, — вздохнул Василий Петрович. — Вы его уже арестовали?

— Покуда еще нет. Но деваться ему некуда. Руки он на себя не наложит, не из тех, за жизнь зубами держится. Это все его кореша в один голос говорят. А так... Куда ни кинь — везде клин. И в квартире на Кадетской улице засада, и на Рыбацкой, и на Дегтярной. В Ораниенбауме — там у него любовница живет — наши тоже предупреждены. Куда он денется?

— Послушайте, Граня, если он действительно приобрел...

— Молчок! — не дал договорить Белову Усольцев. — Не будем искушать судьбу.

— Ладно, не будем, — согласился Василий Петрович. — Но ведь вы меня лишили покоя.

— Что поделаешь!

— Наведываться мне сюда можно?

— В уголовный розыск — хоть каждый день. А вот мне мозолить глаза не надо. Я что-то нервным стал.

Белов и раньше частенько бывал по всяким делам в Петрогуброзыске, но теперь он ходил сюда как на работу — к восьми утра.

Больше всего его приходу радовался общепризнанный поэт Петрогуброзыска — агент второго разряда Сеня Покатилов.

— Минутку, Василий Петрович! — перехватывал он Белова, когда тот появлялся в дежурке. — Слушайте! — И с завыванием, как и положено настоящему поэту, читал:

На ниве великой борьбы зародилася
Под звуки ликующих струн Октября,
Милиция Красная,
Сила бесстрашная,
Ты Армии Красной сестра.

— Это я к лозунгу об увеличении партпрослойки, — объяснял Покатилов. — Здорово?

— Ну, если к лозунгу, — мялся Василий Петрович, — то конечно.

— А вот еще, всю ночь на дежурстве сочинял:

Служу я оком пролетарской власти,
Я родом из среды рабочих и крестьян.
Сторожевою цепью мои части
Родной Республики обороняют грань.

— Тоже к лозунгу?

— А как же! К призыву об орабочивании милицейских кадров, — гордо сообщал Покатилов.

Отделавшись от поэта, Василий Петрович по широкому коридору проходил мимо кабинетов и сворачивал в обширную канцелярию стола приводов, где его уже ожидала пишбарышня — так в те времена именовали машинисток — Сонечка Прудникова.

Прудникова считалась самым информированным человеком в Петрогуброзыске. Она всегда была в курсе оперативной обстановки во всех районах города, знала, что сообщалось за неделю в информсводках, кто и какие записи сделал сегодня в журнале приводов.

Соне достаточно было мимолетного взгляда, чтобы безошибочно определить, в каком настроении прибыл сегодня на работу начальник Петрогуброзыска, что можно ждать от начальника стола приводов, будет ли галантен агент первого разряда Мирошниченко и прочтет ли ей свои стихи агент второго разряда Сеня Покатилов.

Василий Петрович здоровался с Сонечкой и задавал неизменный вопрос:

— Ну как?

— Пусто, — отвечала Сонечка. — Гуляет князь. Но вы не огорчайтесь: из всех начальников бригад Усольцев самый удачливый.

Это было не совсем так, вернее, совсем не так. Фортуна никогда Усольцева не баловала. Но Сонечка всегда была неравнодушна к начальнику Первой бригады Петрогуброзыска, и ей хотелось сделать что-либо приятное для Василия Петровича.

— Может, зайти к Усольцеву, а? — размышлял вслух Белов.

— Не советую, — качала головой Сонечка, и Василий Петрович знал, что она права: ни к чему было теребить сейчас Евграфа. Ничего не поделаешь, надо ждать.

Но вот однажды Сонечка в ответ на вопрос Василия Петровича продекламировала новые стихи Покатилова:

В годах борьбы, невзгоды и напастей
Не покидал свой пост милиционер, —
Он твердо знал, что бережет путь к счастью —
Коммуны светлой охраняет дверь.

— Неужто взяли? — догадался Василий Петрович.

— Взяли, — подтвердила Сонечка. — В четыре часа утра. Васильев и Битюгов. Браунинг у него был, но выстрелить не успел, отобрали. На Кадетской улице в засаду попал.

— Кто его будет допрашивать?

— Усольцев, кто ж еще? Его же бригада это дело разматывает.

— А когда допрос, не знаете?

— Как это не знаю! — оскорбилась Сонечка. — Конечно, знаю. Минут через десять-пятнадцать его Митрофанов поведет.

И действительно, через пятнадцать минут мимо стоявшего в коридоре Белова милиционер провел в кабинет Усольцева плотного человека среднего роста. Щеки князя были покрыты неряшливой седой щетиной. По меньшей мере, он не брился дня три-четыре.

Со времени их последней встречи князь сильно постарел. Белова он, кажется, не узнал, а может быть, не захотел узнать. Белов сильно волновался. Еще бы, вполне возможно, что сейчас за дверью этого кабинета будет наконец подведена черта под историей, над разгадкой которой бился сам Белов, его отец и Евграф Усольцев. Но захочет ли князь сказать правду?

— А теперь, — сказал мне Василий Петрович, — не будем мешать Евграфу Николаевичу Усольцеву работать, оставим его наедине с задержанным князем и поговорим о геммах — резных драгоценных и полудрагоценных камнях. Я, конечно, понимаю ваше желание оказаться сейчас в кабинете Усольцева и присутствовать при допросе князя. Но наберитесь терпения. Все в свое время. Не надо слишком торопиться и торопить события.

Василий Петрович не любил верхнего света, и комнату освещала лишь настольная лампа, создавая атмосферу уюта и таинственности.

— Обычно думают, — неторопливо говорил он, — что геммы представляют интерес только для ювелиров, коллекционеров и искусствоведов. Иногда, вспоминая про балладу Шиллера «Поликратов перстень», переведенную на русский язык Жуковским, к ним еще приобщают поэтов. Между тем геммы — неиссякаемый источник самых разнообразных сведений. По античным геммам, например, можно изучать искусство и мифологию. Они являлись украшениями, печатями, любовными аму-

летами, а порой и лекарствами... Во всяком случае, врач Марцелл Эмпирик в своем известном трактате «О медикаментах» утверждал, что, если человеку, страдающему болями в боку, повесить на шею гемму из яшмы со знаком ZZZ, тот мгновенно исцелится. А другой врач, Александр из Тралл, рекомендовал как верное средство от колик гемму из медийского камня с Гераклом, который душит льва.

Плиний писал: «Среди гемм имеются такие, которые слывут бесценными и не имеют соответствующей стоимости в человеческих богатствах; и многим людям для высшего и абсолютного созерцания природы достаточно одной геммы».

Лучше, как говорится, не скажешь. Геммы — это представление древних о красоте, их отношение к природе и богам. Это живопись в камне и атрибуты магии, история медицины и обычаи античного мира, памятники религии и культуры. Поэтому они и привлекают внимание археологов, историков, скульпторов, этнографов, социологов и даже криминалистов... Да, голубчик вы мой, я не оговорился: именно криминалистов, — подтвердил Василий Петрович. — История некоторых известных гемм — это история краж, убийств, подлогов и всяческих мошенничеств. Возьмем хотя бы гемму Гонзага. Помните ее?

Еще бы! Эту большую гемму, одну из самых замечательных камей Ленинградского Эрмитажа (камеями называют геммы с выпуклым изображением) трудно было забыть. Она постоянно напоминала о себе неповторимым искусством резчика, красотой материала и своим историческим сюжетом.

Из многослойного агата-сардоникса, словно из затененной временем глубины веков, выступали искусно вырезанные неизвестным мастером, жившим в Александрии более двух тысяч лет тому назад, головы мужчины и женщины. Это были не простые смертные: творец-созидатель и его неземная, сотканная им из лунного света подруга.

Мастер извлек из красивого многослойного камня все, что можно было из него извлечь и, как любил выражаться один мой приятель, чуть-чуть больше.

Ярко освещено вдохновенное лицо вечно юного бога. Голубовато-бледное лицо богини менее ярко, оно как бы отодвинуто на второй план. Богиня — воплощение покорности, покоя и женственности.

Эта чета — повелитель Египта Птолемей II и его сестра, являющаяся одновременно его женой, — Арсиноя II.

Когда Александр Македонский, не довольствуясь больше императорскими почестями, решил провозгласить себя богом, это вызвало у многих эллинов возмущение, Народное собрание Афин негодовало. Демод, предложивший признать Александра богом, был приговорен по требованию Демосфена к смертной казни. Но уже через некоторое время «божественность» Александра Македонского воспринималась как нечто само собой разумеющееся.

И вскоре великий художник древности Апеллес написал картину «Александр Громовержец», где изобразил императора с перунами Зевса, а на монетах и геммах появились Александр-Геракл, Александр-Гелиос в короне бога солнца и даже Александр-Аммон с рогами барана.

Таким образом, сводному брату Александра Македонского и его приближенному, который после смерти императора получил в качестве наследства Египет и увез туда в золотом гробу тело своего бывшего повелителя, уже несложно было превращаться из смертного в бога. Богом, понятно, стал и его сын — Птолемей II. Безвестный мастер так изобразил Птолемея II на гемме, что не поспоришь — действительно бог. И Арсиноя — богиня. Это ясно каждому, кто взглянет на гемму Гонзага.

— Кстати, а почему ее так называют?

— Гемма названа в честь владетелей Мантуи, — объяснил Василий Петрович. — Но вполне возможно, что ее следовало бы называть геммой д'Эсте, по имени герцогов Феррарских.

Д'Эсте были столь же малосимпатичны, как и Гонзаги. И у тех, и у других было на совести немало пятен. Достаточно сказать, что Николо III д'Эсте, заподозрив в измене свою жену, не только отрубил ей голову, но и повелел проделать ту же нехитрую операцию со всеми женщинами герцогства, уличенными в неверности своим мужьям.

Но жестокость и своенравие Эсте совсем не мешало им покровительствовать ученым, архитекторам, поэтам, скульпторам и живописцам. Николо II был другом Петрарки. Лионелло сам писал сонеты. А Борсо собрал единственную в мире коллекцию античных гемм. И когда шестнадцатилетняя Изабелла д'Эсте вышла замуж за

Джованни Франческо Гонзага, это собрание бесценных гемм оказалось в сокровищнице Гонзага.

Видимо, в коллекции находилась и интересующая нас гемма с изображением Птолемея и его супруги.

Какими путями и с чьей помощью камея Гонзага покинула сокровищницу мантуанских герцогов — неизвестно. Но факт остается фактом: камея исчезла. Объявилась она в Кельне, где украсила раку «трех волхвов» Кельнского собора.

Тысячи паломников припадали тогда губами к этой языческой гемме, но в Кельне она задержалась ненадолго... В 1574 году ее похитили.

Как только об этой кощунственной краже стало известно, все ворота города немедленно были закрыты. Двенадцать дней и двенадцать ночей никто не мог выйти из города, в котором свирепствовала стража. Гремели барабаны, и глашатаи выкрикивали: «Город выплатит триста талеров тому, кто укажет властям, где находится похищенная гемма!» Триста талеров были тогда громадными деньгами. И все же награда не представлялась чрезмерной, ибо гемма оценивалась чуть ли не в тридцать четыре пуда золота.

Тридцать четыре пуда. И эта гора золота исчезла из города Кельна. Исчезла навсегда.

А в 1586 году в Риме к внуку папы Павла III — кардиналу Алессандро Фарнезе явился некий молодой фламандец.

Молодой фламандец продал кардиналу несколько перстневых печатей, а затем, помедлив, достал из мешочка камею с изображением парного портрета... Кардиналу достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что фламандец держит в своей руке.

«Вы знаете, что это?» — спросил Алессандро Фарнезе.

«Гемма Гонзага».

«Она похищена из Кельнского собора. Вы грабитель. Я прикажу своим слугам схватить вас».

«Вы этого не сделаете, ваше преосвященство», — спокойно сказал фламандец. И, увидев, как рука гостя легла на рукоятку кинжала, кардинал понял, что он этого действительно не сделает.

Фарнезе был неукротимым коллекционером, и в глубине души его ничуть не смущало, что, купив украденное, он станет сообщником похитившего камею. Но фламандец запросил такую цену, что кардинал вынужден был отступиться.

Таким образом, камея Гонзага не нашла в Риме своего нового владельца. А несколько лет спустя она оказалась в пражском дворце императора Рудольфа II, истового католика, неутомимого астролога и неудачливого алхимика, который готов был за редкую гемму продать свою душу дьяволу, забыть про астрологию и предоставить другим соблазнительную возможность отыскать философский камень.

Сколько Рудольф уплатил за камею, которую городские власти Кельна оценили в тридцать четыре пуда золота, неизвестно.

Между тем в Швеции родилась уже будущая владелица прославленной геммы. Дочь Густава-Адольфа II покровительствовала наукам, искусствам и... коллекционировала геммы. Учитывая последнее обстоятельство, шведский полководец Кенигсберг, войска которого штурмом взяли Прагу и основательно разграбили сокровища императорского дворца, подарил принцессе гемму Гонзага.

Христина оценила подарок, и карьера находчивого полководца была обеспечена. Вскоре принцесса стала королевой Швеции, а в 1654 году неожиданно для всех отреклась от престола, приняла католичество и поселилась в Риме под именем Марии-Александры. Так гемма Гонзага вновь оказалась в Риме, и на этот раз надолго.

Мария-Александра, скончавшись, оставила своим «универсальным» наследником кардинала Аццолино.

Аццолино не был ценителем и знатоком гемм, поэтому вся коллекция резных камней бывшей королевы, в том числе и гемма Гонзага, оказалась у герцога д'Одескальчи, который приобрел ее за бесценок. А много лет спустя, в разгар французской революции, наследники герцога продали гемму Ватикану, где она была помещена вместе с другими резными камнями в папской библиотеке. Впрочем, в Ватикане гемма Гонзага задержалась ненадолго. В 1794 году, когда французы под натиском Суворова отступали, гемма Гонзага исчезла. Можно было бы, конечно, предположить, что французы официально вывезли ее из Ватикана вместе с другими драгоценностями. Но в подробнейшей описи вещей, взятых армией Наполеона в Ватикане, эта камея не значилась. Следовательно, ее просто-напросто украли. Кто? Неизвестно. Воры редко претендуют на популярность. Но как бы там ни было, а с 1803 года эта гемма уже числится

среди драгоценностей жены Наполеона Жозефины... Впрочем, в столице Франции Париже она транзитом. Проходит совсем немного времени, и Жозефина дарит камень с резным изображением Птолемея Филадельфа и очаровательной Арсинои русскому императору Александру I. И в октябре 1814 года гемма Гонзага оказывается в Эрмитаже, где и хранится до сих пор уже свыше полутора веков.

Так что, как видите, эта гемма в одинаковой степени подходит и для учебника истории, и для пособия по криминалистике.

К геммам были неравнодушны Петрарка, Бенвенуто Челлини, Микеланджело, Гёте и... Александр Сергеевич Пушкин. Да, Пушкин, — повторил Василий Петрович. — Во всяком случае, его знаменитый перстень-талисман, который так интересовал современников поэта, был, вероятней всего, все-таки геммой.

Видимо, во избежание всяческих кривотолков тут самое время оговориться. О «талисмане» поэта и его приключениях Василий Петрович поведал мне много лет назад. Ничто не стоит на одном месте. С тех пор, как и следовало ожидать, появилось немало исследований и о самом перстне, и о его судьбе. Было весьма соблазнительно ими воспользоваться, особенно материалами из интересной книги Л. П. Февчук «Личные вещи А. С. Пушкина», но, поразмыслив, я решил все-таки воздержаться. И не только из уважения к памяти Василия Петровича. Имелись и другие, не менее важные причины. Его история, посвященная перстню-талисману, впрочем, как и другие, приведенные в этой книге, была не научным исследованием, а рассказом, в котором вымысел занимал свое законное и почетное место рядом с фактом.

Стоит ли нарушать это плодотворное сотрудничество фантазии и документалистики? Я решил, что нет, не стоит...

А теперь давайте вновь вернемся с вами в большую комнату, где за письменным столом нас терпеливо дожидается Василий Петрович Белов, худощавый, морщинистый, в своей неизменной бархатной куртке.

— Итак, Петербург. Зима 1837 года. — Василий Петрович стукнул пальцем по столу, и этот звук отозвался эхом далекого выстрела из девятнадцатого века...

...От звука выстрела лошадь вскинула голову и дернулась. Взвизгнули полозья, по обе стороны саней брызнул снег. Длиннобородый пожилой извозчик в заячьем треухе быстро перехватил вожжи и натянул их.

— Не балуй!

Лошадь дрожала мелкой дрожью, перебирая ногами и вывернув голову в сторону изгороди, где между редкими жердями чернел на снегу кустарник.

— Никак стрельнули, а? — испуганно спросил другой извозчик, сани которого стояли несколько поодаль.

Стылый морозный воздух разорвал второй выстрел.

— «Стрельнули»... — Старик стянул зубами громадную рукавицу и перекрестился. — «Стрельнули»... Эхехе! Кому-то седни слезы лить, не иначе. Смертоубийство, брат, по-нашему, а по-ихнему, по-благородному, дуэлью прозывается... Вон как! Для того и пистоли везли...

Старый петербургский извозчик не ошибся: в пятидесяти метрах от дороги только что закончилась дуэль. Но он не знал и не мог знать, что смертельно раненный первым выстрелом человек, которого он привез сюда, — величайший поэт России. Не знал он, разумеется, и того, что сто лет спустя его праправнук, учитель одной из школ бывшего Петербурга, ставшего Ленинградом, будет читать в затихшем классе стихи другого великого поэта, посвященные событиям этого зимнего вечера:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой.
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..

Проваливаясь по колено в снег, на дорогу выбрался офицер. Он был без шинели и шапки. Легкий ветерок ворошил его редкие волосы. Это был Константин Карлович Данзас, лицейский товарищ и секундант Пушкина.

— Помогите, братцы, проезд в заборе сделать. Раненого взять надо.

Извозчики переглянулись: значит, не до смерти. Авось и выживет. Дай-то бог!

Пожилой неожиданно легко спрыгнул с облучка. Все трое стали выламывать жерди, чтобы подъехать на санях к месту дуэли.

Снег на поляне, где происходила дуэль, был утоптан. Барьер обозначен шинелями.

«Ишь, расстарались», — подумал бородатый и стянул с головы треух.

Пахло снегом и порохом.

Секундант Дантеса д'Аршиак, стройный и элегантный, подал Данзасу его шинель, предварительно отряхнув ее от снега.

— Благодарю вас.

Д'Аршиак кивнул головой.

Жорж Дантес сидел, согнувшись, на пне, положив на колено раненую руку и придерживая ее другой рукой. Лицо его кривилось от боли. В эту минуту он мало походил на того неотразимого красавца кавалергарда, от которого были без ума дамы.

«Пшют, штафирка», — подумал Константин Карлович, вспомнив растерянность Дантеса, когда раненый Пушкин крикнул: «К барьеру!» — и попросил вместо выпавшего у него при падении пистолета другой.

Константин Карлович помог Пушкину сесть в сани, прикрыл его ноги полостью и приказал извозчику ехать шагом.

— А как же вы, барин?

— Пешком сзади пойду.

— Далече идтить-то, — сказал бородатый извозчик.

— Ничего, авось на Аптекарском попадутся сани.

Д'Аршиак последовал примеру Данзаса, несмотря на настойчивое приглашение Дантеса занять место рядом с ним в санях. Француз, видимо, считал, что секунданты должны быть в равном положении.

Со стороны Строганова сада, примыкавшего к набережной Большой Невки, дул сильный, пронизывающий до костей ветер.

Данзас приостановился, повернувшись спиной к ветру, достал золотой брегет на цепочке с брелоком, щелкнул крышкой. Было всего десять минут седьмого. Значит, здесь они пробыли час с небольшим. А еще каких-нибудь два часа назад они с Пушкиным сидели за столиком в кондитерской Вольфа и пили лимонад. Константин Карлович запахнул шинель и обратил внимание на темное пятно. Это была кровь Пушкина. После выстрела Дантеса поэт упал на шинель. Лежа на ней, он и произвел ответный выстрел. Рана в живот. Мало кто оставался в живых после такой раны...

У Комендантской дачи, недалеко от того места, где Пушкин жил летом тысяча восемьсот тридцать третьего года, их дожидалась лакированная карета с гербом на дверцах, запряженная четверкой холеных вороных.

Ее прислал, беспокоясь за своего бесценного Жоржа, голландский посланник Геккерен.

Геккерен... Объясняя сегодня Константину Карловичу причину дуэли, Пушкин прочел ему черновики своих писем к голландскому посланнику и д'Аршиаку.

«Барон!

Позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно, — писал он Геккерену. — Поведение вашего сына было мне известно уже давно... Представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. По-видимому, всем его поведением (впрочем, в достаточной степени неловким) руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына...

Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой, и еще того менее — чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь.

Имею честь быть, барон, ваш нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин».

Письмо Геккерену было датировано вчерашним днем, а письмо д'Аршиаку — сегодняшним. Впрочем, это было скорей не письмо, а записка:

«Виконт,

Я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела: поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу моего лишь на место встречи. Так как вызывает меня и является оскорбленным г-н Геккерен, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта; я заранее его принимаю, будь то хотя бы его егерь...»

Но судьбе было угодно, чтобы секундантом Пушкина стал не егерь Геккерена, не кто-нибудь еще, а именно он, Константин Карлович Данзас. Видит бог, как он не хо-

тел этой дуэли! Но Пушкин просил об услуге, в которой не принято отказывать... Неужто рана смертельна? Нет, Данзас отказывался в это верить. Конечно, Пушкин будет жить. Обязательно будет.

Между тем д'Аршиак переговорил с Дантесом и предложил перенести тяжелораненого в карету.

Пушкин — в карете своего врага. Как можно? Данзас хотел сделать отрицательный жест рукой, но д'Аршиак остановил его.

— Я понимаю, как вам и господину Пушкину неприятно воспользоваться каретой господина Геккерена. И все-таки не следует принимать поспешных решений.

Что верно, то верно, подумал Константин Карлович, разве он имеет право поддаваться сейчас неприязни, когда от него, возможно, зависит жизнь Пушкина. В конце концов плевать ему и на Дантеса и на Геккерена. Он должен думать о Пушкине, и только о нем. Это его святой долг.

— Барон чувствует себя не совсем плохо — пустяк! — а господин Пушкин очень плох, — сказал д'Аршиак по-русски, тщательно подбирая слова. В его голосе было сочувствие, и Данзас подумал, что француз, наверное, добрый малый. — Не все ли равно, кому принадлежит эта карета? Главное — что она к вашим услугам, господин Данзас. В ней вдвоем не тесно. Она на упругих рессорах, и господин Пушкин не будет чувствовать толчков. У господина Пушкина сильное кровотечение. Он может истечь кровью. Ему необходим срочно доктор. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно.

— Я правильно вас понял, господин виконт.

— Итак?

— С благодарностью принимаю ваше любезное предложение.

— Вот и отлично!

— Но одно непременное условие...

— Какое же?

Данзас посмотрел в сторону Пушкина, который, закрыв глаза, сгорбившись сидел в санях, и сказал:

— Пушкин ни в коем случае не должен знать, чья это карета.

— Разумеется, — кивнул д'Аршиак. — Я понимаю, насколько господину Пушкину это было бы неприятно. Но учтите, что на дверцах кареты герб барона Геккерена. Господин Пушкин может обратить внимание на герб.

— Я постараюсь, чтоб он его не заметил.

— Ну что ж, тогда дело за вами, — сказал д'Аршиак и отошел к Дантесу.

Данзас сказал Пушкину, что отыскал карету.

— А чья она?

— Наемная, — со спокойной совестью солгал Константин Карлович. — Тебе в ней будет покойнее. Согласен?

— Пожалуй.

У Пушкина было серое осунувшееся лицо. Глаза лихорадочно блестели.

«Совсем плох», — подумал Данзас.

Дверца кареты была предварительно распахнута, и Пушкин герба не заметил. Несмотря на уговоры Данзаса, он перешел в карету сам, Константин Карлович только поддерживал его под локоть. Сейчас он совсем не походил на тяжелораненого.

«Дай бог, дай бог!» — незаметно перекрестился Константин Карлович.

В карете было темно и уютно, пахло кожей и какими-то старыми, давно вышедшими из моды духами. Пушкин втянул ноздрями воздух. Нет, он не ошибся. Точно такими же духами пахло некогда в рабочей корзине бабушки, Марьи Алексеевны Ганнибал. В корзине бабушки маленький Саша прятался от гнева матери и докучливых гувернеров. Здесь его уже никто не тревожил. Это была волшебная корзина. И, уже будучи взрослым, поэт часто жалел, что у него больше никогда не будет подобного убежища, где можно было бы укрыться от светского злословия, клеветы, интриг, кредиторов, пасквилянтов, сплетников и лицемерного покровительства первого жандарма России — Николая...

Увы, волшебная корзина исчезла из его жизни вместе с детством и бабушкой!

Пушкин смертельно устал от тех усилий, которые потребовались, чтобы самостоятельно перейти в карету. В изнеможении прижавшись спиной к мягким подушкам, он тихо сказал:

— Как хорошо!

— Тебе удобно?

— Да... как в бабушкиной корзине.

Константин Карлович не понял, но переспрашивать не стал.

— Чья это карета, Данзас?

— Наемная, — повторил Константин Карлович.

Немец-кучер взмахнул бичом, и карета плавно тронулась с места.

Рессоры скрадывали толчки, и боль, которая еще несколько минут назад, поднимаясь от живота вверх, раскаленным клинком пронзала все тело, постепенно стихла, а затем и вовсе исчезла. Только по-прежнему кружилась голова, и во всем теле ощущалась непривычная слабость.

Данзас протянул руку, чтобы задернуть на окне шторку, но Пушкин остановил его. Он хотел видеть вечерний Петербург, город, который он всю свою жизнь так сильно любил и ненавидел. Кто знает, быть может, он проезжает по его улицам в последний раз.

Карета въехала на Аптекарский остров и покатила по прямому, как палка капрала, и нескончаемо длинному Каменноостровскому проспекту. Чугунные обледенелые тумбы, поставленные здесь еще в царствование Екатерины II; вытянувшиеся в стройные шеренги, словно солдаты на вахтпараде, фонарные столбы и посаженные через равные интервалы, строго по ранжиру, сиротливые деревья.

У моста через Карповку кучер придержал лошадей. Из будки в косую полосу выглянул толстый заспанный будочник в тулупе и с алебардой, с завыванием протяжно зевнул и поднял скрипучий шлагбаум. У этого полицейского были маленькие глазки и мясистый бесформенный нос.

Петр I считал полицию становым хребтом государства. Петербургская полиция следила при нем за печами и трубами, за соблюдением правил застройки, укреплением берегов рек и каналов, за уборкой нечистот домовладельцами, за состоянием рынков и одеждой продавцов. Мало того. По его указу полиция должна была обеспечивать «добрые порядки и нравоучения», «рождать каждого к трудам и промыслу принуждать, юных в целомудренной чистоте и честных науках воспитывать, излишек в домовых расходах запрещать». Указ царя безоговорочно утверждал, что полиция — это «душа гражданства».

Полицейский опустил шлагбаум, почесался под тулупом и скрылся в своей будке. «Душа гражданства» пошла досыпать. Любезное дело.

Карета въехала на Петербургский остров. Здесь по приказу Петра I были возведены «образцовые мазанки». Такие мазанки, начиная с 1712 года, под страхом на-

казания предписывалось строить всем «недостаточным» петербуржцам. Петр мечтал уподобить свой «парадиз» любезному его сердцу Амстердаму. «Если бог продлит жизнь и здравие, — говорил он, — Петербург будет другой Амстердам».

Амстердам был городом каналов — и в Петербурге тоже рыли каналы, которые за ненадобностью были засыпаны к середине восемнадцатого века. Амстердам был городом каменных домов — и в Петербург свозили камень со всех концов необъятной России. Но камня все равно не хватало, и Петр запретил строительство каменных домов в Москве. Каждому жителю Петербурга было предписано сдать сто камней для мощения улиц.

Царь добился своего: Петербург стал первым каменным городом Российской империи. Одетый в камень город прямых линий... Каменные дома, каменные набережные, каменные лица солдат и жандармов. И сам преобразователь России вместе со своим «любезным другом Катеринушкой» теперь тоже был укрыт камнем. Его останки покоились на каменном ложе под каменной плитой в храме Петра и Павла.

В окнах кареты проплывали серые, похожие один на другой дома, лавки, где продавались калачи и сбитни, облинявшие вывески портных и сапожников. Неподалеку от извозчичьей биржи на углу Каменноостровского проспекта и Архиерейской улицы над дверью трехэтажного доходного дома красовалось изображение покрытой мыльной пеной физиономии — «Стригут, бреют и кровь отворяют».

Пушкина лихорадило. Непослушными, онемелыми пальцами он застегнул шубу, попытался натянуть перчатки. Левая наделась легко, а правая за что-то зацепилась и никак не налезала на пальцы.

Перстень...

Этому перстню поэт посвятил два стихотворения. Первое было им написано в 1825 году, в тяжкие дни михайловской ссылки.

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи —
Храни меня, мой талисман.
В уединенье чуждых стран,

На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман...

Второе он написал два года спустя, когда расследовалось дело о распространении запрещенных стихов из «Андрея Шенье».

Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!

Пушкин прикоснулся пальцем к вставленному в кольцо камню. Он был теплым, почти горячим. Весенний камень.

Древние безоговорочно верили в силу драгоценных камней. Они считали, что владелец бирюзы будет жить без забот и в полном благоденствии, что аметист дает власть над ветрами и покровительствует мореплавателям, что талисман волхвов — лунный камень, а изумруд призван вдохновлять поэтов, художников и музыкантов... В средние века им награждали победителя в состязании бардов. Его же вручали вновь избранному королю братства менестрелей во Франции. Легенды и предания приписывали изумруду покровительство Гомеру и Петрарке, Данте и Байрону.

Покровитель поэтов, живописцев и музыкантов... Сегодня ему изумруд удачи не принес, но стоит ли его винить в этом? Он никогда не был амулетом дуэлянтов. Но этот камень находился у него на пальце, когда он писал «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Скупого рыцаря», «Моцарта и Сальери», «Пир во время чумы», «Полтаву», «Дубровского», «Песни западных славян»... Как верный товарищ, он делил с ним успехи и неудачи, радость и горе. Разве это не стоит благодарности? И как-то Пушкин сказал, что на Парнас взлетает не на заморском крылатом Пегасе, а на лихой русской тройке — морошка со снегом, стакан ледяной воды с малиновым вареньем, которые всегда стоят на его письменном столе, когда он работает, и вот этот перстень-талисман, подсказывающий рифмы.

Он повернул перстень камнем вниз, и рука легко вошла в тесную перчатку. Несмотря на хваленые рессоры, карету все-таки трясло. Пушкин прикрыл глаза и тотчас же увидел Натали. Она сидела за овальным столиком и читала письмо. Это было письмо от него,

Пушкина, но адресованное не ей, а ее матери. «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась, я сделал предложение, ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума; в ту же ночь я уехал в армию... Я вам писал; надеялся, ждал ответа — он не приходил...

Сколько мук ожидало меня по возвращении! Ваше молчание, ваша холодность, та рассеянность и то безразличие, с какими приняла меня м-ль Натали... У меня не хватило мужества объясниться, — я уехал в Петербург в полном отчаянии. Я чувствовал, что сыграл очень смешную роль, первый раз в жизни я был робок, а робость в человеке моих лет никак не может понравиться молодой девушке в возрасте вашей дочери...

Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери; я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ни чем не могу ей понравиться; если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но, будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий, более достойный ее союз; — может быть, эти мнения и будут искренни, но уж ей они безусловно покажутся таковыми. Не возникнут ли у нее сожаления? Не будет ли тогда она смотреть на меня как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее; но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, — эта мысль для меня — ад».

Пушкин застонал. Натали вздрогнула, подняла на него глаза и вздохнула. От ее вздоха, словно белые птицы, взлетели в воздух лежавшие перед ней письма.

Пушкин с трудом разбирал слова в кружившихся перед ним строчках: «Пишу тебе из Тригорского. Что это, женка? вот уже 25-ое, а я все от тебя не имею ни строчки... Здорова ли ты, душа моя? и что мои ребятишки?.. В Михайловском нашел я все по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия,

молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу...» «...Не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции, и так далее — охлаждает меня...»

«Все вы, дамы, на один покрой... Так и раскокетничалась... Впрочем, женка, я тебя за то не браню. Все это в порядке вещей; будь молода, потому что ты молода — и царствуй, потому что ты прекрасна...»

«...Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у господа бога. Но ты во всем этом не виновата...»

«...Видел я трех царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на четвертого не желаю... Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет...»

«Какая ты дура, мой ангел! конечно я не стану беспокоиться оттого, что ты три дня пропустишь без письма, так точно как я не стану ревновать, если ты три раза сряду провальсируешь с кавалергардом. Из этого еще не следует, что я равнодушен и не ревнив...»

Натали приподняла правую руку — письма, одно за другим, стали опускаться на столик, образуя сугроб, который совсем закрыл ее лицо от Пушкина.

Низкий голос цыганки Тани пел сложенную в таборе песню:

Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами,
Д—Митюша,
В—Петруша,
Г—Федюша
Девок испугали
И всех разогнали.

— Пушкин!

Александр Сергеевич открыл глаза и увидел встревоженное лицо Данзаса.

— Да?

— Нет, ничего. Это я так. Пустое.

Пушкин уперся рукой в подушку и слегка приподнялся. Это далось ему с трудом. Вновь вернулась оставившая было его нестерпимая боль. Чтобы не застонать, Александр Сергеевич сжал зубы и глубже втиснулся в подушку.

— Потерпи немного, скоро приедем, — сказал Данзас.

Пушкин кивнул. Преодолев силой воли боль, попросил:

— Подготовь Натали...

— Конечно.

— И пришли людей, чтобы меня перенесли. Наверх я не поднимусь.

— Все сделаю.

— Натали скажи, что рана несерьезная, — с трудом выговаривая слова, будто заново учась говорить, сказал Пушкин.

— Не беспокойся.

Остался позади Кронверкский проспект, огибающий полукругом Александровский парк. Они переехали Троицкий мост — и вот уже Дворцовая набережная, нарядная, ярко освещенная.

— Почти приехали, — сказал Данзас.

Пушкины занимали квартиру рядом с Зимним дворцом, на Мойке, в доме князя Волконского. Поэта внесли на руках в его кабинет, раздели и уложили на диван.

Вскоре приехал доктор Задлер. Он осмотрел Пушкина и наложил на рану компресс. Задлера сменил известный в Петербурге хирург Арендт.

Рассказывая впоследствии о своем посещении поэта, Арендт говорил: «Обычно жизнь людей, получивших подобную рану, измеряется минутами. А он сделал ответный выстрел, сам перешел в карету и столько прожил... Великолепная натура! Mens sana in corpore sano — здоровый дух в здоровом теле. Это был не только великий поэт, но и человек великой воли».

Арендт долго зондировал рану, но пулю извлечь не смог. Отвечая на немой вопрос Натальи Николаевны, Арендт с профессиональным оптимизмом сказал:

— Будем надеяться, что все обойдется. Никаких лекарств. Шампанское и лед, лед и шампанское!

Когда Наталья Николаевна вышла из кабинета, Пушкин пристально посмотрел на врача.

— А теперь, Николай Федорович, поговорим откровенно.

— Я вас не понимаю...

— Я хочу знать правду, Николай Федорович. Я должен все знать, чтобы иметь возможность распорядиться. Уверяю вас, что ничто испугать меня не может.

Хирург закрыл свой маленький саквояж с инструментами. Саквояж был старым, потертым. Арендт приобрел его еще во времена Отечественной войны 1812 года. Тогда Арендт никогда не лгал умирающим солдатам. Но то были солдаты...

Пушкин по-прежнему неотрывно смотрел на него.

— Если так, то... — нерешительно начал хирург.

— Да?

— Рана очень опасна, — торопливо, словно боясь, что через минуту пожалеет о своей откровенности, сказал Арендт, — и к выздоровлению вашему я почти не имею надежды.

— Спасибо, я так и предполагал. Не говорите лишь об этом моей жене.

Хирург кивнул головой и поднялся со стула.

— Хочу вас предупредить, Александр Сергеевич, что, как лейб-хирург его величества, я обязан доложить о состоявшейся дуэли и ее последствиях царю.

— Докладывайте. Но попросите его от моего имени не наказывать секунданта. Константин Карлович Данзас не мог мне отказать в этой услуге и сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить поединок.

Арендт откланялся, а два часа спустя снова приехал и вручил Пушкину записку царя. «Любезный друг, Александр Сергеевич, — писал Николай, — если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет: старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение».

Арендт с удивлением заметил, как губы Пушкина тронула слабая улыбка.

Лейб-хирург его величества, конечно, не знал, что несколько лет назад поэт в кругу близких друзей импровизировал свое будущее завещание: «Стихотворения откажу Жуковскому, отцу-кормильцу моей музы. Софи Карамзиной — все английские сентиментальные романы, которые она так любит, и необходимый при их чтении носовой платок для вытирания слез...» Пушкин ни-

кого не хотел обделить, даже врагов. Врагам он собирался оставить в наследство посвященные им эпиграммы и свои денежные долги, которые, увы, увеличивались с каждым месяцем.

Судя по записке царя, Николай готов был принять на себя его долги, не дожидаясь заверенного нотариусом завещания. Что же касается эпиграмм, то они и так уже безраздельно принадлежат самодержцу всея Руси, перейдя к нему по наследству от покойного брата.

Пушкин положил записку на стоящий у дивана столик. Здесь стояло ведерко с шампанским и горели в бронзовом канделябре витые свечи. На его указательном пальце вспыхнул зеленым пламенем изумруд. Перстень вторично за этот вечер напоминал о себе, напоминал деликатно, ненавязчиво. У Гёте тоже был резной перстень с изображением Амура на морском коне. Кто-то говорил, что этот перстень был сапфировым, но Пушкин сомневался. К синему цвету Гёте относился если и не отрицательно, то по меньшей мере настороженно. «Синее вызывает у нас чувство холода... — писал он. — Синее стекло показывает предметы в печальном виде». А зеленый цвет великий старец любил, в нем он ощущал добрую и умиротворяющую силу природы. Так же, как и Плиний, Гёте считал, что такой цвет способен успокоить и глаз и душу. Поэтому перстень у Гёте скорей всего был тоже изумрудный, такой же зеленый, как и этот.

Пушкин задумчиво смотрел на перстень. В переливающемся всеми оттенками зеленого камне он видел сочную зелень молодой травы и еще не просохшие на ветру весенние листья деревьев, залитые теплым золотистым солнцем луга и затененные лесные поляны. Болдино, Михайловское, Тригорское... В комнате повеяло ветерком, который принес с собой легкий аромат ландышей и запах травы.

Пушкин закрыл глаза.

Недоумевающий Арендт наклонился над ним.

— Вам плохо?

— Нет. Просто легкое головокружение.

— Вы потеряли слишком много крови.

— Видимо.

— Хотите что-нибудь передать государю?

«Царь? Ах да, записка...»

— Передайте его величеству, что я тронут проявлен-

ным им великодушием, — сказал Пушкин и снова прикрыл глаза.

Арендт на цыпочках вышел из комнаты.

— Александр Сергеевич уснул. Не тревожьте его, — сказал он Наталье Николаевне.

Но Арендт ошибся: Пушкин не спал. Ему оставалось слишком мало жить, чтобы он мог тратить время на сон. Пушкин снял с пальца перстень и положил его рядом с канделябром.

Что ж, враги не обижены, они свое получили. Но не следует забывать и о друзьях... А друзей у него всегда было много, во много раз больше, чем врагов.

Перед ним мелькали, сменяя друг друга, лица Дельвига, Жуковского, «отца и кормильца его музы», Пущина, Кюхельбекера, Карамзиных, Раевских, Чаадаева, Вяземского, Виельгорского, Данзаса, Даля, Гоголя...

Да, у него было много друзей. Было?.. Нет, он жив. Пока еще жив...

Ночью боли достигли предела, и поэт попросил камердинера принести ему средний ящик из письменного стола. В ящике лежали пистолеты.

Данзас, которому камердинер тотчас же сообщил об этом, обнаружил их уже спрятанными под одеялом.

— Не нужно, Сверчок.

Пушкин, стиснув зубы, тяжело и сипло дышал. Данзасу показалось, что он его не узнает.

Пистолеты были кухенройтерские, с серебряными скобами и серебряной насечкой на стволах. Таких пистолетов у Дантеса не было, поэтому пистолеты для дуэли заказывались в оружейном магазине Куракина. Данзас вздохнул и положил пистолеты на место.

Утром Пушкину стало немного легче. В своем письме к отцу поэта, написанном им после смерти Пушкина, Василий Андреевич Жуковский вспоминал: «Одним словом, он сделался гораздо спокойнее... Даль, имевший сначала более надежды, нежели другие, начал его ободрять... «Я ухватился, — говорит Даль, — как утопленник за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя и других». Пушкин... взял его за руку и спросил: «Никого тут нет?» — «Никого». — «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся, Пушкин, право надеемся». — «Ну, спасибо!» — отвечал он. Но, по-видимому, только однажды и обольстился он надеждою, ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил. ...Он мучился менее от

боли, нежели от чрезмерной тоски: «Ах! какая тоска! — иногда восклицал он, закидывая руки на голову. — Сердце изнывает!»

...Однажды он спросил у Даля: «Кто у жены моей?» Даль отвечал: «Много добрых людей принимают в тебе участие; зало и передняя полны с утра и до ночи». — «Ну, спасибо, — отвечал он, — однако же поди скажи жене, что все, слава богу, легко; а то ей там, пожалуй, наговорят».

...С утра 28-го числа, в которое разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие — и люди всех состояний, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство национальной, общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном... Изъявления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. Участие иноземцев было для меня усладительною нечаятельностью. Мы теряли свое; мудрено ли, что мы горевали? Но их что так трогало?.. Отгадать нетрудно. Гений есть общее добро; в поклонении гению все народы родня! и когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковою братскою скорбию. Пушкин по своему гению был собственностию не одной России, но и целой Европы; потому-то и посол французский (сам знаменитый писатель) приходил к двери его с печалью *собственною* и о *нашем* Пушкине пожалел как будто о *своем*. Потому же Люцероде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник ввечеру: «Нынче у меня танцевать не будут, нынче похороны Пушкина».

«Возвращаюсь к своему описанию, — продолжал Жуковский. — Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он: «Который час?» И на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом: «Долго ли... мне... так мучиться?.. Пожалуйста, поскорей!..» Это повторил он несколько раз: «Скоро ли конец?..» И всегда прибавлял: «Пожалуйста, поскорей!» Вообще (после мук первой ночи, продолжавшихся два часа) он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками или отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг, делать нечего, — сказал ему Даль, — но не стыдись боли своей, стонай, тебе

будет легче». — «Нет, — он отвечал перерывчиво, — нет... не надо... стонать... жена... услышит... Смешно же... чтоб этот... вздор... меня... пересилил... не хочу».

Я покинул его в 5 часов и через два часа возвратился... Видев, что ночь была довольно спокойна, я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Арендт сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно; руки начали стыть. Он лежал с закрытыми глазами; иногда только подымал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб. Ударило два часа пополудни, и в Пушкине осталось жизни на три четверти часа. Он открыл глаза и попросил моченой морошки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пускай она меня покормит». Она пришла, опустилась на колена у изголовья, поднесла ему ложечку-другую морошки, потом прижалась лицом к лицу его; Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну, ну, ничего, слава богу; все хорошо! поди». Спокойное выражение лица его и твердость голоса обманули бедную жену... «Вот увидите, — сказала она доктору Спасскому, — он будет жив, он не умрет».

А через несколько минут после того, как Наталья Николаевна передала камердинеру пустую тарелку, Пушкина не стало. Даль остановил часы. Было без пятнадцати минут три пополудни. На столике у дивана попрежнему стояли канделябр с оплывшими свечами и ведерко с шампанским. Но перстня с изумрудом на нем уже не было...

Даже мертвый Пушкин был страшен царю. По выражению Жуковского, «полиция перешла за границы своей бдительности». «Из толков, не имевших между собой никакой связи, — писал возмущенный поэт Бенкендорфу, — она сделала заговор с политическою целию и в заговорщики произвела друзей Пушкина, которые окружали его страдальческую постель... Назначенную для отпевания церковь переменили, тело перенесли в нее ночью, с какой-то тайною, всех поразившею, без факелов, почти без проводников; и в минуту выноса, на которой собралось не более десяти ближайших друзей Пушкина, жандармы наполнили ту горницу, где молились о умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражею проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать? Чего могли от нас бояться? Этого я изъяснить не берусь».

После отпевания Пушкина в Придворной конюшенной церкви его повезли в Святогорский монастырь, где покоился прах его матери. Несмотря на предсмертную просьбу поэта, просившего за своего секунданта, и ходатайство Натальи Николаевны, Данзаса арестовали и ему было отказано в милости сопровождать гроб друга в Михайловское.

А через некоторое время состоялось разбирательство по делу убийцы Пушкина. Дантеса-Геккерена приговорили к смертной казни. Но одновременно с приговором суд постановил ходатайствовать о смягчении наказания. Ходатайство, разумеется, было учтено. Убийцу разжаловали в рядовые и выслали за границу. Вместе с Дантесом уехала из России и его жена, свояченица Пушкина, Екатерина Николаевна Гончарова.

...Василий Петрович зажег верхний свет, задернул на окне плотную штору. И там, по ту сторону зашторенных двойных стекол, остался Петербург 1837 года с его громадами дворцов, легконогими рысаками под цветными сетками, фонарями, полосатыми шлагбаумами и молодыми ясенями у Черной речки...

В комнате снова были только он, я и Пушкин — не умирающий человек, не бронзовая статуя, а стоящие на полке тома вдохновения, мук, счастья, любви, глубоких мыслей и переживаний — то, что пушкинский гений оставил последующим поколениям.

По радио передавали последние известия. Середина двадцатого века...

Смерть Пушкина потрясла Россию.

«Если бы при мне должна была случиться несчастная пушкинская история и если б я был на месте Данзаса, — писал Пущин своему лицейскому товарищу, — то роковая пуля встретила бы мою грудь». Всю ночь проплакал Александр Бестужев, который заказал потом панихиду по Пушкину и Грибоедову. «...Когда священник запел: «За убиенных боляр Александра и Александра», рыдания сдавили мне грудь... — писал он. — Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней! Вот уже трое погибло, и все трое какой смертью...»

Тысячи документов печали и скорби. Но не все переживали горечь великой утраты. И во время следствия

«О непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтовым» Михаил Юрьевич сказал: «Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни — приверженцы нашего лучшего поэта — рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах старого света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что он был ревнив, дурен собою...

Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого».

Много стихотворений было посвящено гибели величайшего поэта. О трагедии России писали: Креницин, Гвоздев, Огарев, Полежаев...

— И жизнь и смерть поэта породили в свое время немало легенд, значительная часть которых пришлась на долю перстня-талисмана, — сказал Василий Петрович. — Перстень будил любопытство и разжигал воображение. Среди легенд, ему посвященных, попадались и весьма любопытные.

Происхождение перстня связывали, например, с недолгим царствованием Бориса Годунова. Говорили, что царь подарил его на счастье своей дочери Ксении. По отзывам современников, Ксения Годунова была необыкновенной красавицей. «Отроковица чуднаго домышления, зельною красотою лепа, бела и лицем румяна, очи имея черны, велики, светлостию блистаяся... власы имея черны, велики, аки трубы по плечам лежаху», — восторженно писал о ней летописец. Но Ксения, по свидетельству тех же современников, отличалась не только красотою, но и образованностью. Борис Годунов был большим поклонником наук, и Пушкин не зря в своей драме вложил ему в уста слова: «Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни».

Ксения была знакома с творчеством древних поэтов и сама не чуждалась муз. Во всяком случае, ей припи-

сывалось авторство некоторых популярных на Руси в начале XVII века песен. Она хорошо знала античную историю и мифологию, в частности, все относящееся к тирану острова Самос Поликрату.

Поликрат, правивший островом в шестом веке до нашей эры, превратил Самос в самую сильную морскую державу Эгейского моря. Великолепный дворец Поликрата считался одним из красивейших зданий Древней Греции. Сокровищница тирана ломилась от драгоценностей.

Счастье не покидало удачливого правителя. И устрашась этого везения, Поликрат захотел умилостивить богов и обмануть судьбу.

Следуя мудрому совету, он решил во избежание жестокой расплаты за свое неизменное счастье расстаться с самым дорогим своим сокровищем — перстнем-геммой работы великого Феодора Самосского.

Поликрат бросил перстень в море. Но море вернуло тирану перстень. Боги не приняли жертву Поликрата, и он понял, что дни его сочтены...

Что же касается творения Феодора Самосского, то оно, как и положено произведениям искусства, намного пережило и Поликрата и Феодора.

Знаменитую гемму еще в начале нашей эры показывали путешественникам в римском храме Согласия. Оправленная в золото, эта изумрудная гемма, удостоившаяся чести попасть в балладу Шиллера «Поликратов перстень», которую перевел на русский язык Жуковский, была, видимо, сделана в форме священного жука египтян скарабея.

Смарагдовый перстень Ксении Годуновой (смарагдом тогда называли на Руси изумруд) был вырезан ювелиром по ее рисунку и являлся точной копией знаменитого перстня, увиденного и описанного Климентом Александрийским в третьем веке нашей эры. Так же как и на том легендарном перстне, на перстне Ксении была вырезана лира, окруженная пчелами. Ксения очень любила этот перстень и гордилась им, но он не принес ей счастья, точно так же, как творение Феодора Самосского не вернуло Поликрату утраченного им благоволения богов.

Когда царь Борис умер, а его жена и сын были злодейски убиты, Лжедмитрий I насильственно сделал Ксению своей наложницей. Слухи об этом дошли до Марины Мнишек и, вызвав у нее ревность, ускорили приезд

невесты самозванца в Москву. За несколько дней до торжественного въезда Марины Мнишек и ее отца в столицу Ксения Годунова была заточена в монастырь, где ей еще суждено было пережить разграбление монастыря казаками атамана Заруцкого. Перед смертью Ксения подарила этот перстень настоятельнице монастыря.

Переходя из рук в руки, перстень Ксении оказался у владельца богатого села Вяземы, которое, кстати говоря, принадлежало некогда Борису Годунову. У этого помещика, являвшегося ее соседом по имению, бабушка Пушкина, Марья Алексеевна Ганнибал, и приобрела перстень Ксении, который завещала своему внуку.

Были и другие варианты той же легенды. Рассказывали, например, что Лжедмитрий, вступив в Москву, приказал отобрать у Ксении Годуновой этот перстень и отправил его с гонцом своему тестю, Юрию Мнишеку, воеводе Сандомирскому. Любитель весело пожить, Мнишек был кругом в долгах. Поэтому перед своим путешествием в Россию он вынужден был заложить этот перстень вместе с другими драгоценностями, присланными Лжедмитрием из Москвы, краковскому ростовщику. Выкуплены эти ценности, разумеется, не были. Так перстень исчез. А много лет спустя знаменитый польский поэт Адам Мицкевич, слышавший о перстне Ксении, случайно приобрел его у какого-то ювелира — то ли в Кракове, то ли в Варшаве — и в знак своего преклонения перед талантом русского поэта преподнес его автору «Бориса Годунова».

По другой легенде, перстень-талисман принадлежал некогда Ивану III, который выдал свою дочь Елену замуж за великого князя Литовского Александра. В свите, которая сопровождала Елену в Литву, был и предок поэта, Василий Тимофеевич Пушкин, пользовавшийся доверием дочери великого князя.

Иван III считал, что и так оказывает Александру великую честь, и не дал за дочерью никакого приданого. Это тяготило Елену. В одном из писем к отцу она писала: «И сама разумею, и по миру вижу, что всякий заботится о детках своих и о добре их промышляет ...только на одну меня Господь Бог разгневался, что пришло твое нежалованье... Служебница и девка твоя, королева Польская и великая княгиня Литовская Олена со слезами тебе, государю отцу своему, низко челом бьет».

После этого письма Иван III якобы усовестился и послал 500 горностаевых шкурок, кречетов и изумрудный перстень, который в дальнейшем Елена подарила за верную службу Василию Тимофеевичу Пушкину.

Так перстень стал фамильной драгоценностью Пушкиных и достался Александру Сергеевичу от его дяди Василия Львовича, тоже поэта, который преклонялся перед своим гениальным племянником. Согласно этой легенде на перстне венецианским мастером были вырезаны шапка Мономаха и бармы.

Одни утверждали, что перстень-талисман Пушкину подарил Державин, другие — что графиня Воронцова, третьи называли имя Дельвига.

Еще больше легенд было посвящено судьбе перстня после смерти Пушкина. Здесь уже каждый фантазировал в меру своих сил и возможностей. Шепотом говорили, что поэт переслал свой талисман «опасному государственному преступнику» Ивану Ивановичу Пущину, отбывающему пожизненную каторгу за «участие в умысле на цареубийство одобрением выбора лица, к тому предназначенного... и, наконец, в том, что лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов».

Некоторые уверяли, что перстень у «этого чудовища Чаадаева», ведь недаром покойный поэт посвятил ему столько стихотворений и в числе «самых необходимых предметов для жизни» просил прислать в Михайловское портрет этого сумасшедшего.

Третьи говорили, что Пушкин отдал перстень Владимиру Ивановичу Далю, с которым сблизился в последние дни своей жизни. При этом вспоминали, с каким одобрением Пушкин встретил сказки Даля, о том, как поэт послал ему свой рукописный экземпляр «Сказки о рыбаке и рыбке» с надписью: «Твоя — от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин». Кстати, в статье о Дале, помещенной в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, приват-доцент Булич как само собой разумеющееся написал, что Даль «присутствовал при трагической кончине Пушкина, от которого получил его перстень-талисман». И в том же словаре в статье о Данзасе указывалось: «Пушкин очень любил Данзаса, которому, умирая, отдал на память с своей руки кольцо».

Среди слухов был и слушок, пущенный кем-то из ненавистников Натальи Николаевны. Надо сказать, что в высшем петербургском обществе имелись люди, кото-

рые были не прочь, обеляя царя и придворных, возложить всю вину за гибель Пушкина на его жену.

Этим целям служил и слух о том, что будто бы Пушкин отдал перстень ей, а она не нашла ничего лучшего, как подарить талисман поэта своей уехавшей в Париж сестре, жене убийцы, Екатерине Николаевне Гончаровой. И теперь, после смерти Екатерины Николаевны, Дантес-Геккерен, глумясь над памятью убитого им гения, носит перстень на своем мизинце.

И, как всегда бывает в подобных случаях, тут же объявились «очевидцы». Один присутствовал якобы при том, как Наталья Николаевна, прощаясь с сестрой, передала ей перстень и та достала талисман из коробочки и примерила на безымянный палец, причем Дантес улыбался и одобрительно кивал головой. По утверждению другого, об этом ему стало известно от дочери Пушкина, которой рассказал о происшедшем камердинер поэта, потрясенный вероломством ее матери. Третий же «очевидец» только что приехал из Парижа, где встречался с Дантесом и собственными глазами видел на его пальце перстень Пушкина. Причем Дантес ему сказал, что веревка повешенного и талисман убитого в одинаковой степени приносят счастье. Учитывая, что Дантес сразу же после убийства Пушкина мог увлеченно дирижировать на балу мазуркой и котильоном, в подобное заявление бывшего кавалергарда нетрудно было поверить.

Все это настолько разожгло страсти, что один из русских гвардейских офицеров, страстный поклонник Пушкина, поклялся привезти талисман из Парижа, а если Дантес откажется отдать перстень, убить мерзавца на дуэли.

Перед отъездом офицер нанес визит дочери Пушкина, Наталье Александровне, но не застал ее. Так что попытка что-либо дополнительно выяснить закончилась ничем.

К тому времени Дантес-Геккерен, которого Карл Маркс называл «известнейшим выкормышем империи», а великий французский поэт Виктор Гюго клеймил в своих «Chatiments», делал политическую карьеру при другом, более крупном авантюристе, чем он сам. Реакционер по своим убеждениям, бывший кавалергард сразу же после высылки из России принял деятельное участие в политической жизни Франции. С целью облегчить Луи Наполеону подготовляемый им государствен-

ный переворот Дантес вместе с другими правыми депутатами добивался изменения конституции страны. После прихода к власти Наполеон III щедро расплатился за оказанные ему услуги. Дантес стал сенатором и был приближен к императору, выполнял его поручения и участвовал даже в переговорах с русским царем. Пользуясь своим положением при Наполеоне III, Дантес не чуждался и предпринимательства. Он наживал деньги, принимая участие в учреждении железнодорожных компаний, промышленных обществ и кредитных банков. Екатерина Николаевна Гончарова скончалась во Франции, и Дантес по этому поводу не грустил. Он не любил своей жены. Брак был вынужденным.

Встретиться с любимцем Наполеона III было сложно. Он не принимал неизвестных ему людей, тем более людей из России. А тут еще русским офицером сразу после его прибытия в Париж заинтересовалась хорошо информированная французская полиция, которая, видимо, получила какие-то сведения о целях его приезда. В полиции знали, что молодость камергера императора, проведенная им в Петербурге, была отнюдь не безупречна и что в России не забыли ни о гибели поэта, ни о виновнике этой гибели.

Встреча с Дантесом откладывалась. Зато офицера, к его глубочайшему удивлению, охотно приняла у себя дочь Дантеса — Леония-Шарлотта. Горничная тотчас же проводила русского в ее комнату. У дочери камергера были темные глаза и бледное лицо.

— Для русских я всегда дома, — сказала она, поднимаясь навстречу офицеру. — Жаль только, что они у меня редкие гости. Как говорят в России, милости просим, — старательно выговорила она по-русски. — Я правильно говорю?

Первое, что бросилось в глаза офицеру в кабинете Леонии-Шарлотты, был большой портрет Александра Сергеевича Пушкина, который висел на противоположной от дверей стене...

Но это еще не все. На письменном столе молодой женщины рядом с бронзовым бюстом А. С. Пушкина лежал раскрытый томик из собрания его сочинений и исписанные листы бумаги. Офицер ожидал чего угодно, но только не этого. На какое-то время он потерял дар речи.

— Но вы не ответили на мой вопрос.

— Простите?
— Я правильно говорю по-русски?
— Бесподобно! — сказал офицер, думая совсем о другом.
— Неужто без акцента?
— Без малейшего.
— Странно.
— Странно не это. Странно не то, что вы говорите по-русски, а то, что вы чувствуете по-русски...
Она проследила за его взглядом.
— Вы имеете в виду Александра Сергеевича?
— Да.
— Что же тут странного? Я наполовину русская. Но что же вы стоите? Присаживайтесь.
Офицер сел. Он был явно растерян.
— Я работаю над переводом на французский язык «Бориса Годунова», — объяснила Леония-Шарлотта, указав на письменный стол. — Может быть, это слишком смело с моей стороны, но я считаю, что перевод Ле Фюре не слишком удачен, а мне бы хотелось, чтобы французы получили хоть некоторое представление о нашем гении. — Она так и сказала: «нашем». — Если мне это удастся, я буду считать, что прожила не зря.
«И это говорит она, дочь убийцы Пушкина», — билось в мозгу офицера.
— Жуковский считал, что Пушкин принадлежит Европе, — сказал он.
— Я полностью согласна с Василием Андреевичем. Но для того, чтобы стать необходимым всем, гений должен быть глубоко национальным. Более русского поэта, чем Пушкин, я не встречала. По Пушкину можно изучать Россию. Вот это я и хочу попытаться выявить в своем переводе. Правда, пока мне это не очень удается. Я мечтаю увидеть Россию. Это помогло бы мне лучше справиться с переводом, не правда ли?
— Я хотел побеседовать относительно вашего отца, — робко сказал офицер, ошеломленный всем увиденным и услышанным.
Глаза Леонии-Шарлотты сузились.
— Если вы имеете в виду сенатора Дантеса-Геккерена, то я его своим отцом не считаю.
— Простите, но отец всегда остается отцом.
— Ошибаетесь. Или вы считаете, что яблоко от яблони недалеко падает?

— Я совсем это не имел в виду, — запротестовал офицер. — Но существуют узы крови...

— Только не для меня. Я не могу признать отцом человека, который решился выстрелить в сердце России.

Визит затянулся. Офицер провел в обществе Леонии-Шарлотты целый вечер, а затем еще дважды навещал ее. В Россию он вернулся очарованный женщиной, которая оказалась достойной именоваться не дочерью Дантеса, а племянницей Пушкина. Знакомство с Леонией-Шарлоттой стало для него уроком: он понял, что жизнь не столь проста, как ему казалось, а яблоко от яблони падает порой очень далеко.

Клятва, которую офицер дал перед своим отъездом в Париж, осталась невыполненной: перстня-талисмана Пушкина он из Франции не привез, а сенатор и камергер Наполеона III умер в глубокой старости своей смертью. Дело в том, что Леония-Шарлотта заверила посланца из России: Наталья Николаевна никогда не дарила ее матери перстня покойного поэта. Более того, она, Леония-Шарлотта, даже не слышала об этом талисмане.

Таким образом, экспансивного юного офицера, который был моим отцом, Петром Никифоровичем Беловым, постигла неудача. Но в этой неудаче, впрочем, как и в каждой неудаче, были и свои положительные стороны. Во-первых, отец до конца дней своих сохранил светлое воспоминание о Леонии-Шарлотте, с которой некоторое время даже переписывался (она собиралась посетить Россию), и твердую уверенность, что она стала вечным укором для Дантеса. А во-вторых, что, с моей точки зрения, более существенно, он по-настоящему заинтересовался пушкинским талисманом и положил немало трудов на то, чтобы установить истину.

«Надо сказать, — рассказывал он мне впоследствии, — что после возвращения в Петербург я вообще некоторое время сомневался в существовании этого перстня. В конце концов если могли придумать эту историю с Натальей Николаевной, Екатериной Николаевной и Дантесом, то могли придумать и сам перстень... Однако встреча с дочерью Пушкина, Натальей Александровной, рассеяла всякие сомнения на этот счет. Наталья Александровна не видела этого перстня, не знала о его судьбе, но была уверена в его существовании. И эта уверенность была ею подтверждена документально. Она обратила мое внимание на стихи своего отца, посвящен-

ные перстню-талисману, и на его два письма из Михайловского к Льву Сергеевичу Пушкину. В первом поэт писал: «Еще комиссии: пришли мне рукописную мою книгу да портрет Чаадаева, да *перстень* — мне грустно без него; рискни — с Михайлом». А во втором, шутливом, написанном месяц или полтора спустя в рифму, Пушкин просил: «Пришли мне «Цветов» да «Эду» да поезжай к Энгельгардтову обеду. Кланяйся господину Жуковскому. Заезжай к Пущину и Малиновскому. Поцелуй Матюшкина, люби и почитай Александра Пушкина.

Да пришли мне кольцо, мой Лайон».

Таким образом, перстень-талисман существовал. Сомневаться в этом не приходилось. От Натальи Александровны Петр Никифорович узнал и о двух других необычных кольцах. Директор Царскосельского лицея Егор Антонович Энгельгардт вручил первым выпускникам чугунные кольца, в связи с чем бывшие лицеисты шутливо называли себя «чугунными братьями». Было такое кольцо и у ее отца. Точно такие же по форме кольца были позднее выкованы для декабристов из кандалов Николаем Бестужевым. Вполне возможно, что такого рода кольцо тоже имелось у Пушкина. Все это было весьма любопытно, но Петр Никифорович решил, что розысков перстня-талисмана с него более чем достаточно. Пусть поисками этих двух колец займется кто-нибудь другой. Кстати говоря, такими поисками позднее и занимались.

Когда Петр Никифорович прощался, Наталья Александровна выразила надежду, что он будет ее навещать.

В том же году судьба свела отца с отставным майором Иваном Ермолаевичем Великопольским, автором нескольких брошюр по обработке льна. От общих знакомых отец уже знал, что старик (Великопольскому тогда было под семьдесят, но он отличался поразительной бодростью, которой могли позавидовать и молодые) не всегда интересовался только льном. В молодые годы Ивана Ермолаевича знали как довольно бойкого стихотворца и драматурга. Его перу принадлежали популярные в свое время опера-водевиль «Сюрприз», трагедия «Владимир Влонский», драма «Любовь и честь». Но все-таки Иван Ермолаевич прославился не новым способом обработки льна, не стихами и не пьесами, а тем, что имел честь играть в карты почти со всеми литераторами своего времени, преимущественно с поэтами. Беседы с

Великопольским не раскрыли тайну талисмана, но все же оказались полезными. В тетради отца появилась такая запись, — Василий Петрович достал сафьяновую тетрадь и прочел: — «По словам Великопольского, Пушкин хорошо знал символику драгоценных камней, приписываемые им лечебные свойства. Однажды он показал Великопольскому таблицу соответствия того или иного камня месяцу рождения, знаку Зодиака, а также звезде, под которой человек родился. Великопольскому эта таблица показалась любопытной, и он ее переписал.

«Рожденным в январе, — прочел Василий Петрович, — сопутствует гранат и розовый кварц; в феврале — аметист и оникс; в марте — турмалин и яшма; в апреле — сапфир, алмаз, горный хрусталь; в мае — изумруд, хризопраз; в июне — жемчуг и лунный камень...

Пушкин родился 26 мая 1799 года, в четверг, под Меркурием в созвездии Близнецов. Таким образом, ежели он считался со своей таблицей, которую дал переписать Великопольскому, его счастливыми камнями могли считаться изумруд и хризопраз (по месяцу рождения), опал (родился под Меркурием в созвездии Близнецов) и соответствующие его знаку Зодиака (Близнецам) цитрин или тигровый глаз».

Василий Петрович закрыл тетрадь и продолжал:

— По заверениям Великопольского, вставки из цитрина и тигрового глаза в перстнях тогда, как правило, не делали. И если бы Пушкин носил перстень с такой вставкой, он, Великопольский, обязательно обратил бы на него внимание. Опал Пушкину не нравился, поэт считал его камнем печали и неудач. Таким образом, если перстень-талисман соответствовал переписанной Великопольским таблице, то это скорей всего был перстень с изумрудом или хризопразом. Любопытно, что во всех легендах, сопутствовавших этому перстню, он был не с каким-либо иным камнем, а именно с изумрудом.

Итак, изумруд.

Следует отдать должное Петру Никифоровичу, который проявил тогда много терпения и настойчивости, разрабатывая эту версию. Отец опросил десятки, если не сотни людей, в том числе ювелиров, которые могли располагать на этот счет хоть какими-либо сведениями.

Но отцу постоянно и упорно не везло. Впрочем, через некоторое время после его поездки в Париж, где он познакомился с дочерью Дантеса, ему показалось,

что фортуна повернулась к нему лицом и даже изволила улыбнуться...

Отцу попала в руки копия составленного в 1827 году для Николая I «Алфавита членов бывших злоумышленных тайных обществ и лиц, прикосновенных к делу, произведенного высочайше учрежденною 17 декабря 1825 года следственною комиссиею». В этом «Алфавите» против имени Никиты Всеволодовича Всеволожского было написано: «...Всеволожский был учредителем общества «Зеленая лампа», которому название сие дано от лампы, висевшей в зале его дома, где собирались члены, коими, по словам Трубецкого, были Толстой, Дельвиг, Родзянко, Барков и Улыбышев».

Среди перечисленных фамилий Пушкина не было. Но в том, что он состоял членом этого общества, не было никаких сомнений. В послании к Юрьеву поэт писал:

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники младые,
Надежды лампа зажжена.

«Зеленая лампа» упоминалась и в письме Пушкина к Мансурову: «Насилу упросил я Всеволожского, чтоб он позволил мне написать тебе несколько строк, любезный Мансуров, чудо-черкес! Здоров ли ты, моя радость; весел ли ты, моя прелесть — помнишь ли нас, друзей твоих (мужского полу)... Мы не забыли тебя и в 7 часов с 1/2 каждый день поминаем в театре рукоплесканьями, вздохами — и говорим: свет-то наш Павел! что-то делает он теперь в великом Новгороде?.. Зеленая лампа нагорела — кажется, гаснет — а жаль — масло есть...»

Что же собой представляла «Зеленая лампа»? Это было своеобразное литературно-политическое общество прогрессивно настроенной дворянской молодежи. Веселье и тосты «в честь Вакха, муз и красоты» перемежались здесь с весьма смелыми политическими разговорами и спорами о будущем устройстве России.

И в записке Якова Николаевича Толстого, которую он направил 17 октября 1829 года Николаю I, указывалось, что общество «получило название «Зеленой лампы» по причине лампы сего цвета, висевшей в зале, где собирались члены. Под сим названием крылось, однако же, двусмысленное подразумение, и девиз общества состоял из слов: «Свет и Надежда». Причем составлялись

также кольца, на коих вырезаны были лампы; члены обязаны были иметь у себя по кольцу».

Когда Петр Никифорович обнаружил, что именно такой печатью с изображением лампы поэт запечатал свое письмо к Павлу Мансурову, он уже почти не сомневался — тайна талисмана разгадана. Конечно же, Пушкин, всегда сочувствовавший вольнолюбивым стремлениям своих друзей — декабристов, Пушкин, у которого, видимо, хранилось одно из железных колец, сделанных из кандалов Бестужевым, на всю жизнь сохранил перстень-печатку с «лампой надежды» на лучшее будущее России. Эта печатка и являлась его талисманом с юных лет и до трагической смерти от руки Дантеса.

Но, увы, открытие, которым так гордился мой отец, только увеличило число легенд и ни на шаг не приблизило его к разгадке. Об этом он, к своему глубокому разочарованию, узнал от другого офицера, с которым познакомился в Болгарии во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Этот офицер в балканскую кампанию командовал 13-м Нарвским гусарским полком и за проявленное мужество был награжден золотым оружием и «георгием» третьей степени. Фамилия того полковника была Пушкин, а звали его Александром Александровичем.

Немного отвлекаясь от нашего повествования, должен сказать, что среди потомков Александра Сергеевича вообще было много храбрых воинов. Правнук поэта Григорий Григорьевич Пушкин был награжден в Великую Отечественную войну орденами Отечественной войны, Красной Звезды и многими медалями. Отличились в войне с гитлеровцами и праправнуки поэта: капитан английского уланского полка Джордж Майкл Александр Вернер и участник движения Сопротивления во Франции Георгий Михайлович Воронцов-Вельяминов.

Отец мне говорил, что Александр Александрович Пушкин унаследовал от поэта его необыкновенные серые глаза, вьющиеся волосы и длинные тонкие пальцы рук. Не знаю. Мне привелось увидеть впервые Александра Александровича уж в весьма преклонном возрасте, когда он в звании генерал-лейтенанта вышел в отставку и то ли заведовал Московским коммерческим училищем, то ли председательствовал в Опекунском совете. Я, в то время гимназист-первоклассник, во все глаза смотрел на хозяина дома — сына великого Пушкина!

Однако словоохотливый старик ничем не напоминал

своего знаменитого отца, каким тот представлялся мне по портретам и скульптурам. Возможно, мне не хватало воображения, а может быть, Пушкин в камне и на полотне совсем не был похож на того Пушкина, который много лет назад сажал к себе на колени сына Сашку, мальчика, который теперь стал стариком.

Петр Никифорович Белов не только познакомился в Болгарии с командиром 13-го Нарвского гусарского полка (несчастливый номер полка очень смущал Александра Александровича: он считал, что наверняка будет убит в бою, и все же лез под пули), но, несмотря на разницу в чинах, сошелся с ним, а к концу жизни даже сдружился.

Насколько я теперь понимаю, полковник Пушкин отнесся к поискам отца с некоторой долей юмора. Перстень-талисман не представлялся ему такой уж важной вещью, из-за которой стоит лишать себя покоя. Впрочем, его, кажется, заинтересовал рассказ отца о встрече с дочерью Дантеса («У такой канальи и такая дочь! Обязательно напишу кузине. Говорите, хорошенькая? Гончаровы подарили России немало красавиц»).

Петр Никифорович заговорил об обществе «Зеленая лампа», о печати, которой поэт запечатал свое письмо Мансурову, и спросил:

— Вам приходилось что-либо слышать о гемме-печати с изображением лампы?

— Как же, слышал, — подтвердил Пушкин-младший и этими словами превратил отца в самого счастливого человека в Болгарии.

Полковник сказал, что действительно, по семейным преданиям, у Александра Сергеевича имелся перстень-печатка с изображением лампы.

— А где он теперь?

— Представления не имею.

— Но, видимо, можно попытаться его разыскать?

— Можно, — усмехнулся Александр Александрович. — Невозможного не существует. Но нужно ли? Перстень с изображением лампы был потерян отцом очень давно, в Кишиневе или Гурзуфе, а может, еще где. Ежели не ошибаюсь, стихотворение «Талисман» он написал в году двадцать пятом или двадцать шестом...

— В двадцать седьмом, — поправил отец.

— Тем более. К тому времени перстня с лампой у него давно уже не было.

— Таким образом, вы хотите сказать, что он никак

не мог быть перстнем-талисманом? — упавшим голосом спросил отец, превращаясь из самого счастливого в самого несчастного.

— Увы.

— Вы уверены в этом, Александр Александрович?

— Как сие ни прискорбно, никакого сомнения на этот счет у меня не имеется. — Заметив, что отец обратил внимание на его перстень с бирюзой, Александр Александрович оттопырил мизинец правой руки и сказал: — Эту бирюзу отец подарил матери после дуэли с Дантесом. И точно такую же — Константину Карловичу Данзасу. Только тот, я слышал, потерял ее. Мать отдала ее мне на счастье.

Бирюза на мизинце Александра Александровича была небесно-голубого цвета, просвечивающая по краям, почти прозрачная. Феризе — камень счастья... Такую бирюзу на востоке называют «исхаки» и очень ее ценят.

— Хороша, не правда ли? — спросил Александр Александрович. — Меня научили, что надлежит делать, чтобы навсегда сохранить ее цвет, ведь бирюза выцветает. Я ее раз в год кладу в горячую мыльную воду.

— Александру Сергеевичу нравилась бирюза? — спросил отец.

— Видимо, ежели он хранил ее у себя, — сказал Александр Александрович и, посмотрев на отца, засмеялся. — Перстень-талисман?

— Он самый.

— Да нет, перстень-талисман, полагаю, не из бирюзы был. Перстень-талисман, вероятней, был изумрудным.

Таким образом, сын Пушкина подтверждал сказанное Великопольским.

— Говорят, изумруд был любимым камнем отца, — продолжал Александр Александрович, — он считал его чем-то вроде талисмана поэтов, художников и музыкантов. У него будто даже был записан апокриф касательно изумруда.

— Не помните его содержания?

— Почему же не помнить? Помню. Изумрудами была украшена корона Сатаны. И вот когда Сатану низвергли в ад, он потерял один из своих самоцветов, который превратился в изумрудную чашу. Эту чашу царица Савская послала в дар царю Соломону.

Вот такая история. Опасаюсь, как бы вам не пришлось ею довольствоваться.

— Александр Александрович, — взмолился отец, — неужто вы ничем так и не поможете мне?!

Полковник развел руками.

— Знаете, как французы говорят? Самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет, — сказал он по-французски. — А вы с ножом к горлу. Нехорошо. С удовольствием помог бы вам, но... А впрочем... Почему бы вам не попробовать поговорить с госпожой Смирновой? Она, так думаю, должна что-либо знать о перстне-талисмане. Поговорите со Смирновой, может быть, вам повезет. Во всяком случае, встретиться с ней значительно проще, чем ездить в Париж и вызывать на дуэль Дантеса. Как вы думаете?

Петр Никифорович ничего по этому поводу не думал, так как ему казалось, что фамилию Смирновой слышит впервые.

— Кто это?

— Смирнова-то? — в свою очередь, удивился Александр Александрович. — Я считал, что ее знают все. Александра Осиповна, урожденная Россет. Она во времена оные была фрейлиной. Неужто не слышали?

— Нет, будто слышал, — неуверенно сказал Петр Никифорович.

— Она в литературе пробовалась.

— Позвольте, эта не та, что опубликовала в «Русском архиве» воспоминания о вашем отце и Жуковском?

— Совершенно справедливо, она самая, — подтвердил Александр Александрович. — Помнится, она кому-то говорила о перстне-талисмане, который был подарен отцу графиней Воронцовой. Правда, поговаривают, что она выжила из ума, но... Чем черт не шутит? Хватка у вас хорошая, гвардейская. Потрясите старушку, авось вам с ней и повезет.

Проживавшая за границей Смирнова объявилась в России в 1880 году. Отца ей представили. Но поговорить с ней ему никак не удавалось: Смирнова нигде не появлялась и никого не принимала у себя. Но на этот раз Петру Никифоровичу все-таки сопутствовала удача.

Москва готовилась к открытию монумента Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник этот, как известно, был сооружен на средства, собранные по всенародной подписке, которая, по ходатайству бывших лицеистов, была разрешена царем. По предложению лицейского товарища поэта моряка Федора Федоровича Матюшкина

памятник решено было устанавливать не в Петербурге, а в Москве, где Пушкин родился. В конкурсе на лучший проект приняли участие известнейшие скульпторы, среди которых были Антокольский, Шредер, Забелло. Жюри после жарких споров остановило свой выбор на работе Александра Михайловича Опекушина.

Вокруг покрытого серым холстом памятника были сооружены трибуны и подмостки для почетных гостей, среди которых были Достоевский, Аксаков, Островский, Тургенев, Писемский, Григорович, Майков и дети Пушкина.

День выдался пасмурный, дождливый, но Страстная площадь и Тверской бульвар были заполнены народом. Разукрашенные коврами и флажками балконы, кругом цветы, гирлянды живой зелени. В распахнутых окнах близлежащих домов — лица людей, многие студенты забрались на крыши. В полдень из ворот Страстного монастыря на площадь вышла торжественная процессия и направилась к трибунам. А спустя полчаса, после кратких речей, перед собравшимися предстал освобожденный от холста бронзовый Пушкин.

Первым возложил венок к подножию памятника старший сын поэта — Александр Александрович. На его глазах Петр Никифорович увидел слезы.

Венки, букеты, гирлянды цветов...

В толпе, окружившей монумент, была и Смирнова-Россет.

Когда народ начал расходиться, к отцу подошел Александр Александрович.

— Беседовали со Смирновой?

— Никак не удается.

— На этой неделе она вас пригласит к себе.

Александр Александрович не был похож на провидца, и отец понял, что сын поэта замолвил за него слово.

— Не знаю, как вас благодарить.

— А коли не знаете, то и не надо.

Александра Александровича ждал экипаж, и он предложил завезти отца домой. Но Петру Никифоровичу хотелось еще побыть здесь, рядом с Пушкиным, на согнутой руке которого был венок от Тургенева.

На следующий день Петр Никифорович слушал в зале Благородного собрания речь Тургенева на заседании Общества любителей русской словесности.

— Сияй же, как он, благородный медный лик, воздвигнутый в самом сердце древней столицы, и гласи

грядущим поколениям о нашем праве называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и такой человек... Всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком...

А еще через день Петр Никифорович получил записку от Смирновой с приглашением посетить ее. Смирнова выражала надежду, что Петр Никифорович не откажет ей в этой просьбе.

Так отец получил наконец возможность поговорить о перстне-талисмане Пушкина с Александрой Осиповной Смирновой и ее дочерью, Ольгой Николаевной, которая была при матери чем-то вроде секретаря.

Встретили его весьма любезно и предупредительно. Смирнова охотно отвечала на все интересующие его вопросы.

Да, у Сверчка (так называли Пушкина его близкие друзья) был перстень-талисман. Совершенно верно, изумрудный. Сверчок получил его в подарок от графини Воронцовой в Одессе. Пушкин очень дорожил им и носил на указательном пальце правой руки. Нет, талисман поэта не достался ни Пущину, ни Чаадаеву, ни Далю. Она знала про все эти слухи, но не считала нужным опровергать их. Однако теперь, видимо, пора внести во все это ясность. Александр Сергеевич, как и следовало того ожидать, подарил перед смертью свой талисман не кому-нибудь, а Василию Андреевичу Жуковскому, которого он так сильно любил и который для него так много сделал. Тут не может быть абсолютно никаких сомнений. Василий Андреевич об этом сам рассказывал, когда они встречались после смерти Сверчка. Василий Андреевич носил тогда перстень-талисман на среднем пальце правой руки, рядом с обручальным кольцом. Он говорил, что Пушкин и жена занимают в его сердце одно и то же место, поэтому перстень покойного и обручальное кольцо тоже должны быть всегда вместе.

— Ольга, покажи, пожалуйста, господину Белову дюссельдорфский портрет Василия Андреевича! — обратилась она к дочери и пояснила: — Этот портрет написан тестем Василия Андреевича.

На портрете пятидесятивосьмилетний Жуковский был

изображен в полный рост. На безымянном пальце правой руки поэта можно было разглядеть обручальное кольцо, а на среднем — зеленый изумруд.

— Камея? — спросил Петр Никифорович у Смирновой.

— Нет, интальо, — ответила та, а не участвовавшая в разговоре Ольга Николаевна сказала:

— Перс, который продал это интальо графине, рассказывал о нем прелестную историю.

— Да, да, — оживилась Смирнова.

И мой отец, уже сытый по горло различными легендами, с должным смирением вынужден был выслушать еще одну.

Изумрудное интальо работы древнего восточного мастера много лет хранилось вместе с другими старинными геммами в сокровищнице Великих Моголов в Дели. А в 1739 году, когда войска персидского завоевателя Надир-шаха вторглись в Индию и сокровищница Великого Могола Мухамед-шаха была разграблена, Надир-шах подарил это интальо своему старшему и любимому сыну, который должен был наследовать великую и могущественную империю. Но будущее известно лишь аллаху. И в 1743 году Надир-шах, разгневавшись за что-то на сына, приказал ослепить его. Впрочем, шах вскоре раскаялся в содеянном, и гнев его обратился против пятидесяти вельмож, присутствовавших при ослеплении наследника. Почему они, зная о намерении своего повелителя, не разубедили его? Почему они не предложили шаху свою жизнь для спасения очей наследника? Понятно, что на все эти вопросы вельможи ничего вразумительного ответить не могли. А молчание, по мнению Надир-шаха, являлось самым веским доказательством их вины.

Справедливость рано или поздно, но должна была восторжествовать. И она восторжествовала. Все пятьдесят «виновников» ослепления Реза Кулы были казнены на площади перед дворцом. Реза Кула мог собственными глазами убедиться в справедливости своего великого отца. Но глаз у него уже не было... И тогда шах, отличавшийся не только справедливостью, но и хитроумием, сказал сыну: «Твои уши услышат их стоны, а твой изумруд увидит их мучения». И, когда наследник присутствовал при казни, на его груди было интальо из сокровищницы Великих Моголов...

Кто-то из персидских поэтов писал потом, что от созерцания пролитой во время этой казни крови изумруд

стал алого цвета и таким же горячим, как щипцы, которыми палачи терзали несчастных. Чтобы вернуть камню прежний цвет, интальо поместили в зеленом, как сам изумруд, шахском саду, и ровно через пятьдесят дней к камню вернулась его первоначальная окраска...

— Василий Андреевич собирался написать обо всем этом балладу, что-то вроде «Поликратова перстня» Шиллера, — сказала Александра Осиповна. — Такая же мысль была, как мне говорили, и у Александра Сергеевича. Но ни тому, ни другому не удалось осуществить свое намерение.

Ольга Николаевна красноречиво посмотрела на часы, давая тем самым понять, что время визита уже истекло. Но отец, пренебрегая намеком, спросил, что произошло с перстнем Пушкина после смерти Жуковского.

— Василий Андреевич оставил его своему сыну, Павлу Васильевичу.

— Перстень и сейчас у него?

— Нет.

— А у кого же? — настойчиво допытывался отец, у которого не было уверенности, что ему еще когда-нибудь приведется беседовать со Смирновой.

— Павел — поклонник господина Тургенева, — сухо сказала дочь Смирновой, — и в знак своего уважения к таланту этого литератора он подарил ему доставшийся от отца перстень Пушкина.

— Но с непременным условием, чтобы после смерти господина Тургенева перстень был ему возвращен, — дополнила ее старушка.

Дочь Смирновой вторично посмотрела на часы и встала.

— К сожалению, будет ли это условие выполнено или нет, зависит не от господина Тургенева, а от госпожи Виардо.

Отцу не оставалось ничего иного, как откланяться.

Казалось бы, разговор с двумя дамами внес определенность в загадочную историю с перстнем поэта. Но отец, приобретший некоторый скептицизм и печальный опыт за время своих долголетних поисков, теперь уже сомневался во всем. Его сомнения разделял и Александр Александрович Пушкин. Встретиться с Тургеневым в Москве отцу не удалось. Не смог он побеседовать с ним и во Франции, хотя очень к этому стремился. На свои письма к Тургеневу и сыну Жуковского от-

вета он не получил, что уже само по себе было плохим признаком.

Вновь Тургенева отец увидел лишь в 1883 году, когда тело великого писателя согласно его желанию было привезено из Франции в Россию и похоронено на Волковом кладбище...

Увы, больше Иван Сергеевич Тургенев уже ничем не мог помочь отцу с перстнем-талисманом Пушкина.

Петр Никифорович хотел повидать Полину Виардо, но в связи с различными обстоятельствами откладывал свою поездку во Францию с года на год. То дела, то несчастья...

И вдруг — а «вдруг» бывает не только в детективных романах, но и в жизни — 8 марта 1887 года газета «Новое время» напечатала письмо Василия Богдановича Пассека, русского вице-консула в Далмации и литератора, автора публиковавшихся в «Вестнике Европы» «Воспоминаний рядового первого призыва» и некоторых других популярных в свое время беллетристических произведений.

В своем письме Пассек удостоверял, что умерший в Буживале под Парижем в доме Виардо Иван Сергеевич Тургенев действительно владел перстнем-талисманом Пушкина. Более того, Пассек приводил сказанные при нем слова писателя: «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему, так же как и Пушкин, большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому, как высшему представителю современной литературы, с тем чтобы, когда настанет его час, граф передал этот перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями».

Петр Никифорович считал эту публикацию подарком судьбы, которая, как вы могли убедиться, до сего времени его отнюдь не баловала.

Итак, рассказанное ему двумя дамами подтверждалось. Перстень был у Ивана Сергеевича Тургенева. Но где он находится теперь, когда Ивана Сергеевича не стало, — в России или во Франции? У кого он — у Полины Виардо, Павла Жуковского или у Льва Николаевича Толстого?

По просьбе Петра Никифоровича один из его приятелей, уехавший во Францию на лечение, посетил Полину Виардо. Он рассказывал потом отцу о состоявшей-

ся встрече, во время которой речь шла о перстне Пушкина.

Да, действительно, сказала Виардо, у Ивана Сергеевича хранился этот перстень, он очень ценил его. Когда Тургенев работал, он обычно надевал его на палец. При этом Иван Сергеевич шутил, что с этим перстнем одни хлопоты, что перстень гения настолько строг и взыскателен, что он вынужден порой по нескольку раз переделывать в своей рукописи каждую фразу. Увы, этот перстень никак не хочет понять, что он не великий Пушкин, а всего лишь обычный, ничем не примечательный Тургенев. Какой с него спрос? Но разве перстень Пушкина убедишь в том, что иногда можно сделать скидку? Куда там! Вот и стыдишься каждой малой небрежности, вот и мучаешься часами над словом. Не только почетно, но и трудно носить на пальце перстень гения!

Приятель отца спросил, где этот перстень сейчас. Виардо сказала, что у нее. Этот перстень дорог ей как память о безвременно ушедшем из жизни Тургеневе. Она понимает, что у нее нет морального права оставлять эту бесценную реликвию у себя. Перстень так же, как Пушкин и Тургенев, принадлежит России. Все так. И тут ни в чем ее не надо убеждать. Слова излишни. Просто пока она не может решиться расстаться с ним. Это свыше ее сил. Но, рано или поздно, это, конечно, придется сделать. В России говорят, что лучше раньше, чем позже? Не всегда, не всегда. И все-таки? В этом году она перешлет перстень в Петербург. Как скоро? Она боится называть точную дату. Назвать дату — это взять на себя обязательство. Она не хотела бы связывать себя по рукам до такой степени. Да и нужно ли это? Она может заверить лишь в том, что перстень Пушкина во Франции, конечно, не останется. Можете поверить. Он будет в Петербурге. Скоро. Очень скоро. Возможно, он вернется к себе на родину даже в этом месяце. Ну, может быть, в следующем. Она надеется, что русские не будут на нее в обиде, ежели возвращение талисмана Пушкина несколько задержится, не правда ли?

У приятеля отца создалось впечатление, что Полина Виардо была с ним полностью искренна и что перстень Пушкина окажется в России в ближайшие месяцы. Самого перстня, о котором говорила Виардо, он не видел и не спрашивал у нее, из какого камня он сделан. Но отцу этого и не требовалось. Перстень Пушкина был изу-

мрудным. Это представлялось таким же бесспорным, как и то, что Земля вращается вокруг Солнца, а он, Петр Никифорович Белов, посвятивший столько времени розыску талисмана поэта, находится наконец у цели.

Загадочный и прекрасный изумруд. Никогда не интересовавшийся самоцветами и ювелирным делом, Петр Никифорович за время поисков перстня Пушкина узнал об изумрудах все, что только можно было узнать. Он теперь знал, что так называемый бразильский изумруд вовсе и не изумруд, а всего лишь зеленый турмалин, что медный изумруд — это диоптаз, капский — пренит, а африканский изумруд — обыкновенный зеленый флюорит. Истинный изумруд — это самая красивая разновидность благородного берилла, тот самый камень, который уважительно именовали смарагдом. Такие камни в глубокой древности добывались в Египте в знаменитых копях царицы Клеопатры и на рудниках Мюзо и Чивор-Сомондоко в Америке задолго до прихода туда испанских завоевателей.

От отца я узнал и о том, что самым большим изумрудом в мире считается «изумруд герцога Девонширского», найденный в Мюзо близ Боготы в Колумбии. Этот камень весит около 1386 каратов. Его подарил герцогу император Бразилии.

Отец рассказывал, что изумруд в России был всегда одним из самых ценимых самоцветов.

Отец показывал мне рисунок изумрудной перстневой печати Петра I. На этой печати он был изображен сидящим на троне в царском облачении, с короной. В одной руке — скипетр, в другой — держава. По периметру печати надпись: «Царь и великий князь Петр Алексеевич всея Русии».

Отец предполагал, что изумрудной была и другая личная печать Петра I с изображением молодого плотника, окруженного корабельными инструментами и пушками, с надписью по кругу: «Аз бо есмь въ чину учимых, и учащихъ мя требую».

Не знаю, на чем Петр Никифорович основывался, но он считал, что талисман Пушкина — это перстень с резным изумрудом античной формы (такой формы, кстати, была печать Петра I с изображением его на троне). Он допускал также, что самоцвет Пушкина огранен багетом или каре. Форма камня, огранка, шлифовка, оправа, гравировка — во всем этом могли быть самые различные варианты. Неизменным оставалось

одно — талисманом Пушкина был изумруд, и только он.

Полина Виардо сдержала свое обещание: перстень, оставшийся у нее после смерти Тургенева, был в конце концов отослан ею в Петербург, где попал в Пушкинский музей.

Петр Никифорович одним из первых в Петербурге узнал эту долгожданную весть. Хранителя музея, Виктора Борисовича Гречаева, страстного поклонника Пушкина, человека исключительной доброжелательности и обаяния, отец знал довольно давно.

Увидев отца, Гречаев очень обрадовался.

— Весьма кстати, — сказал он, — вы же за последнее время стали докой в ювелирных делах.

— Только по части изумрудов.

— Не скромничайте, не скромничайте, Петр Никифорович. Вот, поглядите, пожалуйста, взглядом знатока. — И он протянул отцу перстень с восьмиугольным резным камнем красноватого цвета. — Что вы скажете об этой штуке?

Петру Никифоровичу, как нетрудно догадаться, не терпелось посмотреть на присланный Виардо перстень-талисман Пушкина, поискам которого он отдал столько времени и сил, но он, разумеется, не мог отказать в просьбе Виктору Борисовичу. Видно, Гречаев собирался приобрести эту вещицу. Ну что ж...

— Вас интересует камень?

— Именно.

— Обычный сердолик, или карнеол. Название от латинского «карнис».

— То есть мяса, насколько я помню латынь?

— Совершенно верно, мяса. Как видите, окраска этого камня действительно несколько напоминает цвет мяса. Впрочем, некоторые считают, что название карнеола произошло не от «карниса», а от «корнума» — кизила. Но, видимо, это не столь уж существенно.

Гречаев спросил, относится ли карнеол к драгоценным камням.

— Нет, это поделочный камень, ближайший родственник яшмы.

— А что тут за надпись?

— Прочесть не берусь. Надпись на древнееврейском, а тут я пас.

— Ну и так более чем достаточно, — улыбнулся Гречаев. — Знатока древнееврейского я отыщу. Спасибо.

— Всегда к вашим услугам, — сказал отец. — А теперь у меня к вам просьба.

— Если это в моей власти, то считайте, что она уже выполнена.

— Хочу полюбоваться наконец перстнем-талисманом Пушкина.

Наступило молчание. Гречаев озадаченно смотрел на отца.

— Шутите?

— А почему, собственно, я должен шутить? — в свою очередь, удивился отец.

— Хотя бы потому, что вы его держите в руках.

Отец был ошеломлен. Он ожидал всего, но только не этого.

— Простите, Виктор Борисович, я правительно вас понял? Вы утверждаете, что этот карнеоловый перстень был пушкинским талисманом?

— Во всяком случае, он прислан Полиной Виардо, — сказал Гречаев и спросил: — Вы сомневаетесь, что его носил Пушкин?

Нет, отец в этом не сомневался. Присланный из Франции перстень, бесспорно, принадлежал Пушкину. О нем неоднократно упоминали современники поэта. Но считал ли Пушкин этот карнеоловый перстень своим талисманом? Его ли он имел в виду в своих письмах к брату, ему ли были посвящены два стихотворения?

Конечно же, нет. Ведь те, с кем Петр Никифорович беседовал, говорили именно об изумруде, покровителе поэтов, художников и музыкантов, который вместо короны вручался каждому вновь избранному королю братства менестрелей и которым награждали победителей в состязании бардов. Недаром Великопольский, рассказывая отцу о таблице камней, которую ему показывал Пушкин, говорил, что изумруд в ней был подчеркнут, а старший сын поэта рассказывал Петру Никифоровичу апокриф об изумрудной чаше, подаренной царицей Савской царю Соломону...

Нет, Пушкин, конечно, считал своим талисманом не сердоликовый, а изумрудный перстень. Но тогда выходит, что подлинный перстень-талисман поэта был не у Тургенева, а у кого-то другого.

Но у кого?

Может быть, он действительно достался Владимиру Ивановичу Далю, который был рядом с Пушкиным до

самой его кончины? Ведь утверждают, что Даль сам говорил об этом...

А может быть, перстень у графа Льва Николаевича Толстого?

Отец этого так и не узнал...

Когда я, сдав экзамены за второй курс университета, готовился принять участие в археологической экспедиции, которая должна была заниматься раскопками в районе Керчи, из дома пришла телеграмма о его кончине...

Он умер за своим письменным столом, правя черновик письма Льву Николаевичу Толстому. Оно, разумеется, было посвящено все тому же перстню...

Когда после похорон я разбирал его бумаги, то обнаружил вот эту тетрадь в сафьяновом переплете. В ней со свойственной отцу скрупулезностью были изложены все перипетии его многолетних розысков, сведения о геммах, камнях, записаны разговоры с различными людьми, приведены выдержки из писем, имевших какое-либо отношение к перстню-талисману Пушкина.

Уезжая, я забрал эту тетрадь с собой. С тех пор она всюду меня сопровождала. Но внимательно прочел я ее лишь в 1918 году. Тогда же проштудировал ее от первой и до последней страницы Усольцев. Связано это было с одним не совсем обычным обстоятельством.

— Как вы, наверное, знаете, — продолжал свой рассказ Василий Петрович, — в январе 1918 года в Московском Кремле была ограблена Патриаршая ризница. Мне привелось осматривать экспонаты многих музеев мира. Короче говоря, мне есть с чем сравнивать то, что хранилось в Патриаршей ризнице в Московском Кремле. И должен сказать, что там имелись экспонаты, достойные лучших сокровищниц мира. Чтобы вы имели некоторое представление о том, что было тогда похищено, я вам прочту описание всего нескольких вещей из «Краткого указателя Патриаршей ризницы», который был издан в 1906 году.

«Золотое кадило в виде одноглавой церкви, украшенное драгоценными камнями, — дар царицы Ирины Феодоровны, — прочел Василий Петрович. — Панагия золотая Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, в середине на громадном сапфире вырезано изображение Благовещения... Евангелие царицы Натальи Кирилловны, обе доски переплета золотые, покрыты финифтяными изображениями и множеством

драгоценных камней громадной стоимости. Весу в Евангелии более 2 пудов... Знаменитое Евангелие великого князя Новгородского Мстислава Владимировича XII века с золотым переплетом, украшенным эмалями X, XI, XII и XVI столетий... Золотые сосуды с эмалью царя Федора Алексеевича, весом в 30 фунтов, 58 золотников... Саккос патриарха Никона, по краям низан кафимским жемчугом, более полутораста золотых с чернью дробниц, множество драгоценных камней в золотых гнездах, весит до двух пудов...»

И вот этот уникальный музей стал жертвой преступления, — продолжал Василий Петрович. — Причем следует сказать, что ограбление ризницы было не первым случаем расхищения предметов искусства.

Бесследно исчезали картины, фарфоровые табакерки, скульптуры, гобелены, коллекции древних монет и античных гемм из барских особняков, захваченных анархистами.

Покидая большевистскую Россию, богачи увозили за границу полотна великих мастеров, бесценные фолианты, старинные иконы, продавали их иностранцам, прятали в тайники.

Поэтому президиум Московского Совдепа, заслушав сообщение о случившемся председателя Комиссии по охране памятников искусства и старины, не только обратился ко всем гражданам Советской России с призывом оказать содействие в розыске и возвращении похищенного из Патриаршей ризницы, но и ходатайствовал перед Совнаркомом республики о национализации всех предметов искусства, имеющих художественное и историческое значение. Это ходатайство, разумеется, было удовлетворено. А некоторое время спустя, если не ошибаюсь, в апреле, Народный комиссариат художественно-исторических имуществ, в котором я тогда заведовал одним из подотделов, опубликовал «Воззвание». «...Вчерашние царские дворцы, а ныне — народные музеи, созданы руками народа и лишь недавно ценою крови возвращены их законному владельцу — победителю, революционному народу, — писалось в нем. — Каждый памятник старины, каждое произведение искусства, коим тешились лишь цари и богачи, стали нашими; мы никому их не отдадим больше и сохраним их для себя и для потомства, для человечества, которое придет после нас и захочет узнать, как и чем люди жили до него. И подобно тому, как каждому из нас доро-

ги воспоминания детства и молодости, каковы (бы) они ни были, горькие или сладкие, — так и весь народ сохранит эти воспоминания истории минувшей, былых годов, как что-то дорогое и давно пережитое».

Но работа сотрудников Народного комиссариата художественно-исторических имуществ республики и Всероссийской комиссии по охране и раскрытию произведений искусства, членом которой я также состоял, не ограничивалась, разумеется, воззваниями, циркулярами и предписаниями. Перед нами была поставлена задача разыскать, реквизировать и обеспечить сохранность всего, что представляло ценность. А это, смею вас уверить, была в тех условиях очень сложная, а по мнению некоторых искусствоведов, и просто непосильная задача. В том же Петрограде, помимо всем известных сокровищниц, таких, как Эрмитаж, Русский музей и музей Академии художеств, существовали большие частные коллекции графов Строгановых, княгини Юсуповой-Сумароковой-Эльстон, великолепная пинакотека, то есть картинная галерея, голландских и фламандских художников Семенова. В так называемом минц-кабинете великого князя Георгия Михайловича хранилось лучшее в мире собрание монет древнегреческих поселений на юге России. А в тайнике владельца антикварного магазина Гребнева Евграф Усольцев вместе с сотрудниками ВЧК отыскал ящики со скифским золотом и, как он выразился, «каменных и золотых жучков». «Жучки» оказались древнеегипетскими скарабеями, среди которых, кстати, был великолепный скарабей из аметиста с вырезанной на внутренней стороне надписью. Подобные скарабеи влагались в мумии знатных египтян вместо вынутого из тела сердца. Надпись на аметистовом скарабее убеждала сердце покойного не свидетельствовать против него на загробном суде.

Тому же Усольцеву посчастливилось в Москве, куда мы переехали в конце лета, обнаружить в подвале покинутого хозяевами особняка около сотни старинных вееров. Среди них были и японские из белой пеньковой бумаги с рисунками известных художников. Подобные веера-картины в середине прошлого века продавались в Лондоне по 900 фунтов стерлингов за штуку.

Надо сказать, что в Москве к привычным уже для нас трудностям прибавилась еще одна — отсутствие подходящих хранилищ. Третьяковка, Оружейная палата, Румянцевский и Исторический музеи не в силах бы-

ли сразу же принять беспрерывно поступающие к ним произведения искусства. Поэтому многие из национализированных вещей приходилось временно размещать в здании наркомата, а то и на квартирах сотрудников.

Усольцев, в обшарпанную комнатку которого привезли как-то портрет работы Рембрандта и несколько полотен Гогена, спал с маузером под подушкой, а днем бегал по музеям и комиссиям, грозясь перестрелять саботажников.

Своеобразный вид приобрел и мой номер в бывшей гостинице Метрополь, ставшей Вторым домом Советов.

Чего здесь только не было!

Под моей кроватью мирно спала тысячелетним сном в обществе набальзамированных священных кошек, змей и симпатичного нильского крокодильчика очаровательная мумия, недавняя собственность московского фабриканта Гречковского. Под головой ее лежал положенный тысячи лет назад полотняный круг с хороводом веселых павианов, бурно приветствующих всемогущего бога солнца, а на лице покоилась позолоченная маска.

Место под софой занимали скифские древности: колчаны для смертоносных стрел с тиснеными золотыми бляхами, золотые венки и серебряная ваза для вина, украшенная изображениями трав, цветов и хищных грифов, терзающих оленя.

Возле умывальника в целомудренной позе стояла беломраморная Венера, которая благосклонно взирала на меня, когда я совершал свой утренний и вечерний туалет. Венере плутовски подмигивала с полки чудесная статуэтка жизнерадостного фламандца Виллема Бекеля, прославившегося в XIV веке усовершенствованием засола сельдей.

Хранилось у меня и кое-что имевшее прямое отношение к Александру Сергеевичу Пушкину. Нет, не к перстню. О перстне разговор впереди... Сейчас почти все рукописи поэта находятся в Институте русской литературы Академии наук СССР. А до Октябрьской революции многие из них были в частных руках, причем некоторые владельцы по тем или иным соображениям препятствовали публикации. Неизвестны были, например, читателям поэма Пушкина «Монах», которую скрывали наследники князя Горчакова; хранившаяся у князя Олега Романова поэма «Тень Фонвизина». Много автографов поэта переходило из рук в руки. А вдова

известнейшего историка русской литературы Леонида Николаевича Майкова не нашла ничего лучшего, как в порыве верноподданнических чувств вырвать из пушкинской тетради листы и подарить их Николаю II. То ли царь не был поклонником Пушкина, то ли, когда царская семья отправлялась в ссылку в Тобольск, у нее были другие, более неотложные заботы, но щедрый дар Майковой в Сибирь увезен не был. И вот теперь эти бесценные тетрадные листы хранились в моем кожаном портфеле, напоминая о безуспешных поисках отца и дожидаясь почетного места в музее.

И вот однажды в моем номере, похожем на антикварный магазин, появился поздним вечером некий молодой человек.

Странного посетителя нельзя было назвать ни товарищем, ни господином. Для «товарища» у него были слишком холеные руки с длинными, до блеска отполированными ногтями, привычное грассирование и манеры «человека из общества». А для «господина»... Дело в том, что одежда молодого человека полностью соответствовала революционным канонам того бурного времени: высокие, заляпанные грязью сапоги, кожаная потрепанная куртка, косоворотка, кожаный картуз с красной ленточкой. Кроме того, он виртуозно скручивал пресловутые козьи ножки и безбожно дымил махоркой. В лице его тоже было что-то и от «товарища» и от «господина». Томные, с поволокой глаза, затемненные густыми длинными ресницами, как будто бы намекали на голубую кровь, зато толстогубый рот явно стремился засвидетельствовать рабоче-крестьянское происхождение. Впрочем, главное заключалось все-таки не в этом, а в том, что его простодушное лицо прямо-таки дышало честностью и благородством — особенность, по которой я обычно определял жуликов.

— Добрый вечер, Василий Петрович, — сказал он хорошо поставленным голосом и таким тоном, каким говорят со старыми и добрыми друзьями.

Откуда он узнал мое имя и отчество — бог его знает. Посетитель мне сразу и безоговорочно не понравился. Кажется, он это понял, но моя неприязнь его ни капельки не смутила. Он вообще был не из тех, кто смущается.

— Как себя чувствуете, Василий Петрович? А то мне говорили, что вы третьего дня немного приболели. Увы, погода никак не желает осознать ответственности мо-

мента: крайне неустойчива. Я, между прочим, тоже очень склонен к простуде. Видите? — Он довольно естественно покашлял и внимательно оглядел номер.

— Чем могу быть полезен, гражданин? — сухо поинтересовался я.

Незнакомец с ответом не торопился, продолжая с веселой наглостью разглядывать экспонаты моего импровизированного музея.

— А у вас здесь довольно мило.

Его намекающие на голубую кровь глаза на мгновение задержались на веерах и внимательно ощупали статуэтку фламандца. Незнакомец чмокнул своими рабоче-крестьянскими губами и, слегка грассируя, сказал:

— Если память мне не изменяет, на аукционе в девятьсот шестнадцатом она пошла за семь тысяч?

— Память вам не изменяет.

— А стоит-то все шестнадцать, а?

Любитель махорки неплохо разбирался в антиквариате...

— Стул предложить не собираетесь?

— А вы ко мне надолго? — вопросом на вопрос ответил я.

Он усмехнулся.

— Мне о вас говорили как о воспитанном человеке... Это, конечно, не в упрек, а так, к слову. Что же касательно времени, то все, дорогой Василий Петрович, будет зависеть от вас. Я к вам с деловым предложением. Так разрешите все-таки сесть?

— Садитесь.

— Благодарю вас.

Он сел одновременно со мной, с небрежным изяществом закинув ногу на ногу. Спросив разрешения, закурил и доверительно сообщил мне, что с младых ногтей сочувствовал революции и революционерам.

— Если бы не слабое здоровье, вы бы видели меня среди тех, кто штурмовал Зимний, — сказал он.

— К счастью, ваше отсутствие среди штурмующих на результатах не сказалось.

— Это единственное, что меня утешает! — весело заметил он и перешел наконец к деловой части беседы.

Заверив меня в своей искренней и неизменной симпатии к большевикам, в симпатии, которая, вне всякого сомнения, перейдет со временем в любовь, он сказал, что хочет через меня передать в дар Советской власти некую уникальную вещь.

Незнакомец меньше всего был похож на бескорыстного дарителя, поэтому я на всякий случай уточнил:

— Безвозмездно?

Он укоризненно всплеснул руками.

— Я же вам сказал, что только здоровье помешало мне штурмовать Зимний!

— Итак, бесплатно.

— Абсолютно бесплатно, — подтвердил он. — Ведь те жалкие двадцать тысяч рублей, которыми, надеюсь, Советская власть поощрит мой патриотический поступок, ни один нормальный человек не назовет деньгами...

— Вы очень весело настроены.

— Ничуть. Мне крайне грустно расставаться с этой бесценной вещью. И если бы не мой патриотизм и не мои идейные убеждения, которые всегда мне так дорого обходились, я бы здесь не сидел, Василий Петрович. Можете мне поверить. Даю вам слово дворянина или беспартийного большевика — что вас больше устроит.

— Двадцать тысяч!

— Да, всего-навсего двадцать тысяч.

— Вам разве не известно, что мы ничего не покупаем?

— Известно. Вы национализируете и реквизируете. Только так и нужно поступать с этими разжиревшими на пролетарской крови буржуями. Если бы вы поступали иначе, я бы вас не понял и не посочувствовал. Но ведь к простому труженику должен быть совсем иной подход, не правда ли?

— Это вы простой труженик?

— А кто же еще? — в свою очередь, удивился он. — Но главное все-таки заключается в другом...

— В чем же?

— В том, что в каждом правиле имеются исключения. И вот мне думается, что перстень-талисман Александра Сергеевича Пушкина мог бы стать таким исключением.

— Перстень Пушкина?!

— Да, тот самый. Помните? «Храни меня, мой талисман, храни меня во дни гоненья...» И так далее.

Я, честно говоря, растерялся. Должен сказать, что в марте 1917 года возвращенный Полиной Виардо карнеоловый перстень поэта вместе с некоторыми другими вещами был украден из Пушкинского музея в Алек-

сандровском лицее. Почти все похищенное тогда же удалось разыскать, но перстень бесследно исчез. Инспектор петроградской сыскной полиции Бредис считал, что перстень украден поклонниками поэта или достаточно образованными ворами, которые прекрасно понимали, в чем заключается ценность этого перстня, и собирались его перепродать любителям пушкинской поэзии. Бредис даже утверждал, что знает похитителя и не арестовывает его лишь из-за отсутствия формальных улик. Правда, позднее, оказавшись в Первой бригаде Петрогуброзыска в подчинении у Евграфа, Бредис клялся Усольцеву, что никогда не делал подобных опрометчивых заявлений, что все это досужие разговоры безответственных людей, которые выдавали желаемое за действительное. Когда именно и кому врал Бредис — для меня до сих пор тайна. Не разобрался в этом до конца и Усольцев: Бредис обладал уникальной способностью уходить от ответа на прямые вопросы. Но что любопытно — внешность похитителя перстня в описании Бредиса и внешность незваного гостя кое в чем были схожи. Взять хотя бы этот толстогубый рот... Уж не вор ли передо мной?

Я стал лихорадочно прикидывать, как лучше задержать этого подозрительного субъекта. Через полчаса у меня должен был появиться Усольцев. Следовательно, надо как-нибудь затянуть время. Ну что ж, попробуем.

— Прошу, Василий Петрович!

Посетитель подкинул на ладони перстень и положил его передо мною на стол. Я взглянул и не поверил своим глазам. Перстень был не карнеоловый, а изумрудный... Изумруд!

Я тут же вспомнил про изыскания отца, и у меня перехватило дыхание. Неужто он был прав, считая, что своим талисманом Пушкин все-таки признавал не карнеол, а изумруд?

Но не будем спешить. Во-первых, посетитель не представил пока никаких доказательств, что этот перстень принадлежал поэту, а во-вторых... Еще в середине восемнадцатого века австриец Иозеф Штрасс создал стеклянный сплав, добавляя в который различные химикаты можно было получить «самоцветы», почти неотличимые от настоящих рубинов, сапфиров и изумрудов. Тогда императрица Мария-Терезия специальным указом запретила Иозефу Штрассу пользоваться сво-

им изобретением. Но вскоре «камни Штрасса» — стразы — все равно распространились по всей Европе, приводя в ужас ювелиров. Недурно освоили их производство и в России. Стразы, изготовляемые на Хитровом рынке, вывозились даже одно время за границу. Но неужто он надеется провести на мякине старого воробья? Нет, на дурака он не похож. А впрочем, зачем гадать, когда все можно проверить.

Когда я доставал из ящика стола ювелирную лупу, у меня тряслись руки.

— Ради бога, Василий Петрович, только не волнуйтесь, — успокаивал он меня. — Не растрачивайте здоровье по пустякам.

Нет, в перстне был не страз, а настоящий изумруд. Великолепный камень густого ровного темно-зеленого цвета — такие изумруды французские ювелиры называют «Emeraude de Tunka».

Золотое кольцо, в которое его вставили, сделано, видимо, было в конце XVIII или начале XIX века, но сам камень я бы отнес к глубокой древности. Скупыми, но выразительными штрихами на камне было вырезано строгое лицо египетской богини Нейт — матери солнечных божеств, которую египтяне именовали «отцом отцов и матерью матерей». Надпись представляла собой первые слова посвященной Нейт молитвы: «О великая мать, рождение которой непостижимо». Инталько отличалось изяществом и выразительностью.

Посетитель кашлянул и скрипнул стулом.

— Мне бы не хотелось торопить вас, Василий Петрович, но, увы, время не ждет. Уже пора обедать, а я еще не завтракал.

— При вашем образе жизни лишний жирок вам ни к чему.

— О лишнем не может быть и речи, — согласился он. — Но я ведь на лишний и не претендую, мне бы свой, довоенный уберечь. Тут рядом с вами есть прелестное кафе. Ежели желаете...

— Нет, благодарю вас.

— Воля ваша, — сказал он и ловко свернул козью ножку. Получалось это у него просто артистически. Казалось, ничем другим он в своей жизни и не занимался. — Ну, что скажете? Как писали солдатики своим женам, жду ответа, как соловей лета.

Гость был прав: пора что-то решать.

— Итак, вы хотите за перстень двадцать тысяч?

— Тридцать, Василий Петрович. Тридцать тысяч золотом.

— Позвольте, но ведь вы пять минут назад просили двадцать.

— Я? — поразился он.

— Конечно, вы, не я же.

— Вы просто не расслышали, Василий Петрович. К тому же это было, как вы сами изволили заметить, пять минут назад, а время — деньги, особенно наше время, время революционных преобразований.

— Откуда у вас перстень?

— Получил в наследство.

— От кого?

— Странный вопрос. — Он повернулся ко мне профилем. — Все считают, что я поразительно похож на деда, не хватает только бакенбардов и поэтического таланта. Не находите?

— Не скоморошничайте!

— А вы не задавайте дурацких вопросов, — разозлился он. — Откуда у меня перстень! Купил, выиграл в карты, подарили, нашел на улице, обменял — не все ли вам равно? Вы деловой человек; а возможность, которую я вам предоставляю, никогда больше не повторится. Вот и хватайте за хвост жар-птицу, а то улетит.

Жулик играл наверняка. Он прекрасно понимал, что я зачарован и именем поэта, и этой вещью, которая, возможно, принадлежала ему. Куда я денусь! Я был опутан прошлым по рукам и ногам. «Милый друг! от преступленья, от сердечных новых ран, от измены, от забвенья сохранит мой талисман...»

Кто знает, может быть, я сейчас держал в руках перстень, который был на пальце Пушкина, когда поэт писал «Моцарта и Сальери», «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», перстень, который вместе с гением, сделавшим его своим талисманом, вошел в историю мировой литературы. Из таинственной зеленой глубины камня всплывало прошлое. Оно превращалось то в строчки пушкинских стихов, то в сцены последних часов его жизни, то в шумящие листвой деревья Михайловского. Зеленый камень помнил прошлое. Оно в нем запечатлелось навеки.

— Хорошо, — сказал я и положил перстень на стол, — допустим, мы решили приобрести у вас этот перстень за двадцать тысяч...

— За тридцать, — поправил он.

— Пусть за тридцать. Могу с вами согласиться, что перстень-талисман поэта стоит этих денег. Но...

— Что же вас смущает? — участливо спросил он.

— Чем вы можете удостоверить, что это инталько — перстень-талисман Александра Сергеевича Пушкина?

Он усмехнулся.

— Честное слово дворянина вас устроит?

— Нет, разумеется.

— А честное слово гражданина-труженика Российской республики, который только из-за болезни не участвовал в штурме Зимнего?

— Мне нужны доказательства.

— Ну что ж, тридцать тысяч стоят того.

— Я тоже так думаю.

— Собственноручная записка Пушкина, запечатанная этим перстнем вас устроит?

— Безусловно, ежели, понятно, эксперт подтвердит подлинность этой записки. Согласны?

— А почему бы и нет?

— Тогда оставьте мне записку и перстень. Послезавтра я дам вам окончательный ответ. Тогда же сможете получить деньги.

— Тридцать тысяч золотом?

— Тридцать тысяч золотом.

— Как ни странно, но вы производите впечатление порядочного человека, — сказал он. — Наверное, я даже был бы способен поверить вам на слово. При определенных гарантиях, понятно...

— Весьма польщен.

Несмотря на комплимент, перстень он отдать отказался, но записку оставил. Чувствовалось, что автографами Пушкина он особо не дорожит: дескать, бумага — она и есть бумага, кто бы на ней ни писал: писарь, поэт или чиновник. В записке было всего несколько слов, написанных по-французски нервным и торопливым почерком: «Partie remise je vous previendrai». Почерк в записке мне показался очень похожим на почерк Пушкина, но специалистом в этой области я, конечно, не был.

Вот тогда-то я и просидел всю ночь, читая и перечитывая вот эту отцовскую тетрадь.

Достоверного описания перстня Пушкина, как я уже вам говорил, не было. Однако большинство сходилось на том, что в кольце находился изумруд или дру-

гой камень зеленого цвета. Что именно было вырезано на камне, отец так и не узнал. Вначале Петр Никифорович предполагал, что в перстень Пушкина вставлена греческая гемма V—IV века до нашей эры.

Позднее Петр Никифорович склонялся к тому, что инталько в перстне Пушкина скорей всего восточной работы и выгравировано, по-видимому, в эпоху Древнего Рима, когда резчиками гемм чаще были рабы из восточных стран.

Впрочем, Петр Никифорович не исключал и того, что инталько Пушкина сделано в XVII или даже XVIII веке, когда многие резчики подражали древним образцам, а некоторые и специально вводили в заблуждение ценителей этого тонкого и трудоемкого искусства.

Почти в каждой строчке записей отца о гемме Пушкина встречались слова «возможно», «вероятно», «видимо», «предположительно», «не исключено», «по-видимому», «скорей всего», «можно допустить»... Короче говоря, основываться на этом было трудно.

Другое дело записка. Тут мне повезло значительно больше. Ссылаясь на Александру Осиповну Смирнову-Россет, отец утверждал, что такая записка, запечатанная перстнем-талисманом, действительно существовала. Смирнова ему говорила, что секундантом Пушкина должен был быть ее брат, Клементий Осипович Россет. Но накануне дуэли Пушкин заехал к нему и, не застав дома, оставил записку на французском языке: «Дело отложено, я вас предупрежу». Однако дуэль все-таки состоялась...

По мнению Жуковского, на которого ссылалась Смирнова, Пушкин специально хотел ввести в заблуждение Россета, опасаясь, что тот может рассказать о готовящемся поединке ему, Жуковскому, или Вяземскому, а они, конечно, предпримут все возможное, чтобы помешать дуэли.

Таким образом, документ, который мне оставил человек в кожанке, являлся серьезным доказательством подлинности перстня. Очень серьезным, если... К этому «если» сводилось все: действительно записка написана рукой Пушкина или это фальсификация?

Узнав о моей беседе с человеком в кожанке, Усольцев вышел из себя. Как я мог пойти на соглашение с жуликом? Подобных прохвостов надо немедленно расстреливать, а не тратить на них государственные день-

ги. И с такими беспринципными интеллигентами, как я, тоже не следует церемониться. В кутузку их сажать надо!

Евграф бушевал не меньше часа, а потом спросил у меня:

— Выходит, эксперта искать надо?

В Москве середины восемнадцатого года отыскать эксперта по графической экспертизе было не так-то просто. Евграф побывал и в МЧК, и в Московском уголовном розыске, но эксперта все-таки нашел, этакого сухонького старичка, который некогда подвизался при коммерческом суде или еще где-то.

Старичок часа полтора поколдовал над запиской и образцами почерка Пушкина, а затем дал категорическое заключение: подлог.

Василий Петрович допил уже успевший остынуть в кукольной фарфоровой чашечке черный кофе и сказал:

— Гость в кожанке во Втором доме Советов больше не появлялся. Видимо, мое решение его не интересовало. Он как в воду канул, лишив меня горького удовольствия сказать ему все, что я о нем думаю. Но наши дороги вновь пересеклись, на этот раз уже в Киеве, куда я выехал вместе с Усольцевым в августе 1919 года, в самый разгар гражданской войны.

Нам было поручено разыскать хранившийся некогда в киевском царском дворце знаменитый альбом с 15 картинами Рембрандта, не менее знаменитый крест Сергия Радонежского, которым тот, по преданию, благословил на битву с Мамаем Дмитрия Донского, а также, как гласила инструкция, «принять необходимые революционные меры» к охране исторических памятников, в том числе Владимирского собора, средняя часть которого была расписана известным художником Васнецовым.

Для успешного выполнения этой миссии нас снабдили по тем временам всем необходимым: фунтом хлеба (рабочие в Москве получали по осьмушке), двумя фунтами отборной астраханской воблы, двумя наганами с соответствующим количеством патронов и грозными длинными мандатами, которые под страхом «революционной кары» предписывали всем оказывать нам всемерную помощь.

В полученной инструкции предусматривалось все,

за исключением того, что сразу же после нашего приезда Киев будет взят деникинцами... Эвакуироваться мы не успели, поэтому нам оставалось только доесть воблу и молча наблюдать торжественное вступление «белого воинства» в город.

Дворянско-купеческий Киев ликовал. Разряженные в пух и прах дамы целовали руки офицеров и морды их лошадей. Крещатик был усыпан цветами, повсюду гремели оркестры, а в контрразведку без лишнего шума уже свозили подозрительных...

Положение, в котором мы оказались, отнюдь не располагало к оптимизму, хотя части Красной Армии находились на реке Ирпень, в каких-нибудь десяти-пятнадцати верстах от города и настойчиво напоминали о себе артиллерийской канонадой. Правда, мне удалось связаться с одним из членов Киевского областного подпольного комитета партии, который обещал при первом же удобном случае переправить нас в лодке вверх по Днепру. Но мы понимали, что у подпольщиков есть более важные и неотложные дела. Поэтому в ожидании удобного случая мы работали в булочной, которая одновременно была явочной квартирой, и выполняли различные поручения ее хозяйки, подпольщицы с солидным дореволюционным стажем.

И вот как-то в один из этих тревожных дней я носом к носу столкнулся на Малой Васильковской у кафе «Днепр» с моим московским знакомцем. Если бы он меня не остановил, я бы, конечно, его не узнал и прошел мимо. Он полностью преобразился. Кожаную куртку, косоворотку, сапоги и неизменную козью ножку сменили сшитый у лучшего портного элегантный костюм, лихо сдвинутый на затылок котелок, трость с набалдашником из слоновой кости и галстук с бриллиантовой булавкой. Он уже ничем не походил на «товарища».

— Вот теперь можем с вами по-настоящему и познакомиться, Василий Петрович, — со свойственной ему веселой наглостью сказал он и, приподняв котелок, шутливо представился: — Столбовой дворянин и ценитель изящных искусств Евгений Николаевич Веселов. Прошу любить и жаловать.

Ни любить, ни жаловать проходимца у меня никакого желания не было. Но еще меньше мне хотелось оказаться в лапах контрразведки. Поэтому я изобразил если и не восторг, то тихую радость от неожидан-

ной встречи. Раздражать Веселова, Иванова или Петрова — фамилии свои он явно менял чаще, чем перчатки, — в мои расчеты не входило.

— Что собираетесь реквизировать в Хохландии? Крещатик? Днепр? Владимирскую горку? Аскольдову могилу?

Я сказал, что уже давно не работаю в Комиссариате художественно-исторических имуществ и что мои пути с Советской властью разошлись.

— Как и у каждого истинного патриота и благородного человека, — не без юмора добавил он, и по веселому блеску в его глазах я понял, что он не верит ни одному моему слову.

Самым благоразумным было побыстрей распрощаться, сославшись на неотложные дела. Но сделать это мне не удалось. Кажется, Веселов — будем его называть так — был искренне рад нашей встрече и настойчиво приглашал меня вместе позавтракать. Скрепя сердце, я принял приглашение. Мы зашли в кафе. К моей радости, выяснилось, что Веселов через два часа уезжает в Одессу. Там он рассчитывал купить французский паспорт и навсегда покинуть пределы России.

— Судя по костюму и планам, вы преуспели?

— Да, умирать с голода в Париже мне не придется, — подтвердил он. — Надеюсь там завести свое маленькое дело, что-нибудь вроде магазина «Русский ювелир». Неплохое название? Но это в будущем, а в настоящем мне бы хотелось выпить за вас, вне зависимости от того, служите ли вы по-прежнему в комиссариате или нет. Я политикой не занимаюсь. Я занимаюсь лишь ювелирными изделиями...

— ...и талисманами, — не выдержал я. — Кстати, перстень вы тогда все-таки продали?

— А как же? — чуть ли не оскорбился он. — С вашей легкой руки...

— Кому же, если не секрет?

— Теперь уже не секрет.

Он назвал фамилию известного мне коллекционера князя Щербатова.

— Князь заплатил за «отца отцов и мать матерей» сорок тысяч наличными. Совсем неплохо продал, как вы считаете? Князь был в восторге, говорил, что передо мной в долгу вся русская литература и даже поцеловал в щеку, вот сюда...

— Сорок тысяч? Забавно...

— Забавно не это, — усмехнулся он. — Знаете, кто меня свел с князем? Ваш эксперт-графолог.

— Эксперт?!

— Именно. Князь ему уплатил, если не ошибаюсь, около тысячи комиссионных, так что старичок не прогадал. Ведь и записка и перстень были подлинными... Вот что забавно, Василий Петрович! Но вы не расстраивайтесь: «отец отцов и мать матерей» в надежных руках. Князь, учитывая выплаченную им сумму, весьма порядочный человек и горячий поклонник Пушкина. — Он поднял рюмку. — За процветание русской литературы и за ваше здоровье, Василий Петрович! На ваш век еще хватит что реквизировать...

Лгал «столбовой дворянин и ценитель изящных искусств Евгений Николаевич Веселов» или сказал мне тогда правду?

Когда мы с Усольцевым смогли наконец вернуться в Москву, эксперта уже не было в живых, так что до истины добраться было крайне сложно. Но Усольцев вместе с одним своим приятелем из МЧК установили две немаловажные вещи.

Во-первых, вдова эксперта, костистая энергичная старуха с бельмом на глазу, рассказала, что в апреле восемнадцатого года на квартиру к ее покойному мужу приходили двое неизвестных. Один из них, по описанию старухи, походил на владельца изумрудного перстня. Другой же имел некоторое сходство с князем Щербатовым.

А во-вторых, в том же апреле покойный эксперт дал своей жене восемьсот рублей, не объяснив, откуда у него такие большие деньги.

Все это если и не было бесспорным доказательством, то, во всяком случае, косвенно подтверждало сказанное мне в Киеве «столбовым дворянином и ценителем изящных искусств». Да и зачем, собственно, нужно было ему тогда врать? Только для того, чтобы испортить мне настроение?

Сведения о судьбе князя Щербатова были весьма противоречивыми. Некоторые говорили, что он умер от сыпного тифа еще в середине восемнадцатого года и похоронен на Ваганьковском кладбище. Другие утверждали, что князю удалось эмигрировать и он припеваючи живет в Берлине, куда заблаговременно перевел свой капитал. Третьи якобы видели его в Перми и Екатеринбурге, где он служил у адмирала Колчака.

И вот бывший князь, а ныне гражданин Щербатов, участник преступной шайки, в сопровождении конвойного милиционера проходит мимо меня по коридору Петрогуброзыска в кабинет начальника Первой бригады Евграфа Николаевича Усольцева. Что я в эти минуты вспомнил, пережил и передумал, догадаться, конечно, нетрудно.

Вспомнит обо мне Усольцев или нет? Евграф вспомнил и пригласил меня к себе минут через сорок.

Я как-то боком протиснулся в дверь и примостился на стоявшем у окна старом кожаном диване. Пружины дивана жалобно вздохнули, а Евграф сказал Щербатову:

— Это Василий Петрович Белов, искусствовед.

Князь повернулся ко мне.

— Искусствовед? А сейчас здесь изволите служить?

— Время такое.

— Какое?

— Когда князья превращаются в уголовников, искусствоведы должны дружить с милицией. Как вы считаете?

Усольцев протянул Щербатову листы протокола допроса. Тот внимательно прочитал, расписался и, глядя воспаленными глазами в окно, лениво сказал:

— «Деревянный» пишется через два «н», господин следователь.

Но Усольцева было не так-то просто вывести из состояния равновесия. Если Щербатов на это рассчитывал, его ждало разочарование.

— Вот спасибо! — обрадовался Евграф. — Недаром же говорят: век живи — век учись. Мне-то до революции учиться не приходилось — на хлеб надо было зарабатывать.

Он исправил ошибку в протоколе, подмигнул мне и спросил князя:

— Где вы находились в апреле восемнадцатого?

— В Москве. Я рассчитывал получить разрешение на выезд за границу, но мне отказали.

— Где вы жили в Москве?

— В гостинице «Эльдорадо» на Мясницкой.

— Плисецкий там вас разыскал?

— Кто это?

— Специалист по графической экспертизе.

— Не помню такого. У меня в те дни перебывало

много людей: московские искусствоведы, нумизматы, коммерсанты, художники, скульпторы.

— Плисецкого вы должны были запомнить.

— Почему?

— Потому что старик продемонстрировал вам записку Пушкина, написанную им перед дуэлью с Дантесом и адресованную Климентию Осиповичу Россету.

— Вы, оказывается, эрудит, — усмехнулся Щербатов.

— Вспомнили?

— Никто этой записки мне не показывал.

— Допустим. Но почему вы тогда уверились в том, что изумрудный перстень, предложенный вам человеком, который называл себя Веселовым, принадлежал Пушкину?

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

— Я говорю об изумрудном перстне Александра Сергеевича Пушкина. Этим перстнем поэт запечатал записку, адресованную Россету, и считал этот перстень своим талисманом.

— Я крайне вам признателен за эти любопытные сведения, — сказал Щербатов, — но боюсь, что вы заблуждаетесь. К перстню поэта я не имел и не имею никакого отношения.

— То есть вы хотите сказать, что вам этот перстень не продавали?

— Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать.

— Может быть, вы забыли?

— У меня достаточно хорошая память.

— Все-таки постараюсь ее освежить, — сказал Усольцев. — В восемнадцатом году некто по фамилии Веселов (у этого человека были и другие фамилии) хотел продать перстень Пушкина государству. Он принес перстень сидящему здесь Василию Петровичу Белову. И сам Веселов, и предложенная им вещь вызывали сомнения. И вот, когда решался вопрос о подлинности перстня, Плисецкий, которому была поручена экспертиза, решил на всем этом подзаработать и свел вас с Веселовым. Вы встретились на квартире Плисецкого. Здесь вы и приобрели эту вещь у Веселова за сорок тысяч рублей.

— Очень интересная история, — одобрительно сказал Щербатов, — но в ней есть один маленький недостаток — отсутствие достоверности.

Усольцев ничего ему не ответил. Князь с каким-то странным любопытством посмотрел на него.

— Вы действительно уверены во всем, что сейчас мне рассказали?

— Конечно.

Щербатов театрально развел руками.

— Тогда я вас не понимаю. Зачем все эти вопросы? Устройте мне очную ставку с Плисецким или Веселовым, и нам с вами не придется зря терять время.

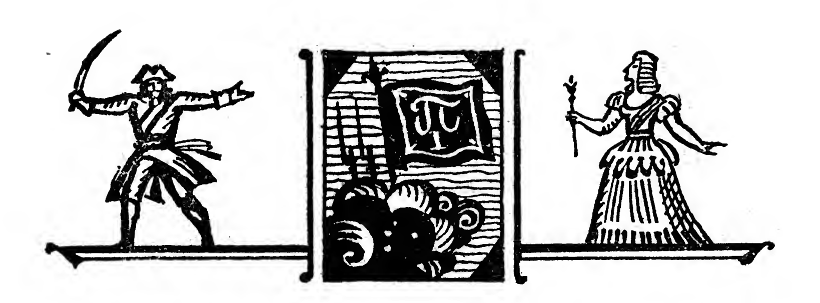
Это, конечно, был хороший совет. Но вся беда заключалась в том, что Плисецкий давно умер, его вдова покинула Москву и уехала в неизвестном направлении, а «столбовой дворянин и ценитель изящных искусств», видимо, уже веселится в Париже.

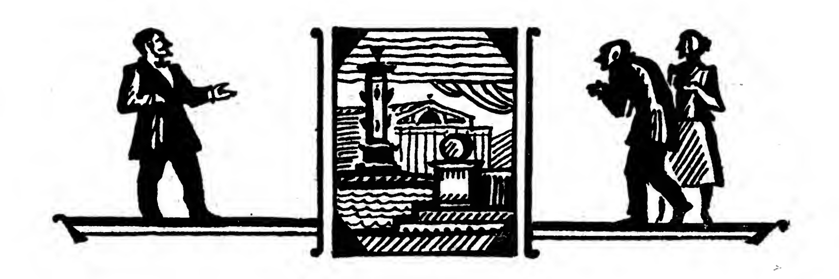
Усольцев еще дважды беседовал с Щербатовым о талисмане Пушкина — безрезультатно. Князь категорически отрицал свое знакомство с Плисецким и Веселовым, покупку перстня и все с этим связанное. «Не видел», «не слышал», «не знал», «не участвовал»... Нет, нет и еще раз нет.

Кто же все-таки лгал — Щербатов или Веселов? Ответ на этот вопрос я получил только через несколько лет, когда в музее Петрогуброзыска появился изящный рисунок изумрудного перстня с изображением египетской богини Нейт и надписью: «О великая мать, рождение которой непостижимо».

Этот рисунок был прислан из Италии князем Щербатовым. В короткой записке, адресованной Усольцеву, Щербатов писал: «Веселов (Рачковский) порядочная каналья, поэтому не до конца уверен, что перстень принадлежал Пушкину и был его талисманом. Зато до конца уверен, что эта вещь никогда не окажется в ваших руках. Тем не менее весьма рад, что в Советской России поклонники Пушкина имеются даже в уголовном розыске. Поощряя сие отрадное явление, высылаю вам рисунок перстня».

— По наведенным мною справкам, — закончил свой рассказ Василий Петрович, — князь Щербатов умер в миланской богадельне в 1935 году. Судьба перстня неизвестна. Но я не теряю надежды, что зеленый талисман поэта с изображением богини Нейт («Я — все бывшее, настоящее и грядущее») все-таки где-нибудь да отыщется. И я вновь увижу лик богини, которую египтяне почтительно называли «отцом отцов и матерью матерей». Во всяком случае, мне бы очень хотелось на это надеяться.





Экспонат № 3



тим экспонатом своего музея Евграф Усольцев особенно гордился, — сказал Василий Петрович. — И надо сказать, что не без оснований. Кто знает, что бы произошло с этой уникальной вещью, если бы в происходящие события не вмешались ребята из Первой бригады Петрогуброзыска во главе с Усольцевым.

Итак, экспонат № 3, его происхождение, история, приключения и знакомство с Петрогуброзыском.

— Вы слышали что-либо о Сергее Леонтьевиче Бухвостове? — спросил меня Белов и, когда я признался, что мои сведения о Бухвостове более чем скромны, сказал: — Увы, эта фамилия ныне полузабыта, хотя в 1922 году Петровские улицы в Москве были переименованы в Первую, Вторую и Третью Бухвостовы. А ведь Бухвостов — праотец солдат русской регулярной армии, созданной Петром I. Тех самых солдат, которые прославили русское оружие под Полтавой, тех, кого водил от победы к победе Александр Васильевич Суворов, солдат, разгромивших армию Наполеона и покрывших себя славой в годы Великой Отечественной войны.

Петр Великий не зря назвал Бухвостова первым российским солдатом. Когда будущий преобразователь России стал во главе потешного Петрова полка, первым к одиннадцатилетнему полковнику явился с просьбой записать его в солдаты именно Сергей Бухвостов, широкоплечий, рослый и мускулистый парень, будто самой природой созданный для тягот ратного дела.

Так началась нелегкая воинская служба Сергея Леонтьевича. Вместе с «господином бомбардиром Пет-

ром Алексеевым» Бухвостов участвовал во всех потешных походах, а затем и в боевых, проявив под Азовом «примерную храбрость и отменное знание бомбардирской науки при стрелянии ядрами, а также и картечью».

Перед войной со шведами Бухвостов был уже лейб-гвардии капралом. Затем — битвы под Нарвой, Лесной и, наконец, знаменитое Полтавское сражение, решившее участь Карла XII и гетмана Мазепы.

Во время битвы русским пушечным ядром были раздроблены носилки Карла. Этот знаменитый выстрел приписывался Бухвостову. Так или иначе, но «первый российский солдат» считался одним из лучших бомбардиров не только в Преображенском полку, но и во всей армии.

Отмечая заслуги Бухвостова перед отечеством, Петр к концу войны произвел его в капитаны артиллерии, а затем, когда тот был тяжело ранен в Померании, — в майоры. Не обошел он его и наградами. Кстати, среди вещей, подаренных Бухвостову, была и собственноручно выточенная Петром на токарном станке черепаховая чаша, которая стала фамильной драгоценностью Бухвостовых.

Желая увековечить образ первого российского солдата, император заказал Карлу Растрелли бронзовый бюст Бухвостова, который в дальнейшем был передан Академии наук.

К сожалению, после смерти Петра бронзовый бюст Бухвостова потерялся. Вышитому шелком портрету первого российского солдата повезло больше.

Портрет этот известен под названием «меншиковского», хотя справедливости ради его следовало бы именовать «арсеньевским».

Александр Данилович Меншиков, начавший свою головокружительную карьеру с продажи пирогов с тухлой зайчатиной на Красной площади в Москве, обладал многими талантами и пригодившимися ему в жизни знаниями. «Счастья баловень безродный», ставший князем Священной Римской империи, герцогом Ижорским, графом Дубровненским, генералиссимусом, фельдмаршалом и прочее, прочее, как видите, неплохо разбирался в титулах, должностях и званиях. Полновластный владелец многих городов, сотен сел, деревень и свыше ста тысяч крепостных крестьян, Меншиков являл пример рачительного хозяина, умевшего

всегда и во всем соблюдать свою выгоду. Но в грамоте он преуспел не слишком, а в искусстве и того меньше.

Хотя стены многочисленных дворцов Меншикова были плотно увешаны гобеленами и «фряжскими парсунами», Александр Данилович являлся полным профаном и в живописи, и в скульптуре, и в коврах художественной работы. Тут «светлейший князь, герцог Ижорский и граф Дубровненский» целиком доверялся вкусу своей жены, Дарьи Михайловны Арсеньевой, и свояченицы, Варвары Михайловны Арсеньевой, которые в совершенстве знали несколько иностранных языков, разбирались в музыке, живописи, а особенно в вышивках. Интерес к вышивкам передавался у Арсеньевых из поколения в поколение. Их крепостные вышивальщицы славились в Москве чуть ли не со времен царя Михаила Романова. Арсеньевские вышитые шелком и золотом с жемчугом кики, кокошники, убрусы, венчики и другие женские головные уборы отличались оригинальностью, самобытным орнаментом и великолепно подобранной гаммой цветов. Вышивальщицы свободно пользовались не только русским швом, крестиком, но и венецианским, швом «ренессанс», алмазным, гобеленовым.

Вот этим-то крепостным искусницам и было поручено изобразить шелками на льняном полотне портрет первого русского солдата, Сергея Леонтьевича Бухвостова.

Видимо, портрет предназначался в подарок Петру I, работа продолжалась около трех лет и была закончена уже после кончины Петра.

— Вас удивляет срок? — улыбнулся Василий Петрович, заметив мое недоумение. — Смею вас уверить, что три года для такой вышивки совсем не много, особенно если учесть, что в портрете Бухвостова был использован шелк по меньшей мере двенадцати тысяч цветов и оттенков. Такая вышивка очень дорога. Достаточно сказать, что вышитый по рисунку великого Рафаэля «Танец золотого тельца» оценивался любителями дороже многих полотен гениального мастера и стоил мастерицам пяти лет кропотливого труда.

Но вернемся к портрету Бухвостова. Видимо, первый российский солдат, умерший и похороненный со всеми воинскими почестями в 1728 году, в царствование Петра II, видел свой вышитый портрет, который

висел во дворце Меншикова на Васильевском острове. Хотя я и не исключаю того, что светлейший князь «забыл» пригласить к себе худородного старика, который теперь не представлял для него никакого интереса.

— По словам моего коллеги по университету Тарновского, который защищал магистерскую диссертацию по истории византийской и русской вышивки, портрет Бухвостова сопровождал Меншикова, когда тот был сослан в Раненбург, а затем в Березов, — продолжал свой рассказ Василий Петрович. — А в 1768 году портрет приобрел Григорий Орлов, который презентовал его самому популярному тогда в Петербурге человеку — Димсделю.

Вам, разумеется, ни дата, ни фамилия ничего не говорят. Между тем 1768 год превозносился придворными Екатерины II как один из самых славных в истории России. Ее самоотверженность сравнивалась с великими подвигами Геракла, Муция Сцеволы, Александра Македонского и Юлия Цезаря. На Монетном дворе была выбита специальная медаль с профилем Екатерины, лавровым венком и знаменательной датой — «1768».

Вот к этому самому событию, которое так потрясло современников Екатерины, барон Димсдель — тогда еще не барон, а просто Димсдель, английский военный врач, — и имел прямое отношение. Потому что именно он, а не кто иной, собственноручно привил русской императрице и ее сыну оспу...

Да, именно это событие и вызвало такую бурю восторга. Итак, сделав прививку, Димсдель, как в сказке, тотчас же превратился из обычного, ничем не примечательного врача в барона, лейб-медика, кумира двора и весьма богатого человека. Кроме того, как нетрудно догадаться, он приобрел весьма солидную клиентуру: прививки вошли в моду, и петербургская знать стремилась не отстать от императрицы.

Расплачиваться с лейб-медиком да вдобавок еще и бароном деньгами считалось неприличным. Поэтому прививка оспы Орловым, Потемкину и другим вельможам дала возможность страстному любителю живописи Димсделю пополнить свою до того времени более чем скромную коллекцию картин полотнами известных итальянских, французских, английских и голландских мастеров.

Однако шелковый портрет, преподнесенный врачу

благодарным Орловым, надолго у Димсделя не задержался. То ли он, как говорится, не вписался в собрание картин, то ли англичанину уж очень хотелось высказать свое уважение популярному в Англии великому русскому полководцу, но портрет Бухвостова был подарен, — а возможно, продан — фельдмаршалу Кутузову.

На протяжении XIX века арсеньевский портрет сменил немало хозяев. А затем он осел — и осел достаточно плотно — в собрании русских вышивок у петербургского богача Шлягина. В доме Шлягина, к которому меня как-то привел Тарновский, я этот портрет впервые и увидел.

Пожалуй, среди всех дореволюционных частных коллекций такого рода шлягинская отличалась наибольшей полнотой. Тут были уникальные скифские вышивки, за которыми гонялись любители из самых разных стран, византийские вышивки, великолепные образцы «золотого шитья», приобретенные Шлягиным в Торжке и северных женских монастырях, известных своими искусницами, цветное владимирское шитье, рязанские вышивки со вставками из разноцветных тканей и кружев, вывезенная из Калужской губернии красно-синяя цветная перевить и крестецкая ажурная строчка. Но в первую очередь все-таки привлекал к себе внимание арсеньевский портрет. Он был жемчужиной коллекции, и Шлягин понимал это.

Портрет представлял собой овал высотой чуть более метра, а шириной сантиметров восемьдесят — восемьдесят пять. Изображение Бухвостова обрамлял типичный для России XVI—XVII веков оригинальный орнамент, в котором в неразрывное целое слились Азия и Европа. Сплетались, ломались под разными углами, то расширяясь, то сужаясь, лентообразные причудливые полосы, переходящие в подобие листьев сказочных деревьев, и фигуры прекрасных в своем неповторимом уродстве грифонов.

В капризных, не подчиняющихся никаким закономерностям, изломанных и в то же время округлых линиях переплетений было все: сказка и реальность, прошлое и настоящее, безудержная радость и непереносимая боль, Восток и Запад.

Мчались из тьмы веков в гари пожарищ низкорослые монголы на мохнатых лошадях, играл ветер кудрями бесшабашного Васьки Буслаева, летела по си-

нему безоблачному небу, распустив хвост радуги, огненная жар-птица.

Мелодично звенели колокола московских храмов, слепила глаза роскошь византийских дворцов, и в самой глуши дремучих рязанских лесов возвышались египетские пирамиды и трубили индийские слоны.

Вышитый подковой старорусский узор не охватывал нижнюю часть портрета. Орнамент как бы рассекался дугообразными мощными крыльями двуглавого, трижды коронованного орла. Широкую грудь царственной птицы закрывал от шведов, турок и прочих ворогов тяжелый кованый щит московского герба, окруженный такой же массивной золотой цепью первого русского ордена, учрежденного «бомбардиром Петром Алексеевым». Тут же косой Андреевский крест с наручной печати того же бомбардира. В цепких когтистых лапах орла тяжелая ручка скипетра и земной шар державы.

Из рамы орнамента, совсем невесомый, воздушный, будто возникший в нашем воображении, на нас удивленно смотрел своими широко расставленными глазами («А вы откуда здесь взялись?») только что явившийся из былины в Преображенский полк нереальный в своей обыденности, добродушный богатырь. «Нуну, где тут Соловей-разбойник посвистывает? Что-то не видать... Да уж ладно, посплю час-другой, покуда сказка сказывается, а уж потом... Ежели не уберется подобру-поздорову, вобью его, стервеца, по маковку в сыру землю да и поеду неторопко к стольному князю Владимиру Красное Солнышко. Заждался небось...»

Но в плотно сжатых губах богатыря, одетого в преображенский мундир с орлеными пуговицами, и в его позе угадывалось напряжение: кончилась вольница! Теперь уж богатырь не сам по себе, а на царской службе. И Петр Лексеевич — не князь Владимир, земля ему пухом. При Петре Лексеевиче не до сна, при нем ухо на карауле держи. Чуть что не так — то и палок отведаешь. Так что хоть ты и богатырь, но не какой-нибудь, а царский, первый российский солдат, словом. Потому и на портрете дисциплину армейскую блюди: плечи назад, грудь вперед, руки по швам. Смирна-а!

— Мастерицы-то каковы, а? — наслаждался произведенным на меня впечатлением Шлягин. — Это вам, уважаемый, не всякие там Европы. Русь-матушка! Шелками — что красками...

Действительно, ничего похожего, голубчик, я раньше не видел.

Портрет Бухвостова поражал тонкостью и тщательностью работы вышивальщиц, точной передачей характера, воздушностью, а главное — поразительной гармоничностью колорита и великолепным рисунком. Ведь следует сказать, что немногие художники даже с мировым именем соединяют в себе таланты рисовальщика и колориста.

Шлягин, которого я бы назвал человеком «купеческой складки», не без гордости сказал нам, что посетивший в прошлом году Петербург американский собиратель и знаток вышивок Генри Мэйл предлагал ему за портрет Бухвостова пятнадцать тысяч долларов, сумму по тем временам солидную.

— А ежели поторговаться, — сказал Шлягин, — то и все двадцать бы отвалил.

— Что же вы не продали? — поддразнил я, надеясь в глубине души услышать от него что-нибудь умилительное. Но, увы, не услышал.

— Да у меня и своих деньжат хватает, не обездолен, — откровенно объяснил он свой отказ от сделки. — А удовольствие свое я на том имел. Купил-то я эту вещицу за сколько? За тысячу рубликов. Не бог весть какие деньги, а мне: «Переплатил, Иван Ферапонтович». Ну, и сомнения всякие. Не денег, понятно, жалко, а достоинства купеческого. А выходит, не прогадал Шлягин. Вон как! Да, хорошая вышивка в хороших руках — капитал. Ба-альшой капитал! Мне за этот самый шелковый портрет, ежели желаете знать, через пяток лет и пятьдесят отвалят, только продай, Иван Ферапонтович. А я — шиш, ста ждать буду... — засмеялся Шлягин.

Но, несмотря на свой трезвый подход к неизбежному росту цен на произведения искусства, Шлягин в своих прогнозах все-таки ошибся: через «пяток лет» никто ему пятидесяти тысяч за арсеньевский портрет не предложил... Через «пяток лет» грянула революция. И в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР все предметы искусства, имеющие художественную ценность, были объявлены собственностью народа.

И все же, как вскоре выяснилось, злорадствовал я зря. Купец проявил должную предусмотрительность. Отправившийся в особняк Шлягина Тарновский — как

специалист по художественным вышивкам он был по моей рекомендации привлечен к реквизициям, которыми занималась Комиссия по охране памятников искусства и старины Петроградского Совдепа, — вернулся ни с чем.

Тарновский сообщил, что Шлягин еще в середине 1917 года уехал из Петрограда в Ревель (ныне Таллин), а оттуда перебрался в Стокгольм. Уезжая, купец продал дом и захватил с собой наиболее ценные экспонаты коллекции, среди которых, разумеется, был и портрет Бухвостова.

Досадно, но что поделаешь! Я постарался забыть о портрете. Однако в 1922 году мне о нем напомнили. И напомнил не кто иной, как тот же Тарновский...

К тому времени мой бывший товарищ по университету и комиссии Петроградского Совдепа, поддавшись соблазнам нэпа, превратился из совслужащего в хозяина антикварной лавки.

Настоящий любитель вряд ли нашел бы в этой лавке что-либо достойное внимания. Но у нэпманов, торопившихся «облагородить» свои квартиры, заведение Тарновского пользовалось популярностью. Еще бы! Надраенная, как медный самовар, бронза, аляповатый, но зато густо позолоченный фарфор, многопудовые, звенящие, как трамвай, хрустальные люстры и плохие копии с картин известных мастеров.

Новоявленный нэпман успел за последние полгода отъесться и нагулять округлое брюшко, что было в то голодное время далеко не повсеместным явлением. Он завел модные узконосые ботинки «шимми», тросточку, котелок и домоправительницу.

Мое отношение к частнопредпринимательской деятельности Тарновский знал достаточно хорошо, поэтому, проявив должный такт, он перестал у меня появляться, за что я был ему крайне благодарен. Не заглядывал он больше и к Усольцеву, с которым раньше часто играл в шахматы.

И вот однажды ночью, уже под утро, около четырех часов, в моей квартире прозвенел настойчивый длинный звонок, а затем в дверь стали грохотать кулаками. Не стучать, а именно грохотать. Ночные звонки вообще неприятная штука. Но в 1922 году, когда Петроград был наводнен уголовниками, подобные звонки являлись чаще всего прелюдией к налету. Поэтому не буду кривить душой и утверждать, что, когда я

вскочил с постели и отправился в переднюю, я был образцом хладнокровия. Отнюдь нет. Правда, поживиться в моей квартире было нечем: ни золота, ни серебра, ни лишней пары штанов. Но как раз это и могло обидеть налетчиков: как-никак рисковали, время тратили. А на ком им вымещать свою обиду? На мне, понятно...

Спрашиваю:

— Кто там?

Молчание. Они молчат — я молчу. Затем тихий голос:

— Василий Петрович, открой, пожалуйста.

Так как знакомых у меня среди уголовников нет, слегка успокаиваюсь, но отпирать дверь все же не тороплюсь.

— Кто там?

— Я.

— Кто «я»?

— Тарновский.

— Олег Владиславович?

— Да.

Действительно, голос Тарновского, никаких сомнений. И вот мы в моем кабинете. Мы — это я, Тарновский и его домоправительница Варвара Ивановна, тощая, как пересушенная вобла, женщина с решительным лицом. На Тарновского смотреть страшно: бледный, растрепанный, нижняя губа отвисла, в глазах ужас.

— Сегодня... — голос его прерывается, — на мою лавку был произведен налет...

Он замолкает, и инициативу берет в свои костлявые руки Варвара Ивановна. От нее я узнаю подробности происшедшего. Оказывается, около одиннадцати часов вечера, когда они уже легли спать, к ним позвонили: «Почтальон. Срочная телеграмма».

Тарновский открыл дверь и в ту же секунду упал без сознания от сильного удара ногой в живот. Затем налетчики — их было трое — уложили на пол вниз лицом выбежавшую на шум Варвару Ивановну и, оставив одного из бандитов сторожить хозяев, занялись лавкой.

Налет продолжался не более получаса. Когда бандиты, загрузив экипаж мешками с награбленным и вежливо пожелав хозяевам спокойной ночи, уехали, Тарновский вызвал по телефону милицию.

Милиционеры осмотрели место происшествия, допросили пострадавших, составили необходимые протоколы и пообещали заняться розыском преступников.

Вот и все. Какая роль во всей этой истории предназначалась мне, я так и не понял.

Как и требовал долг вежливости, я посочувствовал, выразил надежду, что налетчики вскоре будут арестованы, и предложил выпить чаю. Тарновский с таким испугом посмотрел на меня, будто я предложил не чай, а бог знает что.

— Чай?

Варвара Ивановна усмехнулась.

— Олег Владиславович слишком взволнован. Его можно понять.

— Тайник, — с надрывом сказал Тарновский.

— Что тайник? — не понял я.

— Они опустошили тайник, — простонал Тарновский и, ткнувшись головой в стол, заплакал.

Я вопросительно посмотрел на Варвару Ивановну, брезгливо морщившую свои тонкие злые губы.

— Может быть, вы будете столь любезны...

— Видите ли, — сказала она, — дело в том, что на квартире Олега Владиславовича имелся тайник, в котором он хранил наиболее ценный антиквариат. Олег Владиславович был уверен, что налетчики его не обнаружат. Но, увы!.. Это для него удар.

Да, Тарновскому, конечно, не до чая.

— Вы сообщили, разумеется, о тайнике милиционерам?

— Нет.

— Ну вот! Напишите дополнительное заявление, можете на имя Усольцева. Подробно перечислите все вещи, опишите их...

Тарновский промычал что-то нечленораздельное и отрицательно замотал головой. Только тогда я стал о чем-то догадываться.

— В тайнике были предметы, подлежащие национализации?

Наступило тягостное для всех троих молчание.

— Да, — выдавил наконец из себя Тарновский.

— Понятно. Тогда, может быть, ты будешь откровенен до конца и сообщишь мне, что именно там было?

Он всхлипнул и стал вытирать скомканным носовым платком глаза. Я объяснил, что для переживаний

у него будет еще достаточно времени, и повторил свой вопрос.

— Первые русские монеты великого князя Владимира Святого, Святополка Ярополковича и Ярослава Владимировича, — с трудом ворочая языком, ответил он. — Всего двадцать пять штук.

Подобной коллекцией в России располагали считанные нумизматы. Стоимость ее до революции исчислялась тысячами и тысячами рублей. Совсем неплохо для скромного антиквара.

— Дальше, — говорю.

— Кружева.

— Какие кружева?

— Старинные.

Выясняю, что у моего бывшего коллеги хранились уникальные французские кружева XVI века. В его чулане нашлось место и для русских кружев XVI—XVII веков из волоченого золота, кружев, низанных жемчугом и перьями по рисункам знаменитых «царских знаменщиков», то есть рисовальщиков, Ивана Некрасова и Петра Ремезова. Хранились там также русские кружева с пухом и горностаем, «кованые», с узорами «рыбка», «репеек», «протекай речка», «бровки-пытки-города» и так далее.

— Что там еще было? — спрашиваю.

— Два гобелена из серии «История Александра Македонского» по картонам Шарля Лебрена, пять шитых золотом кокошников с мелким жемчугом, две скифские вышивки.

И пока он перечисляет, я вспоминаю, что гобелены из серии «История Александра Македонского» я видел в собрании Шлягина.

Кажется, Шлягин никому их не перепродавал. Но если это те самые гобелены, то что же тогда получается? Вывод может быть один, но мне его делать не хочется...

Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, старательно записываю похищенные из тайника вещи.

— Все?

— Почти все, — неопределенно отвечает Тарновский, избегая моего взгляда.

— Все или почти все?

— Там еще был шитый шелком портрет...

У меня перехватывает дыхание.

— Бухвостова?.. Ты что, язык проглотил?

Тарновский всхлипывает. Но если раньше к моей брезгливости примешивалась жалость, то теперь я почти физически ощущаю, как в груди у меня поднимается волна жгучей ненависти.

По глазам Тарновского, в которых плещется ужас, вижу, что он прекрасно понимает, какие чувства я в эту минуту испытываю.

— Портрет Бухвостова?

— Да, там еще был портрет Бухвостова, — безразличным голосом подтверждает Варвара Ивановна, не понимающая или не желающая понимать то, что сейчас происходит.

Я резко встал, и Тарновский испуганно отшатнулся, будто ожидая, что его сейчас ударят. Самое забавное, что он был недалек от истины.

Вы знаете, что по натуре я человек сдержанный и достаточно мягкий. Я снисходителен к чужим слабостям и всегда пытаюсь влезть в чужую шкуру, но тогда... Я едва удержался, чтобы не ударить его. Но все-таки удержался...

Затем мне пришлось выслушать достаточно противную историю о том, как человек, которого я в 1918 году рекомендовал товарищам из Комиссии по охране памятников искусства и старины, обманул рабоче-крестьянское правительство и присвоил лучшие экспонаты шлягинского собрания, бросив на произвол судьбы оставшиеся.

Тарновский говорил, что все эти годы его мучила совесть и он хотел вернуть присвоенное государству, но боялся ответственности.

Сотканная из недомолвок, полуправд и страха наказания исповедь заканчивалась, понятно, просьбой. Я должен был засвидетельствовать его добровольное признание и чистосердечное раскаяние перед Усольцевым. Когда налетчики будут пойманы (в том, что это произойдет, Тарновский не сомневался, этим-то и объяснялось его «добровольное признание» и «чистосердечное раскаяние»), он, Тарновский, готов помочь уголовному розыску в оценке похищенного и экспертизе изъятых у бандитов уников. Более того, он с удовольствием заплатит любой штраф. Лишь бы не тюрьма. Посадить его в тюрьму — величайшая несправедливость. Он же никого не убивал, не крал... Правда, тогда, в восемнадцатом, он проявил слабость, но разве не было для него наказанием все это время, когда день и ночь его не-

престанно грызла совесть? Как он переживал, как переживал! Вспомнить и то страшно! Может быть, я сомневаюсь в том, что он говорит? Тогда я могу спросить у Варвары Ивановны. Она о многом расскажет: о бессонных ночах, о сердечных приступах, о неотправленных письмах с покаянием и признанием своей вины перед народом...

Ушли они уже утром. В прихожей Тарновский протянул мне руку, но я ее не заметил...

Рассказывая, Василий Петрович вновь переживал ту ночь. Он возмущался, иронизировал, удивлялся, радовался, грустил. Одна гамма чувств сменялась другой.

К порозовевшему лицу старого искусствоведа вновь вернулась молодость. Исчезли бесчисленные морщины, стала упругой дряблая кожа, в глазах появился блеск.

— Должен признаться, — продолжал Василий Петрович, — что я не разделял оптимизма — мнимого или действительного — своего бывшего товарища. У меня не было уверенности, что преступников разыщут. И объяснялось это не присущим мне скептицизмом или плохим мнением о способностях сотрудников Первой бригады Петрогуброзыска — а бандитами занимались именно они. Дело в том, что Петроград, как я уже говорил, в те годы буквально кишел преступниками самых разнообразных специальностей: стопорилами, мокрятниками, медвежатниками, поездушниками, голубятниками...

Какой только мрази не было! Город терроризировали сотни уголовников. Происшествие за происшествием. На таком фоне похищение антикварных вещей из какой-то лавки какого-то Тарновского представлялось обычным происшествием, которому, разумеется, будет уделено должное внимание, но только «должное», а не первоочередное. Все это я прекрасно понимал. И все же...

Телефон Усольцева не отвечал. Я позвонил самому информированному сотруднику Петрогуброзыска — Сонечке Прудниковой. Эта милая пишбарышня сообщила мне, что Евграф Николаевич уже третьи сутки находится в Петергофском уезде, кажется, в Ораниенбауме. Настроение у него хорошее, и сегодня к середине дня он обязательно будет у себя.

Взяв извозчика, я отправился на Дворцовую площадь, где находился Петрогуброзыск. Усольцева на ме-

сте не были. В секретариате мне сказали, что он появится дня через два. Но я свято верил, что Сонечка Прудникова никогда не ошибается. И моя вера в ее способности была вознаграждена. Не прошло и получаса, как я увидел Евграфа, который поднимался по лестнице. Более того, заметив меня, Евграф улыбнулся. Дела Первой бригады явно шли неплохо. Я лишний раз убедился, что Сонечка Прудникова великий человек.

— Ко мне? — спросил Усольцев.

— Конечно.

— По делу?

— Разумеется.

Продолжение диалога было уже в его кабинете.

— Украли что-нибудь?

— Ограбили.

— Вас?

— Государство.

— Садитесь и рассказывайте.

Я стал излагать суть дела, стараясь быть по возможности кратким. Усольцев вначале слушал меня довольно внимательно, а затем стал время от времени поглядывать на висевший в его кабинете плакат. На плакате, видимо, нарисованном кем-то из сотрудников розыска, был изображен похожий на скелет длиннобородый старик, которому молодой курносый милиционер в суконном остроконечном шлеме с алой звездой протягивал каравай хлеба. Под рисунком стихи присяжного поэта Петрогуброзыска агента второго разряда Сени Покатилова:

Когда ужасно голодали Москва и красный Петроград,
То вы нас, братья, поддержали, —
мы это вам вернем назад.

Взгляд Усольцева был настолько красноречив, что я наконец не выдержал.

— Уж не хотите ли вы сказать, что, когда в Поволжье такой страшный голод, не следует столько времени уделять какому-то портрету?

— Нет, не хочу, — сказал Усольцев. — Голод голодом, а искусство искусством. Но вот этот плакат, Василий Петрович, меня на одну мыслишку навел: не завязать ли нам в один узел розыски портрета и помощь голодающему Поволжью?

— Не понимаю, — признался я.

— А вы вот этот циркуляр № 14 Народного комис-

сариата юстиции РСФСР прочтите, — сказал Усольцев и протянул мне еженедельник «Советская юстиция» от 23 февраля 1922 года.

«Руководствуясь постановлением IX Всероссийского съезда Советов о необходимости напряжения всех сил в борьбе с голодом, охватившим целый ряд губерний и областей РСФСР, и директивами Президиума ВЦИК, — прочел Василий Петрович, — Народный комиссариат юстиции предлагает всем судебным органам РСФСР (нарсудам и ревтрибуналам) при вынесении обвинительных приговоров в отношении обвиняемых, обладающих достаточными имущественными средствами, присуждать последних наряду с другими наказаниями, а также взамен более легких наказаний (например, общественного порицания) к уплате определенного штрафа в пользу голодающих. Штраф может взыскиваться не только в виде денежных сумм, но также в виде продуктов продовольствия, не принадлежащих к числу скоропортящихся.

Народные суды и трибуналы, вынесшие приговоры о наложении штрафа в пользу голодающих, должны с особой тщательностью следить за точным и срочным выполнением этих приговоров.

Все деньги и предметы питания, собранные в уплату указанных штрафов, должны в срочном порядке сдаваться в распоряжение губкомиссий помощи голодающим...»

— А теперь понимаете? — спросил Усольцев. — Борьба с преступностью стала и борьбой с голодом. Почему бы первому русскому солдату не помочь голодающим? Ведь те, что грабили антикварную лавку, да и сам Тарновский, присвоивший государственные ценности, отнюдь не относятся к малоимущим гражданам республики... Как вы считаете?

Я, конечно, был полностью с ним согласен.

— И еще, — сказал Евграф, — было бы здорово ежели бы вы, Василий Петрович, подогрели наших ребят.

— То есть?

— Ну, одно дело, когда ты просто разыскиваешь какую-то ценность, и совсем иное, когда эта ценность для тебя что-то вроде брата родного или, к примеру, друга закадычного. Рассказывать вы мастер. Вот и расскажите им про Бухвостова, чтобы они в нем родную кровь почуяли.

— Надо подумать.

— Надо, да только побыстрей. Сегодня я делаю доклад о роли судебных и административных органов в борьбе с голодом. А после меня выступите вы. Договорились?

— Договорились.

— Тогда жду в восемнадцать ноль-ноль.

...И вот в восемнадцать ноль-ноль я уже сижу за столом рядом с Усольцевым в большой комнате, отведенной для «Учебного кадра» — так именовалась школа уголовного розыска. Эта комната меньше всего напоминала пристанище муз. Бедные музы! Один лишь вид стен обратил бы их в паническое бегство. Бесчисленные фотографии трупов. От фотографий была свободна лишь одна стена, но взор не мог отдохнуть и на ней — ножи всех видов и фасонов, кастеты, гирьки на ремешках, веревочные и проволочные петли, ружья, пистолеты, револьверы.

— Великолепные экспонаты, правда? — сказал Усольцев, который уже вынашивал мысль о создании музея.

— Просто замечательно! — с энтузиазмом подтвердил я, опасаясь, как бы меня сейчас не стошнило. Но ничего, обошлось...

Начать я решил с мифа о дочери красильщика Арахне, которую прекрасная и мудрая богиня Афина Паллада первую из всех женщин земли обучила искусству богов — ткачеству. Арахна отплатила своей божественной учительнице черной неблагодарностью. Она чрезмерно возгордилась и вызвала Афину на состязание. Мало того — она победила в состязании и поэтому пала жертвой самолюбивой богини, которая не постеснялась превратить ее в паука.

Откуда я мог знать, что сидящий в первом ряду русоволосый парень с кольтом у пояса агент второго разряда Петренко не только сотрудник уголовного розыска, но и руководитель кружка «Милиционер-безбожник»? Еще меньше я мог подозревать, что Петренко воспримет миф об Арахне как злостную попытку подорвать в Петрогуброзыске основы атеистической пропаганды.

Как рассказывал мне потом самый информированный человек Петрогуброзыска Сонечка Прудникова, Петренко после моей лекции заявил: «Мы интернационалисты, а потому коллективно плюем на всех богов и богинь вне всякой зависимости от их расы и националь-

ности. А до ткачества и вышивания наши бабы, в смысле полноправные женщины, своим умом дошли, без божеских поучений. И стыдно профессору всякую зловредную идеологическую тень на плетень наводить».

К счастью, Петренко не поддержали. Да и я, почувствовав во время лекции что-то неладное (Петренко так трубно высморкался, что меня это насторожило), постарался побыстрей закончить с мифологией и перейти к древним египтянам и персам.

Я рассказал об Александре Македонском, который, придя в восторг от украшенного богатыми вышивками шатра побежденного им персидского царя Дария, заказал для себя искусным киприоткам плащ с изображением всех своих побед.

Петренко, на которого я время от времени поглядывал, удовлетворенно кивнул головой.

Аудитория была дисциплинированная, сидели тихо, только поскрипывали стульями. Но по лицам я видел — скучновато. «Зажечь ребят» я не смог. Не получалось.

Первые проблески интереса появились, когда я стал говорить о Меншикове. Сподвижник Петра I симпатий к себе не возбудил. Да и что могло слушателям понравиться в «герцоге Ижорском»? Из бедняков, чуть ли не пролетарского происхождения, а выбрался в князья да герцоги — и тут же забыл о своих братьях по классу, стал крепостником, эксплуататором, казнокрадом. Таких перерожденцев в революцию к стенке ставили. И справедливо.

Другое дело Бухвостов. К нему слушатели сразу же прониклись симпатией. И я их понимал: свой! Он подкупал тем, что никогда не искал теплого местечка, был храбр, мужествен, справедлив и всегда готов, «не жалея живота своего», принять смерть за Россию.

Большинство моих слушателей, прошедших горнило гражданской войны, хорошо знали тяжелую солдатскую долю — холодную ярость штыковых атак, кровавое пламя артиллерийской канонады, свист пуль, тоску по дому и горький дым костров во время коротких привалов. Да и сейчас — разве они не солдаты? Не зря милицию называют младшей сестрой Красной Армии. Тот же фронт. И раненые, и убитые, и пропавшие без вести... Солдатская доля, солдатская жизнь!

А Бухвостов между тем сам в солдаты записался, как и они, добровольно, никто его не неволил. Ни на-

град не искал, ни доходов — какие там доходы! Сознательным был, за родину душой болел. Мы в гражданскую Антанте прикурить дали, а он в те поры шведам огонек поднес. Тоже вроде интервентов были. Ишь, куда добрались — до Полтавы...

Так протянулась через века незримая ниточка от первого российского солдата Бухвостова к бойцам-добровольцам внутреннего фронта, фронта борьбы с бандитами и со всеми теми, кто мешал народу России жить и работать. Как-никак, а мои слушатели были потомками первого российского солдата...

И, поняв это, я отложил в сторону план лекции. Теперь я говорил лишь о Бухвостове, причем говорил о нем как о нашем общем знакомом — Сергее Леонтьевиче. И чем больше я о нем рассказывал, не забывая следить за лицами своих слушателей, тем больше Бухвостов становился похожим на них своей бескорыстностью, готовностью отдать последний кусок хлеба товарищу (тому же голодающему крестьянину Поволжья), кристальной честностью.

Меня не смущало, что создаваемый мною образ весьма приблизительно соответствовал исторической правде.

Вряд ли, конечно, первый русский солдат задумывался над вопросами социальной справедливости, защищал крепостных от притеснений помещиков, резал правду в глаза всесильному Меншикову, вылавливал разбойничьи шайки, которые грабили землекопов в строящемся Петербурге, и корил царя за жестокое обращение с простым людом.

Но, импровизируя жизнь и образ Бухвостова, я не только не испытывал неловкости, но даже немного гордился силой своего воображения. Почему? Да потому, что я понимал, что моим слушателям первый российский солдат дорог именно таким, каким я его изобразил.

И думаю, ежели бы Бухвостов в тот момент воскрес и каким-либо чудом оказался в Петрогуброзыске, он бы не протестовал против искажения истории, не гаркнул бы зычно: «Слово и дело!» Нет. Проявив должное понимание сложившейся обстановки, он бы промолчал. А после окончания моей лекции расправил бы свои лихие усы и сказал бы: «Все правильно, товарищи красные милиционеры! Все так и было: там — шведы, турки, персы и прочая Антанта, здесь — лихоимцы, куп-

цы-кровососы, крупные землевладельцы, разбойники да бояре-эксплуататоры... Очень точно обрисовал лектор наше проклятое прошлое. А теперь, дорогие товарищи, поблагодарим лектора — и за дело. Пора, друзья, пора... Шутка ли, в Поволжье голод, как при царизме, здесь, в Петербурге, тоже черт-те что творится: вконец лиходеи обнаглели — грабят, убивают, крадут... Я в таких случаях время попусту не терял, не дожидался, покуда горнист протрубит... Солдат — он завсегда солдат. А ведь в каких условиях приходилось свой солдатский долг исполнять? Врагу не пожелаю. Крепостничество, пропади оно пропадом, феодализм проклятый, монархизм... Правду сказать, монарх-то наш, Петр Лексеевич, был вроде из передовых, прогрессивных, с головой был монарх и не белоручка, не зазря Великим прозвали — что было, то было, чего там, — а все ж деспот: трон, корона и все такое прочее, да и рукам волю давал... чуть что — за дубинку. Ни в какую не доверял массам».

Но так как чудес не бывает, то похожие слова после моего выступления сказал не Бухвостов, а Евграф Николаевич Усольцев. Он же зачитал проект решения общего собрания сотрудников Первой бригады Петрогуброзыска и преподавателей «Учебного кадра». Решение было принято без поправок, единогласно. Вот оно.

Василий Петрович достал из папки два листа шероховатой бумаги, надел очки и прочел:

«Протокол общего собрания оперативных сотрудников Первой бригады Петрогуброзыска с участием преподавателей «Учебного кадра».

Присутствовало 58 человек. Отсутствовало — 19. Из них по уважительным причинам — 19 (17 — на заданиях, 2 — в результате ранений, полученных в схватках с уголовным элементом и классовым врагом, находятся на излечении в больнице).

Слушали:

1. Доклад начальника Первой бригады Петрогуброзыска тов. Усольцева Е. Н. о роли судебных органов и Красной милиции в борьбе с голодом в Поволжье.

2. Сообщение директора музея и постоянной выставки «Общества поощрения художеств и популяризации художественных знаний при Российской академии материальной культуры» профессора истории изящных искусств тов. Белова В. П. о похищении шедевра русс-

кого крепостного творчества первой половины XVIII столетия, вышитого шелком на льняном полотне портрета исторической личности времен прогрессивного для вышеуказанной эпохи царя Петра I — С. Л. Бухвостова, а также лекцию тов. Белова по истории художественной вышивки шерстью, шелком, серебром и золотом.

Постановили:

1. Заверить наших голодающих братьев-крестьян в Поволжье, что мы не забыли и никогда не забудем той помощи, которую они оказали голодающему пролетариату Петрограда в годы гражданской войны, и сторицей отплатим за нее.

2. Учитывая, что борьба с преступным элементом в свете циркуляра № 14 Наркомюста стала не только борьбой за социалистическую законность и безопасную жизнь трудового Петрограда, но и борьбой с голодом в Поволжье, пролетарские специалисты по борьбе с преступностью из Первой бригады Петрогуброзыска и «Учебного кадра» к годовщине Рабоче-крестьянской милиции обязуются:

а) Не жалея своих сил и крови, добиться задержания главарей и рядовых членов шаек Чугуна, Жорки Черненького, Пана, Ваньки Гатчинского, Володьки Гужбана, Федьки Каланчи и Ваньки Тряпичника, что даст возможность судам спасти от голодной смерти сотни, а может быть, и тысячи наших братьев в Поволжье и значительно снизит уровень преступности в красном Петрограде.

б) В качестве своего первоочередного вклада в дело борьбы с голодом и преступностью оперативные сотрудники Первой бригады обязуются выявить, задержать и передать суду похитителей шедевра русского крепостного народного творчества — шелкового портрета С. Л. Бухвостова.

3. Заверить красного профессора истории изящных искусств тов. Белова В. П., что в самое ближайшее время портрет С. Л. Бухвостова, который, как явствует из прочитанной им лекции, является ценным для пролетариата произведением дореволюционного рабоче-крестьянского искусства, займет положенное ему место в музее «Общества поощрения художеств и популяризации художественных знаний при Российской академии материальной культуры».

— На следующий день после этого знаменательного собрания я приехал в Петрогуброзыск к Усольцеву, который познакомил меня с субинспектором своей бригады Сергеем Сергеевичем Борисовым, седоватым человеком с внимательными серыми глазами, — продолжал свое повествование Василий Петрович. — Сергей Сергеевич, как я понял, уже ознакомился с материалами по ограблению антикварной лавки Тарновского. Он меня подробно расспросил о коллекции Шлягина, о самом Шлягине, о моей встрече и разговоре с ним, о подробностях ночного визита Тарновского и Варвары Ивановны, о Генри Мэйле, который в свое время хотел приобрести у Шлягина портрет Бухвостова. Затем Борисов спросил:

— Вам Тарновский говорил, от кого он ждал телеграмму в тот вечер?

— Нет, — сказал я. — Я вообще не уверен, что он ожидал телеграмму.

— Твердой уверенности у меня тоже нет, — признался Борисов. — Но ведь Тарновский будто не из храбрых?

Тарновский боялся всего: хулиганов, случайных знакомств, лошадей, машин, крыс, сырой воды, собак, простуды, инфекции... Свою квартиру он превратил в неприступную крепость со сложной и хитроумной системой замков, крючков, засовов и цепочек.

Выслушав меня, Борисов переглянулся с Усольцевым.

— Вот именно, — сказал он, — неприступная крепость, как вы выразились. В протоколе осмотра отмечено большое количество запирающих устройств на входной двери и две кованые железные цепочки. Но Тарновский, насколько мы поняли с Евграфом Николаевичем, цепочками не воспользовался, а сразу же распахнул дверь.

— Совершенно верно, — подтвердил я. — Иначе он бы разобрался, что это не почтальон, а налетчики.

— Вот видите, мы уже все начинаем мыслить одинаково, — констатировал Борисов. — Потому-то мы и предполагаем, что он ждал телеграмму. В противном случае он бы так просто дверь не открыл.

— Наверняка, — кивнул Усольцев.

— А теперь, — попросил Борисов, — расскажите мне поподробней о вещах, которые хранились в тайнике. Обо всех, кроме портрета Бухвостова, о нем я уже

имею исчерпывающее представление: ведь я был на вашей лекции...

Усольцев, сославшись на дела, давно уже ушел, а Сергей Сергеевич продолжал задавать мне один вопрос за другим.

Наконец поток вопросов стал иссякать. Воспользовавшись паузой, я спросил, имеются ли у него какие-либо предположения. Борисов засмеялся.

— Предположений много, всех не перечислишь...

— Но наиболее вероятные? Кто мог ограбить Тарновского?

— Усольцев считает, что скорей всего здесь не обошлось без Этюдника. Действительно, по почерку похоже на него. Есть такой специалист по антикварным и ювелирным магазинам, гастролер...

— Гастролер?

— Ну да, гастролер. Он к нам на гастроли из Екатеринослава прибыл: уж слишком он наследил там, вот и решил временно переменить место своей деятельности.

— И какие же шансы выловить его, этого самого Этюдника?

— Какие шансы? — развеселился Сергей Сергеевич? — Да, наверное, приличные шансы. Петренко Этюдника уже три дня «пасет».

— «Пасет»?

— Ну следит за ним. Этюдник осел на Мало-Царскосельском проспекте и почти каждый вечер кутит в «Сплендид-Паласе». Так что он у нас на виду. В общем, как только будут новости, я вам телефонирую.

Новости не заставили себя ждать. Через день Сергей Сергеевич позвонил мне на работу:

— Если хотите побеседовать с Этюдником, приезжайте.

— Когда?

— А хоть сейчас. Его должны ко мне привести. Но ни слова Тарновскому.

Я бросил все свои дела и помчался в Петрогуброзыск.

У двери кабинета Борисова переминался с ноги на ногу конвойный. Значит, Этюдник уже здесь. Я постучался.

— Войдите! — крикнул из-за двери Борисов.

Налетчик, худощавый, одетый по последней нэпмановской моде молодой человек с густо набриолиненными волосами, сидел на стуле перед Сергеем Сергееви-

чем, скучно глядя в потолок и небрежно вытянув длинные ноги в узконосых штиблетах.

— Чего уставился, четырехглазый? — злобно спросил меня Этюдник. — При стеклышках, а туда же...

— Только не хами, Вовочка, — предупредил его Сергей Сергеевич и перевел: — Вовочка хотел вам сказать, что при такой, как у вас, интеллигентной внешности вы могли бы найти себе более благородное занятие, чем работа в Петрогуброзыске, где вам приходится иметь дело со всякой шантрапой вроде него. Он вас принял за нашего сотрудника.

Я кивнул головой: все, дескать, понятно.

— А теперь по существу, — сказал Сергей Сергеевич, обращаясь к задержанному. — Искренность украшает любого человека, в том числе и налетчика. Признаешь, что брал лавку Тарновского?

— Лавку? — переспросил Вовочка. — Кобелий закуток!

— Вовочка хочет сказать, — вновь перевел для меня Сергей Сергеевич, — что, учитывая скудность ассортимента антикварных изделий и их незначительную ценность, торговое заведение Тарновского нельзя именовать лавкой. Так брал этот закуток?

— А чего не взять, что плохо лежит?

— Значит, брал?

— Брал.

— А с кем?

— С корешами.

— С кем именно?

Налетчик задумался и наморщил лоб.

— Запамятовал? — с участием спросил Сергей Сергеевич.

— Начисто.

— Не украшает, значит, тебя искренность?

— А я и без украшений парень хоть куда.

— Понятно, — сказал Сергей Сергеевич и перевел: — Вовочка хочет сказать, что у него провал в памяти, но, посидев немного в арестном доме и побеседовав на очных ставках со свидетелями, он постарается восстановить все подробности происшедшего и рассказать о них. А пока он, как и подобает воспитанному человеку, извиняется за напрасно отнятое у нас время и просит отправить его обратно в камеру. Так, Вовочка?

Вечером мне позвонил Тарновский. Помня о предупреждении Борисова, я ему ничего не сказал, хотя и

не понимал, почему следует умалчивать об аресте Этюдника, который признался в ограблении. Впрочем, меня волновало не столько это обстоятельство, сколько другое, более существенное: удастся ли разыскать портрет Бухвостова?

Свой «провал» в памяти Этюдник восстановил довольно быстро, чуть ли не на следующий день. Его воспоминания о посещении лавки Тарновского заняли добрых двадцать страниц убористого текста. Налетчик подробно рассказал, как он вместе с Подорожником и Федькой Лысым, который был наводчиком, ограбил лавку, перечислил похищенное, рассказал, где оно хранится (налетчики успели продать лишь незначительную часть добычи). Но среди изъятого в подвале дома по Мало-Царскосельскому проспекту не было ни коллекции старинных монет, ни кружев, ни гобеленов, ни портрета Бухвостова...

Этюдник утверждал, что этих вещей он в лавке даже не видел. Конечно, в лавке он и не мог увидеть — они хранились в тайнике.

Тайник? Какой тайник? Разве там был тайник? Нет, ни о каком тайнике он не слыхал. Чего уж тут темнить: семь бед — один ответ. Червонец ему и так и этак через решеточку светит. Нет, тайник они не брали. Чего не было, того не было. Не знали они про тайник, потому и не шуровали там. Ежели гражданин начальник какое сомнение тут имеет, пусть у Федьки Лысого, что лавку давал, или у Подорожника справится. Он их заложил, так что выгораживать они его не будут, уж скорей топить зачнут. Так что тут все без сомнения, на просвет. Пусть гражданин начальник справится, а он, Этюдник, с полным чистосердечием и с любовью к Советской рабоче-крестьянской власти колется, как грецкий орех, без крошек.

«Гражданин начальник» справился — соучастники Этюдника полностью подтвердили его показания: о тайнике они ничего не знали...

— Я никогда не считал себя психологом, а тем паче специалистом по психологии уголовников, — продолжал Василий Петрович. — Но ведь должна быть какая-то логика в поведении арестованных, зачем им врать? Какую реальную пользу могут они теперь из этого извлечь? Да и показания свидетелей не сбросить со счета... Но если все они говорят правду, то тогда что же — тупик?

Мне казалось, что Усольцев и Борисов тоже растеряны и не знают, что им дальше предпринимать. Во всяком случае, на все мои недоуменные вопросы они лишь пожимали плечами: существуют-де и другие версии, поживем — увидим. А что мы увидим? Томительно тянулось время. И никаких новостей — ни больших, ни малых...

Как в дальнейшем выяснилось, Василий Петрович ошибался: каждый день приносил известия, имеющие прямое отношение к вещам, похищенным из тайника. Но ни Усольцев, ни Борисов не считали тогда целесообразным ставить его об этом в известность.

Предположения сотрудников Петрогуброзыска подтвердились: Тарновский действительно ждал телеграмму. И эту телеграмму ему доставили на квартиру как раз в тот день, когда Этюдник счел за благо восстановить в памяти все подробности своего ночного визита в антикварную лавку.

Тарновского не оказалось дома, и за телеграмму расписалась Варвара Ивановна, пообещав сразу же вручить ее адресату, как только тот появится.

— Только не забудьте! — сказал знакомый почтальон. — Телеграмма-то не какая-нибудь — срочная, из Москвы.

— Можете не беспокоиться, не забуду, пока на память не жалуюсь.

Однако домоправительница Тарновского, видимо, все-таки забыла... Полученная ею телеграмма не была передана хозяину ни в тот день, ни на следующий.

А четыре дня спустя вернувшемуся после допроса из Петрогуброзыска Тарновскому пришлось самому разогревать себе обед: Варвара Ивановна уехала навестить свою внезапно заболевшую тетку, жившую где-то на окраине Петрограда. Но у тетки Варвара Ивановна в тот день не была. Выйдя на улицу, она, видимо, в последнюю минуту раздумала. Варвара Ивановна отправилась не к больной, а в противоположную сторону, к гостинице «Европейская».

Со стороны Невы дул сильный ветер. И пока Варвара Ивановна дошла до гостиницы, она до костей промерзла. Тем не менее она вовсе не торопилась поскорее войти в теплое помещение и еще долго стояла, закутавшись в платок, на ветру у подъезда.

Только окончательно убедившись, что за ней никто не наблюдает, домоправительница Тарновского юркнула наконец в подъезд.

Последний раз Варвара Ивановна была здесь вместе с мужем лет десять назад, вскоре после того, как они вернулись в Россию из Парижа. Здесь останавливался старший брат мужа Павел, сибирский золотопромышленник, приехавший в Петербург провернуть какое-то дельце, а заодно и покутить. Павла в гостинице хорошо знали и к его приезду заранее готовились. К его услугам всегда был лучший номер. Да, умерший в девятнадцатом году Павел умел пожить, царствие ему небесное!

За прошедшие десять лет в холле гостиницы, пожалуй, ничего не изменилось: тот же располагающий к уюту мягкий полумрак, пушистые, пружинящие под ногами ковры, дорогая массивная мебель...

А вот сама Варвара Ивановна за эти десять лет сильно изменилась — увяла, постарела... Но главное, пожалуй, не в этом, хотя кому приятно стариться. Нет, не в этом главное. Тогда Варвара Ивановна пришла сюда в платье, сшитом у модного парижского портного, в бриллиантовом колье, в туфлях из крокодиловой кожи.

А как же иначе? Дочь известного петербургского богача и коллекционера Ивана Ферапонтовича Шлягина, жена любимца великого князя полковника Сибирцева.

Быть принятым в доме Сибирцевых считалось честью, великой честью. Балы, журфиксы, театры, рысаки, цветы, драгоценности...

И все прахом, все растаяло, как ледяная сосулька на солнце, — положение в обществе, беззаботная жизнь, богатство, праздность... Муж убит еще в мировую войну где-то в Пинских болотах, отец в эмиграции — жив ли? — а она теперь кто? Домоправительница у этого жулика Тарновского, который прикарманил, воспользовавшись удобным случаем, отцовское собрание древностей. И за это должна благодарить бога. Ведь ежели бы Тарновский знал, что она дочь Ивана Ферапонтовича Шлягина, ни за что бы не пригрел, побоялся бы... «И не зря бы побоялся», — усмехнулась Варвара Ивановна. Но что тосковать о прошлом, которого не вернешь? Надо думать о будущем. И, работая у Тарновского, Варвара Ивановна думала о своем будущем. Долго она терпела, и вот тот самый случай, который обеспечит ее старость.

Нет, она не украла у Тарновского, она взяла то, что принадлежит ей по праву как дочери Ивана Ферапонтовича Шлягина. Так, и только так. Правда, в тайнике у Тарновского хранилась не только собственность отца Варвары Ивановны. Там еще были старинные монеты. Но что она могла сделать? Если бы она их оставила, это наверняка бы возбудило подозрение. А так все считают, что тайник опустошили налетчики.

Осторожно ступая по ковру стоптанными, заляпанными грязью туфлями, Сибирцева прошла к столику портье. Багровея от стыда за свой вид, Варвара Ивановна сказала, что хочет навести справку. Ее интересует, прибыл ли сегодня из Москвы сотрудник АРА * мистер Генри Мэйл, которому должны были заказать номер.

Гладкий, откормленный портье окинул бесцеремонным взглядом ее неказистую, жалкую фигуру в мятом, лоснящемся на швах пальто. И Варвара Ивановна вновь покраснела.

— Мистер Мэйл? Минутку... — Он перелистал страницы лежащей перед ним книги регистрации гостей. — Да, мистер Мэйл проживает в гостинице.

Варвара Ивановна сказала, что американец назначил ей встречу.

— А мадам не ошибается? — нагло спросил портье. Насколько ему известно, мистер Мэйл никого не ждет.

Нет, мадам не ошибается. Мадам уверена, что мистер Мэйл захочет ее принять.

— Вот как? — Портье в нерешительности пожевал губами и наконец спросил: — Как прикажете доложить?

— Скажите, что от Тарновского. Он знает.

— Что ж, если мадам настаивает...

Портье позвонил по телефону, и уже через несколько минут в холл спустился секретарь мистера Мэйла, любезный и жизнерадостный молодой человек. Он проводил Варвару Ивановну в номер, где остановился американец.

А вот и мистер Мэйл, пожилой, седоватый, с внимательными серыми глазами и обаятельной улыбкой человека, никогда не знавшего голода, холода и унижений.

---

* АРА — сокращенное наименование «Американской администрации помощи», благотворительной организации, которой в 1921 году в связи с голодом была разрешена деятельность в РСФСР.

Улыбка означала, что мистер Мэйл счастлив видеть Варвару Ивановну, хотя и не имеет чести ее знать, что он доволен жизнью, своим секретарем и предстоящей беседой.

— Мне передавали, что вы хотите меня видеть. Я к вашим услугам.

Мистер Мэйл настолько хорошо владел русским, что переводчик им не требовался. Это устраивало обоих: уж слишком деликатной была тема предстоящей беседы.

— Я вас слушаю.

Варвара Ивановна откашлялась, как неопытный оратор перед ответственным выступлением.

— Одиннадцать лет назад, господин Мэйл, вы изъявляли желание приобрести вышитый шелком портрет первого российского солдата, а также некоторые другие экспонаты из собрания Шлягина, — неуверенно начала она, когда секретарь вышел. — Теперь, как вам уже известно из письма моего доверителя, которое было передано вам в Москве, вы имеете возможность осуществить эту сделку, если, разумеется, предложенная вами цена будет приемлемой.

— Для кого приемлемой? — пошутил Мэйл, ослепляя Варвару Ивановну своей неотразимой улыбкой.

— Для моего доверителя, понятно, господина Тарновского.

— Что же для него приемлемо?

— Господин Тарновский оценивает портрет Бухвостова в двадцать пять тысяч долларов.

— Недурно. А сколько он хочет получить за гобелены и кружева?

— Пятнадцать тысяч. Собрание же старинных русских монет он готов вам уступить тоже всего за пятнадцать...

— Долларов?

— Да, тысяч долларов...

— Итого пятьдесят пять тысяч?

— Совершенно верно, — несколько ошеломленная получившейся суммой, подтвердила Варвара Ивановна, — пятьдесят пять тысяч долларов. Согласитесь, что господин Тарновский проявляет умеренность. Подлинная цена этих вещей в три раза больше. Таким образом, вы сможете получить двести процентов прибыли.

Мистер Мэйл вновь ослепил Варвару Ивановну улыбкой.

— Один ваш поэт писал, что русская женщина спо-

собна остановить любую скачущую лошадь и войти во время пожара в дом. Слушая вас, я понял, что он перечислил не все главные достоинства русских женщин. Как выяснилось, они умеют еще и торговаться. Это значительно важней, чем выполнять обязанности конюха или пожарника. Ответственней. У нас, к сожалению, женщины всего лишь хранительницы домашнего очага. Не могу не позавидовать господину Тарновскому, ему повезло с таким умелым поверенным. Но, называя сумму, вы забыли про одно немаловажное обстоятельство — про риск, которому я подвергаюсь. Для того чтобы получить двести процентов прибыли, необходимо прежде всего вывезти приобретенное из пределов Советской России. А это, поверьте, трудней, чем остановить скачущую лошадь, погасить пожар и научиться торговаться.

— Но вы же служите в АРА.

— Это дает мне лишь право беспошлинного ввоза товаров в Россию, но не право беспрепятственного вывоза музейных ценностей.

— Тем не менее сотрудники АРА их вывозят, — возразила Варвара Ивановна.

— Да, однако это сопряжено с риском. Но оставим пока цифры. До них мы еще доберемся, — сказал Мэйл, продолжая щедро одаривать свою собеседницу улыбками. — В своем письме господин или, как теперь принято в России, гражданин Тарновский писал, что не желает никаких посредников. И вот теперь такая неожиданность, правда приятная, но все-таки неожиданность — вы его представительница. Мне бы хотелось внести необходимую ясность. Поэтому, если вас не затруднит...

Варвара Ивановна не смутилась. Она была к этому готова и заранее подделала письмо-доверенность Тарновского.

— Господин Тарновский, — объяснила она, — к сожалению, вынужден был лечь в больницу на операцию, поэтому он не имеет возможности лично навестить вас. Но он не забыл про необходимые формальности, — и она протянула Мэйлу конверт.

Американец небрежно вскрыл его.

— Вот теперь мы можем вернуться к цифрам, — сказал Мэйл, прочитав письмо, и одарил Варвару Ивановну очередной улыбкой. — Признаюсь вам честно, если бы здесь сидели не вы, а господин Тарновский, я бы

предложил за все десять тысяч долларов и ни цента больше. — Теперь мистер Мэйл уже не улыбался. — Но... как это по-русски?.. притеснять женщин, да еще таких обворожительных, не в моих правилах. Я джентльмен. Вы получите с Тарновского комиссионные?

— Да, — выдавила из себя Варвара Ивановна.

— Сколько процентов от суммы сделки?

— Пятнадцать.

— Приличный процент, — улыбнулся Мэйл. — Оказывается, господин Тарновский тоже джентльмен. Это делает ему честь. Итак, — он выдержал паузу, — я предлагаю двадцать тысяч долларов и десять тысяч в советских червонцах.

Варвара Ивановна отрицательно мотнула головой.

— Тогда очень сожалею, — сухо сказал Мэйл и встал. — Передайте господину Тарновскому мои соболезнования.

Но когда Варвара Ивановна усилием воли заставила себя встать и взяться за ручку двери, американец остановил ее:

— Тридцать тысяч долларов и пятнадцать тысяч рублей.

Варвара Ивановна почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Теперь ее жизнь обеспечена.

— Согласны?

— Согласна, — прошептала она и на ватных ногах вернулась на место.

Теперь оставалось обговорить лишь техническую сторону сделки. Это уже было значительно проще. Договорились встретиться завтра в шесть часов вечера у модного среди нэпмачей театра-ресторана «Гротеск», куда Мэйл должен был привезти деньги, а Варвара Ивановна — чемодан с вещами, которые хранились у ее ничего не подозревавшей тетки, родной сестры Шлягина.

— Только не опаздывайте, господин Мэйл, — предупредила американца Варвара Ивановна. — Я всего опасаюсь и не хотела бы рисковать.

Мэйл понимающе кивнул.

— Я буду там со своим секретарем еще до вашего приезда. Риск исключен, — заверил он.

— Тогда до завтра.

Мэйл проводил ее до дверей, одарив на прощание своей самой обворожительной улыбкой.

...Когда на следующий день Сибирцева на лихаче подъехала к «Гротеску», ее уже ждали, но не улыбчи-

вый американец и его обходительный секретарь, а сотрудник уголовного розыска, агент второго разряда Петренко, тот самый Петренко, который руководил атеистическим кружком «Милиционер-безбожник» и чуть было не сорвал лекцию Василия Петровича, придравшись к мифу о злосчастной Арахне...

— Вы арестованы, гражданка. Пройдемте со мной, — сказал он, взяв ее под руку.

— Что это значит? — вскинулась Варвара Ивановна, чувствуя, что совершилось непоправимое.

— На месте все узнаете.

Петренко любезно подсадил Варвару Ивановну в ожидавший их автомобиль Петрогуброзыска и, передав шоферу чемодан Сибирцевой, коротко сказал:

— Поехали, Вася.

— В тот вечер, — сказал Василий Петрович, — Усольцев позвонил мне по телефону в девятом часу, когда я, вернувшись с работы, сел за статью, которую уже давно обещал одному научному журналу. Звонок был явно некстати.

— Чем занимаетесь, Василий Петрович?

— Работаю.

— А у меня предложение: бросайте свою работу и приезжайте в Петрогуброзыск.

Я замялся.

— Приезжайте, приезжайте. Поговорим, чайку попьем. Не пожалеете, очень симпатичная компания подобралась...

— Какая еще компания?

— Я, Борисов и Сергей Леонтьевич...

— Какой Сергей Леонтьевич?

— Как какой? Сергей Леонтьевич Бухвостов, ваш старый знакомый, первый российский солдат...

У меня мгновенно пересохло во рту.

— Граня, если вы шутите...

— Какие, к черту, шутки! Ждем.

...И вот я вхожу в кабинет Усольцева. Действительно, здесь, помимо хозяина кабинета и Сергея Сергеевича Борисова, меня встречает собственной персоной первый российский солдат, занявший почетное место на стене против входной двери. Его спокойные, широко расставленные глаза устремлены прямо на меня.

«Ну как, Василий Петрович, свиделись?» — «Свиделись, Сергей Леонтьевич, свиделись. А ведь никак не ожидал». — «Почто так? Как говаривал господин

бомбардир Петр Лексеевич, царствие ему небесное, гора с горой не сходится, а человек с человеком завсегда... Вот только постарел ты малость с последней нашей встречи, Василий Петрович». — «Зато вы, Сергей Леонтьевич, ничуть не изменились...»

Действительно, Бухвостов на портрете был таким же молодым, как в битве при Полтаве, когда демонстрировал «Карле» мощь русского оружия. Он ничуть не изменился с тех времен. Русский солдат — он всегда русский солдат. Русский солдат — он вечен. Годы, эпохи, войны и столетия над ним не властны.

Приветствую твое возвращение, Сергей Леонтьевич, и низко тебе кланяюсь. Счастлив тебя вновь увидеть, Сергей Леонтьевич!

Усольцев рассказывал, как на допросе в уголовном розыске Тарновский признался Борисову в своей попытке продать портрет мистеру Мэйлу, о Варваре Ивановне, решившей воспользоваться ограблением лавки в своих целях, о том, как подготовлялась операция...

Но я слушал вполуха, не в силах оторвать глаз от шелкового портрета, вновь и вновь удивляясь тонкости и виртуозности мастерства безвестных вышивальщиц, необычному таланту такого же безвестного, как и они, художника, гармоничности колорита и сдержанной силе рисунка.

— Будем пить чай? — спросил Усольцев, кивнув на стоящий в углу комнаты самовар.

— Что?

— Чай, спрашиваю, будем пить?

— Да, пожалуй, не стоит, — сказал я и спросил: — А Мэйла и его секретаря вы тоже арестовали?

Усольцев и Борисов переглянулись: видимо, я что-то прослушал.

— Мистер Мэйл, — сказал Усольцев, — после беседы в Московском уголовном розыске, которая была с ним там проведена по нашей просьбе, решил от поездки в Петроград воздержаться.

— И все-таки приехал? — спросил я.

— Нет.

— Ничего не понимаю! Ведь вы только что говорили, что Сибирцева пришла к Мэйлу в гостиницу и он собирался приобрести у нее все ценности, похищенные из тайника.

— Правильно, — невозмутимо подтвердил Усольцев.

— Что правильно?

— Все правильно. Действительно, Сибирцева не сомневалась, что разговаривает с Мэйлом. И, доставленная в Петрогуброзыск, очень была удивлена тем, что Мэйл вовсе не Мэйл, а наш работник...

На мгновение я даже забыл про портрет Бухвостова.

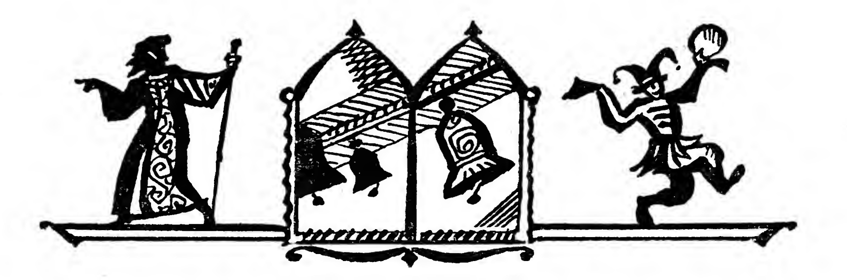
— Кто?!

— Наш работник, — повторил Усольцев, — небезызвестный вам Сергей Сергеевич Борисов. Тот самый Борисов, который сейчас сидит здесь и напрасно ждет, когда вы в знак благодарности догадаетесь наконец пожать ему руку. А роль секретаря американца сыграл — и, по мнению Сергея Сергеевича, совсем неплохо — агент третьего разряда Вербицкий. Как видите, сотрудники Первой бригады Петрогуброзыска умеют выполнять свои обещания. А вы небось сомневались?

Василий Петрович вложил в папку документы. Разминая затекшие от долгого сидения ноги, прошелся, ссутулясь, по комнате. Устало и буднично сказал:

— Вот, пожалуй, и все. Суд состоялся незадолго до годовщины Рабоче-крестьянской милиции, в октябре 1922 года. Тарновского и Сибирцеву судили по статье 188 Уголовного кодекса РСФСР за сокрытие памятников старины и искусства, подлежащих передаче государству. Их осудили условно. Одновременно в соответствии с циркуляром Народного комиссариата юстиции № 14 со всех осужденных, в том числе и с налетчиков, были взысканы в пользу голодающих весьма солидные штрафы. По справке Комиссии помощи голодающим, которую мне показывал Усольцев, эти деньги дали возможность спасти от голодной смерти около ста человек.

Так что первый русский солдат с помощью сотрудников Первой бригады Петрогуброзыска отличился и на фронте борьбы с голодом...





Экспонат № 4



В Петрогуброзыске Евграфа Николаевича Усольцева звали Часовщиком. Это прозвище намекало на стиль работы начальника Первой бригады, который, готовя ту или иную операцию, всегда тщательно и скрупулезно отрабатывал все, без исключения, детали, стремясь предусмотреть любую случайность. Но в уважительном прозвище Часовщик одновременно заключался намек на непонятное и немного странное для сотрудника уголовного розыска увлечение часовым делом и старинными часами.

На рабочем столе Усольцева рядом с розыскными делами в желтых обложках, вещдоками, как сокращенно именовались в уголовном розыске вещественные доказательства, лежали аккуратной стопочкой брошюры по часовому мастерству, чертежи и фотографии. А в заветную витрину музея Петрогуброзыска Евграф Николаевич поместил наклеенный на кусок квадратного картона рисунок часов с восьмиугольным циферблатом и знаками зодиака. Под рисунком было написано: «Волшебные часы волхва Бомелия».

Эта надпись не могла, конечно, оставить равнодушным несменяемого руководителя кружка «Милиционер-безбожник» агента второго разряда Петренко. Более того, она его потрясла и окончательно вывела из состояния равновесия.

— Что я внушаю ребятам? — говорил он Сонечке Прудниковой. — Я им внушаю, что бога нет, черта нет, Конька-Горбунка нет. Только совесть есть, и то не у всех. А тут что? Религиозный дурман. Ведь ежели сегодня Усольцев черным по белому о волшебстве пишет, то за-

втра он на должность агента первого разряда зачислит служителя религиозного культа.

— Ну уж, — сомневалась Сонечка.

— А что? И зачислит, — бушевал Петренко. — Не бывает волшебных часов.

— Ну и что? — пожимала плечами Сонечка, которая уже все знала про эти часы от Усольцева и Василия Петровича Белова. — Главное — существует легенда.

— Какая легенда?

— Про Великого часовщика.

— Поповские сказки, — отмахивался Петренко и, клокоча от гнева, уходил к себе готовить тезисы к докладу «В сетях религиозного дурмана».

Доклад Петренко был прочитан на следующей неделе, но на судьбе рисунка часов с восьмиугольным циферблатом это не сказалось. Рисунок остался на прежнем месте. Более того, вскоре рядом с ним в витрине появились необычные часы, имеющие прямое отношение ко всей этой истории.

А много лет спустя, когда Усольцев... Но не будем предвосхищать событий и, как всегда, предоставим слово Василию Петровичу Белову.

— Поклонник детективного жанра, — не без ехидства сказал Василий Петрович, глядя мимо меня и делая вид, что это не имеет ко мне абсолютно никакого отношения, — начал бы, разумеется, повествование или с удачного обыска, который произвел Усольцев в 1922 году, или с более далекого события — убийства и ограбления весьма известного среди ценителей старины московского антиквара Мецнера, в магазине которого можно было приобрести все, начиная от старинных часов и кончая полотнами Рембрандта, Веласкеса или Рубенса.

Видимо, предпочтение все-таки было бы отдано Мецнеру, а Усольцев пока оставлен в резерве, чтобы в дальнейшем оживить заключительную часть повествования, когда история и криминалистика сплетутся в единое и нераздельное целое.

Рассказав об убийстве антиквара, поклонник детективного жанра подробно бы остановился на загадочных обстоятельствах этого нашумевшего преступления, описал похищенные вещи, рассказал о различных предположениях, слухах, о поисках бесследно исчезнувшего преступника, о подозрительной нерасторопности поли-

ции, которая, казалось, не столько искала убийцу, сколько пыталась закрыть глаза на очевидное.

Досконально отработав этот благодарный сюжет, он бы затем сообщил о том, как через год после событий, взволновавших Москву, в Баварии покончил самоубийством король Людовик II Баварский, покровитель искусств и страстный поклонник Вагнера.

Не слишком углубляясь в обстоятельства, при которых это случилось, рассказчик, все более и более заинтриговывая слушателей или читателей, намекнул бы на некую связь между тем, что произошло в России и Баварии. Возбудив таким образом естественное любопытство, а затем, сделав вид, что начисто забыл про убийство антиквара и кончину баварского короля, он бы пригласил читателя посетить вместе с ним двор Ивана Грозного, или, как того именовали в стародавние времена, Иоанна Васильевича, намекнув, что именно здесь таится скрытая пружина всех дальнейших событий...

Любитель же исторических легенд (а ими — и любителями, и легендами — история весьма богата) начал бы этот рассказ со звездочета, лекаря и часовщика Грозного голландца Бомелия, из-за которого, по мнению москвичей, «на русских людей царь возложил свирепство, а к немцам на любовь преложи».

Именно Бомелий предложил царю уничтожать врагов — действительных или мнимых — ядом, причем изготавливал его с таким искусством, что отравленный умирал в точно назначенное царем время.

Впрочем, скорей всего любитель исторических легенд начал бы это повествование не с «лютого волхва дохтура Елисея», а с созданных им при помощи черной магии волшебных часов, которые предрекли царю смерть, а России — Великого часовщика.

Что же касается специалиста по истории часов, то он бы, разумеется, не вспоминал ни про убийство антиквара, ни про Людовика Баварского. И уж наверняка бы с презрением отвернулся от всяких сказок о смерти Грозного, волхве Бомелии, его предсказаниях. Что же касается волшебных часов Бомелия, я думаю, что его точка зрения полностью бы совпала с точкой зрения бессменного руководителя кружка «Милиционер-безбожник» в Петрогуброзыске двадцатых годов агента второго разряда Петренко, которую он высказал много лет назад Соне Прудниковой.

Легенды, предания, досужие выдумки... Стоит ли обо всем этот упоминать? Ведь значение имеют одни лишь факты.

Как и положено уважающему себя специалисту, задумавшему или уже написавшему кандидатскую диссертацию, он бы начал с истории развития часового дела. Популярно объяснил бы, что древнейшими приборами для определения времени являлись гномоны — простейшие солнечные часы, а также водяные часы. Говоря о водяных часах, он бы обязательно упомянул о бронзовых часах, подаренных знаменитым Гарун-аль-Рашидом Карлу Великому. Эти изящные часы с красивым циферблатом отбивали каждый час, а в полдень в них открывались ворота и оттуда выезжали на лошадях вооруженные рыцари в сопровождении своих оруженосцев.

Затем, рассказав о водяных часах в Риме, Китае и средневековой Европе, специалист в часовом деле, чтобы немного позабавить своих притомившихся слушателей, вспомнил бы, конечно, о первых часах-будильниках, созданных Платоном и Леонардо да Винчи. Будильник Платона, как известно, был предназначен философом для того, чтобы своим громким и пронзительным звуком поднимать по утрам сладко спавших в саду академии учеников. Будильник же Леонардо да Винчи был сделан им для собственного пользования, а с собой изобретатель церемониться не привык, поэтому его будильник, молча, без всякого предупреждения, перевертывал в заданное время постель своего хозяина, сбрасывая спящего Леонардо да Винчи на пол.

После этих курьезов, уже больше не отвлекаясь, он бы убедительно и аргументированно доказал, что если существование Ивана Грозного ни у кого не вызывает сомнений, то с часами Бомелия дело обстоит совсем иначе. Каждому разумному человеку ясно, что волшебных часов нет и никогда не было, а существовали только хорошие часы и плохие, причем плохих всегда было почему-то значительно больше...

Василий Петрович улыбнулся и спросил меня:

— Какой же из этих трех вариантов вы бы предпочли — первый?

— Безусловно, — подтвердил я, — детективный мне кажется наиболее удачным. Кроме того, видимо, следует учесть, что рисунок часов Бомелия удостоился чести оказаться в музее уголовного розыска, а Усольцев, на-

сколько я понял, имеет ко всей этой истории самое непосредственное отношение.

— Вы правы, — согласился Василий Петрович. — И все же я бы предпочел что-либо иное...

— Может быть, тогда начнем с Бомелия?

Василий Петрович помолчал и спросил:

— А что, если я начну с четвертого варианта?

— То есть?

— С большой комнаты в нашей квартире, которую отец шутливо именовал «ларцом времени». В ней находилось более двухсот часов.

— Хотя значительная часть моей жизни прошла в музеях, — сказал Василий Петрович, — я никогда и ничего не коллекционировал. Но коллекционеры всегда вызывали у меня глубокое уважение.

Сколько в мире самых разнообразных музеев, и каких только нет в них экзотических коллекций!

...В Мюнхене вашу любознательность удовлетворит великолепный музей игральных костей. В Стамбуле — музей истории ислама, где вы можете полюбоваться священным зубом пророка, несколькими волосками из его бороды и «личным» письмом Магомета к повелителю Эфиопии.

Мне думается, что каждый из этих — и сотен других — музеев имеет, как принято говорить, право на существование. Игральные кости, например, высвечивают одну из граней человеческой натуры — чувство азарта. Удовлетворяют они и эстетические потребности: среди экспонатов попадаются подлинные произведения искусства, созданные талантливейшими мастерами. Кроме того, как известно, кости и карты послужили толчком к созданию теории вероятностей, и этот факт вызывает к ним невольное уважение.

Итак, и коллекционеров и музеи следует всячески приветствовать. Но при всем том свою шляпу я сниму не у входа в собрание игральных костей, а только у подъезда Лувра, Эрмитажа или... музея часов.

Мона Лиза и пузатый будильник — крамола, не правда ли? А ведь в том же Лувре наряду с шедеврами живописи и скульптуры вы обнаружите скромные пружинные часы, которые там хранят с не меньшим благоговением, чем шедевры Рубенса, Рафаэля или Веласкеса. Это первые пружинные часы Франции, изготовлен-

ные прославленным часовщиком Жаком де ля Гарде в Блуа в 1561 году. Гордостью нюрнбержцев и самым ценным экспонатом музея города считаются бронзовые настольные часы с готической двухбашенной кафедральной архитектурой и механизмом боя. Это одни из самых древних пружинных часов в мире. Они сделаны в 1430 году. Мало того! По некоторым сведениям, великий немецкий живописец Альбрехт Дюрер не меньше увлекался часовым делом, чем живописью. Много сил, времени и своей фантазии отдали часам Платон и Пифагор, Леонардо да Винчи, Галилей и Николай Коперник, который занимался конструированием так называемых зеркальных солнечных часов, отражавших солнечный луч зеркалом на циферблат, расположенный на стене дома. Такой циферблат, кстати, сохранился до наших дней на замке в Ольштыне.

Так что перед входом в музей часов стоит снять шляпу.

Часы для меня — символ жизни и прогресса. Секундами, минутами и часами измеряется все, начиная с человеческой жизни. Жить без времени и вне времени нельзя. Оно бесстрастно и неподкупно, мудро и справедливо.

С помощью приборов, созданных тысячи лет назад, человечество определяло время сна и бодрствования, великих открытий и великого позора, благословенные часы любви и вдохновения, часы слез и смеха, подвигов, войн, созидания и разрушения.

Глупцы думали, что время можно обмануть. Мудрецы смеялись над ними. Они понимали: это безнадежно.

Я уже говорил о клепсидрах (так называли водяные часы). Простейшие из них очень напоминают песочные. Капля за каплей вытекала вода из маленького отверстия, сделанного в дне сосуда. Такими клепсидрами в Риме и Древней Греции измеряли выступления ораторов. И глупые подкупали служителей клепсидр. За золото хранители времени так сильно суживали отверстие на дне сосуда, что подкупивший мог говорить в два раза дольше других. Но ни Демосфен, ни Цицерон никогда не прибегали к подобным трюкам. Поэтому они и стали великими ораторами. Они знали: если оратор не убедил людей короткой речью, то лишь вызовет их раздражение длинной.

Часы водили кистью Рафаэля, пером Льва Толстого и смычком Паганини. Они подгоняли великих творцов,

напоминая им о том, что время быстротечно и его нельзя вернуть.

«Помните о смерти и торопитесь», — говорили они.

И творцы торопились сделать на земле все, что им было предначертано.

Они разрабатывали философские системы, сочиняли музыку, создавали романы, осваивали новые методы лечения людей, учились летать, писали картины и опускались на дно океана. Исследовали микрокосмос и макрокосмос.

Часы и люди... Об этом можно было бы написать философский трактат. Но вернемся к «ларцу времени».

Отец стал коллекционировать часы еще мальчишкой. Началось с того, что как-то дед подарил ему пять карманных часов времен первой французской революции. Это были необычайные часы. Их задача заключалась не столько в том, чтобы показывать время, сколько в том, чтобы засвидетельствовать политические симпатии своих владельцев. Тогда во Франции по прическе, одежде и часам определяли партийную принадлежность граждан: якобинцы носили длинные белые панталоны, синие фраки с острыми фалдами, синие плащи и красные фригийские колпаки. На крышке их часов чаще всего красовалось изображение гильотины — сурового стража революции. Термидорианцы предпочитали фрак с закругленными фалдами, короткие, по колено штаны и высокий зеленый галстук. Они носили часы-луковицы с цепочкой, украшенной многочисленными брелоками. Приверженцы короля пудрили и тщательно завивали волосы, а из-под короткого жилета у каждого из них свисали цепочки двух карманных часов с изображением лилии или золотой королевской короны...

Вскоре к дедовским часам присоединились подаренные теткой два гномона. Один из них, судя по стрелке, указывающей направление к Мекке, был в давние времена сделан правоверным мусульманином. Другой же гномон, цилиндрической формы, легкий и изящный, с некоторыми элементами готического стиля, по мнению часовщика тетки — ничем, впрочем, кроме рассуждений, не подтвержденному, — являлся детищем самого Альбрехта Дюрера.

Затем отец после посещения вместе с дедом ярмарки стал полноправным владельцем десяти веселых и ярких, как бабочки, «ходунцов», или «екальщиков», изготовленных в Звенигородском уезде Московской губернии куста-

рями деревни Шарапово. Были «екальщики» с кукушкой, со звонкоголосым петухом, с медведем, который каждый час высовывался из берлоги. На одном из «екальщиков» красовалось что-то вроде астрологического календаря с соответствующими таблицами, из которых легко было узнать, когда следует «кровь пущать, мыслить почать, жену любить или бороду брить».

Другой «екальщик», сделанный тем же мастером, прославлял грамматику: «Кто книжная писмена устраяет, или стихи соплетает, или повести изъясняет, или послания посылает... то все мною, грамматикою, снискает».

На ярмарке были приобретены и бронниковские карманные часы, которыми отец всегда очень гордился. Бронников, вятский часовщик, вместе со своими сыновьями изготовлял деревянные карманные часы, в которых не было ни одной металлической детали. Из жимолости он делал стрелки, из бамбука — пружинки, корпус вытачивал из березового нароста, так называемого капа, на шестеренки шла пальма. Заинтересовал этими часами устроителей вятской губернской торгово-промышленной выставки Александр Иванович Герцен, у которого были бронниковские часы, но не карманные, а настольные.

Не знаю, как вели себя бронниковские часы у Герцена, но у отца они прослужили около семидесяти лет. Срок для часов немалый. В сутки они отставали на минуту. Грех жаловаться и на «екальщиков». Вон, полюбуйтесь!

Василий Петрович показал на стену, где весело размахивали ажурным маятником голубые часы в форме избушки.

— Будто молодые, а? А ведь им, голубчик, за сто. Неграмотный кустарь делал — Ферапонт Савельевич Качкин.

Увлечение отца часами передалось, естественно, и мне. Задолго до того, как получить доступ в «ларец времени», я уже неплохо разбирался и в самих часах и в их истории.

Подними меня посреди ночи — и я тут же без малейшей запинки отбарабаню, что первые механические башенные часы были построены в Вестминстерском аббатстве в 1288 году.

Я мог бы с закрытыми глазами нарисовать детальные схемы двух клепсидр древнегреческого механика Ктезибия Александрийского, который первым использовал

зубчатый механизм для передачи сил и движения, то есть осуществил идею Аристотеля.

Рядом с моей кроватью стояла деревянная восьмигранная палка с металлическим наконечником. В ручке ее было четыре отверстия. Когда ко мне приходили товарищи по гимназии, то я им со вкусом объяснял, что это не просто палка, а индийские дорожные солнечные часы — ашадах. Я показывал, как такими часами следует пользоваться, в какое отверстие, в зависимости от месяца, нужно вставлять металлический штырь, который при вертикальном положении ашадаха будет отбрасывать тень на шкалу, указывая время. И если мои слушатели тотчас же не исчезали, то я тащил их к этажерке, на которой были расставлены «огненные часы» моего собственного производства.

Вы, конечно, никогда не слышали про такие часы? Между тем огненные часы, или огневые, как вам будет угодно, были достаточно широко распространены не только в Азии, но и в Европе, где появились, видимо, в конце двенадцатого века. Самые простейшие среди огневых часов — свечные. То есть бралась тонкая свечка, и вдоль нее наносилась шкала времени. Свечные часы были обычно длиной около метра. За ночь выгорало три-четыре свечи.

Я очень гордился тем, что сделанные мной огневые часы показывали время с точностью до пяти минут.

А в четвертом классе гимназии отец торжественно вручил мне ключ от «ларца времени». То ли он решил поощрить мои успехи в науках, то ли пришел к выводу, что я созрел для того, чтобы оценить его коллекцию, — не знаю. Но как бы то ни было, а ключ оказался у меня. И я, разумеется, тут же им воспользовался.

«Ларец времени» ошеломил меня.

Как завороженный я застыл перед витриной, где покоились на подушечках самых разнообразных форм карманные часы: круглые, квадратные, многоугольные, в виде арф, тюльпанов, корон, толстых монахов; часы с миниатюрными портретами, натюрмортами и жанровыми сценками на крышках, отделанные эмалью, серебром, перламутром, фарфором.

Я не мог оторвать глаз от каминных бронзовых часов, изображавших прекрасную Пандору со шкатулкой, в которой заперты человеческие несчастья. Мчится, будто в предчувствии беды, по циферблату, вделанному в шкатулку, секундная стрелка. Секунда, вторая, третья...

Еще мгновение — и откинет Пандора крышку, а из шкатулки вылетят все людские беды. Останется в ней на дне лишь надежда, которая отныне будет заменять людям счастье...

Рядом с этими часами — другие, тоже каминные. Они изображают готовящегося взлететь со скалы орла. Скала, в центре которой циферблат часов с одной часовой стрелкой, густо покрыта медальонами с разноцветной эмалью. Это гербы русских городов и губерний.

Плывет по серебряной воде золотой варяжский корабль под парусом с семью гребцами — это герб костромичей. У пермяков — серебряный медведь на красном фоне. Идет себе мишка не спеша и несет на спине золотое Евангелие. На серебряном щите герба Иркутской губернии — черный бобр, держащий в зубах соболя. У богатых рыбой саратовцев и герб соответствующий — три серебряные стерляди на голубом щите многоводной Волги. У тамбовцев — серебряный улей и три пчелы. А на гербе Тобольской губернии — атаманская булава, на которой украшенный драгоценными камнями круглый щит Ермака да казачьи знамена на острых древках...

И чего только не было в «ларце времени»!

Модель часов с органом, соловьем и кукушкой, которые сделал для царя Михаила Романова мастер Мельхерт, за что и получил невиданное по тем временам вознаграждение — три тысячи рублей.

Часы-диорама, изображающие средневековый замок, часы-кубок; часы львовского мастера семнадцатого века Каминского, где на зубцах каждой шестеренки гравюры; «астрономические часы» русского умельца Ивана Юрина!

Воспользовавшись отсутствием отца, который был в гостях, я допоздна засиделся в этой комнате.

Мне казалось, что я не пропустил ничего более или менее примечательного. А на следующий день, когда отец поинтересовался моими впечатлениями, выяснилось, что на самое главное я как раз и не обратил внимания...

Во-первых, часы Аракчеева, удостоившиеся чести попасть в энциклопедический словарь, и часы первой, и покуда последней, женщины на посту президента русской Академии наук Дашковой, которые такой чести не удостоились. И теми и другими часами отец очень гордился.

Что касается часов графа Аракчеева, то ни они сами, ни их умилительная история особого впечатления на меня не произвели.

После смерти в 1825 году Александра I Аракчеев заказал часы с бюстом своего благодетеля одному из лучших часовщиков Парижа. Часы были сделаны без особой выдумки, но добротно и со вкусом.

Самым примечательным в этих часах было выложенное в нижней половине циферблата число 1925.

Дело заключалось в том, что в 1833 году Аракчеев, желая увековечить Александра I, а заодно и себя, внес в государственный заемный банк весьма солидную по тем временам сумму — пятьдесят тысяч рублей. До 1925 года эти деньги вместе с начисленными на них процентами никто не имел права трогать. А в 1925 году три четверти образовавшегося капитала должны были быть выплачены в качестве премии тому, кто напишет лучшую историю царствования Александра I. Четверть же предназначалась на достойное издание этого труда...

Но в двадцать пятом году претендентов на эту премию, естественно, уже не было. История всех русских самодержцев в 1917-м была полностью и окончательно завершена Великой Октябрьской социалистической революцией.

Значительно большее впечатление произвели на меня часы княгини Дашковой. Дашкова получила в подарок от мастеров академии часы в виде богини правосудия с весами в руках. На одной чаше весов находилась Венера, любующаяся красотой стоящих перед ней мужчины и женщины. А на другой — плаха и палач с топором.

— Итак, — сказал я, — во-первых, вы не обратили внимания на часы Аракчеева и Дашковой. А во-вторых?

— А во-вторых, я не придал никакого значения столику, который стоял в простенке между двумя окнами. Между тем этот столик предназначался для часов, которые отец начал разыскивать еще до моего рождения и за которые готов был отдать всю свою коллекцию.

— Что же это были за часы?

— Не торопитесь, голубчик. Приготовьтесь лучше к путешествию. Мы сейчас с вами отправимся по следам легенды в Москву 1584 года.

Ни на что не был похож этот год, последний год царствования на Руси царя и великого князя Иоанна, по батюшке Васильевича, а по прозванию Грозного.

Уже наступил март, а зима и не думала униматься. Хлещет ветер по плотно закрытым ставням приземистых домов, валит заборы, будки сторожей у бревен-колод, перекрывающих улицы от лихих людей, ломает деревья.

Просвистев над валом Земляного города, в неуемной свирепости своей обрушивается он на толстые кирпичные стены и башни Великого посада, а ныне Китай-города.

Не под силу ему стены. И, забив снегом бойницы всех четырнадцати башен Китай-города, тараном бьет он по воротам.

Не смиряется и перед Теремным дворцом самого Иоанна Васильевича Грозного...

Нет-нет, а и застонут под его свирепым натиском не только Курятные, Колымажные или Воскресенские ворота дворца, но и Золотые, с башнею.

А почему? Тут и дурак сообразит.

Неспроста морозы и метели. Вершит сие душа злого чернокнижника, дьявольского механика и дохтура царя Иоанна Васильевича, немчины Бомелия, казненного Грозным.

Это он, Бомелий, ветром высвистывает, снегом кидается, морозом московских людей, будто тараканов, вымораживает.

Все небо застил злой еретик. Сумрачно над Москвой и тревожно. А вглядись в снежную круговерть — и увидишь его богомерзкую рожу. Кривляется и язык свой змеиный, раздвоенный, православному народу показывает. Дразнится да грозится: «Уж доберусь я до вас! Ох доберусь! У-у-у!»

Что будешь делать? А говорили — помер. Может, и помер, да не вконец, ежели такое вытворяет. Не зря, видать, знающие люди говорят, что злая душа волхва в его волшебные часы переместилась. А часы-то не где-нибудь тикают, а в самом дворце государевом, рядом с Иоанном Васильевичем. Отсюдова и все напасти.

Казнить бы царю-батюшке эти часы, на плаху их отправить. А он все в нерешительности пребывает. Память о волхве, видать, в сердце хранит. А часам Бомелия только того и надо.

Ишь как вьюга на все голоса завывает!

Да, большую власть имел при царе Бомелий. Уж на что Малюта Скуратов у Иоанна Васильевича в почете был, а и тот при дохтуре особо не куражился. Опасался

Бомелия и его часов. Большая власть была у еретика. Что, бывало, шепнет Бомелий, то Иоанн Васильевич и выполнит. Так и летели головы под топором палача...

Много православной крови по наветам свирепого волхва было пролито. Ежели бы ту кровь всю собрать и в Неглинку влить, красной бы стала та речка и из берегов своих вышла.

А когда надоело рубить головы и на кол сажать, то научил Бомелий Иоанна Васильевича ядом людей травить. И не сосчитать, скольких потравили!

Долго свирепствовал чародей и часовщик. Однако пришел и его черед.

То ли опасался Иоанн Васильевич, что Бомелий может свое зелье не только другим, но и ему самому в питье подмешать. То ли донес кто на волхва, что ворует он против государя и имеет тайную переписку со злейшим врагом Иоанна Васильевича польским королем Стефаном Баторием. А может, просто не видел еще Иоанн Васильевич, как волхвы помирают, и любопытство его одолело.

Да только приказал царь и великий князь своим верным слугам незамедлительно и безволокитно схватить Бомелия и бросить в темницу. Но, видно, тому его волшебные часы подсказали, что быть великой беде. Верно те часы хозяину служили, почище какой собаки. Собрал быстренько Бомелий свои пожитки — и в бега ударился. До самого Пскова довели его часы, а в Пскове промашку дали — праведник повстречался. Ну а на праведника никакое волшебство не действует. Тикнули часы и остановились. В тот же миг опознали Бомелия. Заковали в цепи и в Москву повезли. Здесь у него первым делом царь часы отобрал, чтоб они больше волхву ни в чем помощь не оказывали. А затем отдал Бомелия палачу. Часы Бомелия, что в Теремном дворце находились, кряхтели. По-человечьи стонали. И катились по звездчатому восьмиугольному циферблату со знаками зодиака капли алой крови, будто не волхва пытали, а его машину дьявольскую.

Пожалел, говорят, верные волхву часы Иоанн Васильевич и велел он пытки Бомелия прекратить незамедлительно. Сказано — сделано. Объявили злодею царскую милость и определенную Иоанном Васильевичем казнь — быть Бомелию зажаренным на вертеле. Вот тут-то еретик и не смолчал. Заговорил Бомелий. Так заговорил, что у палачей от его слов поджилки затряс-

лись. Да, не в христианском смирении помер злой еретик. В дьявольском гневе помер. Проклял он своего благодетеля и многое страшное предрек ему. А часы Бомелиевы, которые по велению царя были принесены, дабы могли проститься со злым волхвом, все поддакивали своему хозяину: «Так, так, так, так...»

Сказал Бомелий, что недолго жить царю, что помрет он в марте 1584 года, о чем волшебные часы знак дадут. Сделал Бомелий пророчество и о самих часах волшебных.

Спросили волхва: в какой день помрет Иоанн Васильевич и какой знак об этом часы волшебные дадут. Этого Бомелий по злобности своей сказать не захотел — помер.

И так повернулось, говорит легенда, что все, о чем сказал еретик, стало сбываться. И неудачи ратные. И смерть сына от отцовской руки. И унижение великое...

К 1584 году Иоанн Васильевич тяжко заболел. Съехались в Москву лекари, а вместе с ними и волхвы. Лекари лечили. Попы да монахи молились. Волхвы меж собой спорили: под чьим покровительством находится царь — солнца или луны. А бояре — те выжидали...

Нет, не зря из метельной круговерти подмигивал православным продавший черту душу дохтур Бомелий. Не зря. Знал звездочет, что смерть уже где-то недалече.

Проскочила, верно, безносая вместе с ветром через Фроловские ворота в Кремль. Взобралась неслышно на крыльцо Красное и уж по Святым сеням, а то и по Большой золотой палате бродит.

А может, уж и в покоевых хоромах озорница — в Крестовой палате или в опочивальне царя-батюшки, где на витых столбиках под шатром его кровать стоит?

Воет. Надрывается. Криком кричит метель. Улюлюкает, грозится: «Что, испугались? Я вас!..»

В смятении и страхе затаились люди московские. О завтрашнем дне не загадывают — пережить бы сегодняшний.

Только в царских дворах будто ничего и не ведают. То ли не слыхать здесь, что за стенами творится, то ли слышать не желают.

И в Теремном дворце все как положено.

Внятно и истово клянется, косясь на царских опричников, которые теперь и не опричники вовсе, а люди дворовые, новый стольник: «Ничем государя в естве и в питье не испортити, зелья и коренья лихого ни в чем

государю не дати, и с стороны никому дати не велети, а лиха никакого над государем никоторыми делы и никаторою хитростью не делать...»

Вроде бы ни к чему присяга: и захотел бы стольник, да не смог бы навредить царю. Каждое блюдо спервоначала отведывал повар в присутствии дворецкого или стряпчего. Затем его принимали ключники. Потом его пробовал дворецкий, а перед тем как поставить на стол перед Иоанном Васильевичем — кравчий.

Но порядок есть порядок. Каждый при своем деле. И каждый опасается попадаться на глаза государю...

Грозней прежнего царь. И лицом потемнел, будто и не русский царь, а эфиопский какой.

Плохую весть услышал Иоанн Васильевич от волхвов вещих, доставленных из глухих поморских деревень любимцем царским Бельским. Не снять им заклятия Бомелиева. Ждет смерть царя и великого князя. И придет она за ним через неделю — 18 марта.

А 18 марта, в тот самый день, на который волхвы поморские смерть ему предопределили, проснулся Иоанн Васильевич бодрым да здоровым. Будто и не хворал вовсе. Ел и пил обильно. Приказал мовным истопникам мыленку истопить да по полкам и лавкам душистых трав и цветов положить, а по полу можжевельник разбросать. В мовных сенях, где в переднем углу — поклонный крест и икона, перекрестился — и в мыленку. Час, не менее того, в мыленке парился. Румяный вышел, с просветленным лицом.

Долго беседовал с Богданом Яковлевичем Бельским, коего прочил по смерти своей в помощь скудному разумом Федору Иоанновичу.

Много было у Бельского врагов и всего лишь один покровитель. Зато звали того покровителя царем и великим князем Иоанном Васильевичем. Верно служил ему оружничий: и за страх, и за совесть.

Радостный стоял перед царем Бельский: по всему видать, отступилась смерть. Испугалась, верно. Не зря Иоанна Васильевича Грозным прозвали.

Многих лет тебе, великий государь!

Выходит, своровали против тебя волхвы-злодейники, измыслив, что сегодня тебе помереть суждено.

Ну погодите, бесстыдники!

И поняв, о чем думает его верный слуга («Покуда верный», — поправил сам себя Иоанн Васильевич), послал царь Бельского к волхвам сказать, что быть им за

злочестивое предсказание на костре сожженными или живьем в землю зарытыми.

Только не испугал волхвов тем царским повелением Богдан Яковлевич Бельский. Поднялся неспешно с лавки самый старый волхв со снежными волосами — сам будто из снега вылепленный — и молвил:

— Не гневайся понапрасну, боярин! День только что наступил, а кончится он солнечным закатом...

Понурил голову Бельский и вышел из палаты волхвов, где царем и великим князем был не Иоанн Васильевич, а древний старец со снежными волосами.

Иоанн же Васильевич тем временем, сидя в кровати в своей опочивальне, шахматные фигурки, из кости резанные, на доске расставлял. Все расставил. Кроме короля черного... Не стоял король на доске — падал.

Шесть раз ставил его Иоанн Васильевич. А когда поставил в седьмой, звонко, во весь голос закричал в опочивальне петух. Да так громко, что всюду его услышали: и в тереме царицы, и в Казенном дворе, и в Житном, и в Конюшенном. И в мастерской палате, и в портомойне.

Откуда же петух в царской опочивальне?

Сбежались слуги. Глядят — нет петуха. И только тогда поняли, что то не петух кричал, а часы злого волхва Бомелия. Знак часы подавали, что пришла смерть за Иоанном Васильевичем.

— Ки-ки-ри-ки-и-и! — вновь закричали часы. Закудахтали, захохотали так, что мороз по коже. И смолкли. Ни звука. Даже тикать перестали.

Глянули люди на кровать — и увидали за отдернутым пологом златотканым Иоанна Васильевича. Лежал поперек кровати, запрокинув голову, бывший царь и великий князь всея Руси и сжимал в мертвой руке шахматного короля... Так и не успел утвердить его на доске Иоанн Васильевич: смерть помешала... Чего ей не терпелось, безносой?!

Так говорится в легендах о царевой кончине.

И вновь закрутилась, завертелась метель. Вприсядочку пошла снежная по холмам, по рвам да по колдобинкам. И-и-эх! И вновь из снежной круговерти словно бы выглянуло лицо Бомелия. Только не злобился и не кривлялся злой волхв. Улыбнулся людям московским — не робейте, мол, ребята! — и исчез. Навеки исчез. Будто его никогда и не было.

Погребли Иоанна Васильевича, как и пристало царям, в Архангельском соборе, рядом с убитым им сыном

Иоанном Иоанновичем. А вдове Бомелия, за которую самолично королева Елизавета просила, разрешили покинуть Русь, не учиняя ей никакого бесчестия.

Уехала она в Аглицкое королевство, откуда родом была. И увезла с собой волшебные часы казненного мужа. В том ей не препятствовали. Ни к чему такие держать. Одно беспокойство от них. А за временем можно следить и по «воротным» часам, что на ворот вешают, и по «гирным», что на стенах в хоромах висят.

Да мало ли во дворце часов всяких!

— А теперь поговорим о легендарных пророчествах Бомелия, — сказал Василий Петрович. — Мы с вами еще не исчерпали их. Самые интересные, имеющие непосредственное отношение к столику, который стоял между двумя окнами в «ларце времени», я оставил напоследок. Помимо уже перечисленных мною пророчеств, врач и астролог Грозного предрек также, что часы после его смерти семь раз сменят своего хозяина и каждому принесут несчастья. Зато ярким факелом вспыхнут в жизни восьмого, объявив о рождении дивного часовщика, которому не было равных в мире.

Так что нам с вами предстоит вкратце ознакомиться с приключениями этих часов.

Итак, первым владельцем часов после волхва стал русский царь и великий князь Иоанн Васильевич. Как мы уже убедились, это приобретение ничего, кроме неприятностей, ему не принесло.

Не дали часы радости и вдове Бомелия. Вернувшись в Лондон, где она некогда обручилась с астрологом из Вестфалии, и не имея средств к существованию, вдова решилась на продажу привезенных из России часов.

Часами Бомелия заинтересовался известный лондонский антиквар Джон Стоу, прирожденный, а главное — бескорыстный коллекционер, доступ к коллекции которого был открыт для всех желающих.

Стоу не собирал часов, но для этих он сделал исключение. По его мнению, они являлись прекрасной иллюстрацией истории часового дела и... истории папства.

Папа Сильвестр II был ученым-богословом, механиком и... часовщиком, которому приписывают изобретение колесных механических часов. Правда, последнее многократно ставилось под сомнение.

В свободное от основных дел время папа сконструи-

ровал и собственноручно изготовил великолепные часы с необычным восьмиугольным циферблатом и знаками зодиака, с помощью которых можно было предсказывать судьбу.

Не берусь судить, как и на основании каких именно примет Джон Стоу установил авторство Сильвестра II, да, видимо, это не так уж и важно. Но часы Бомелия, по его убеждению, принадлежали некогда Сильвестру. Поэтому взамен часов вдова астролога получила круглую сумму.

Но эти деньги ее не спасли и не могли спасти. Своим семи владельцам часы, по предсказанию Бомелия, должны были принести несчастье, и они не собирались подводить своего бывшего хозяина...

Через несколько лет, когда деньги кончились, вдова вынуждена была нищенствовать.

А в те годы нищенствовать в Англии строго запрещалось. Каждый англичанин обязан был или благоденствовать, или тихо и благопристойно умирать где-нибудь на задворках, не оскорбляя лохмотьями и гнусным видом своих более удачливых сограждан.

Ежели он пренебрегал законом, то вначале его подвергали клеймению и отдавали в рабство на два года. При вторичной же поимке ему угрожало вечное рабство или смертная казнь. Но вдове повезло: повесить ее не успели — она скончалась от голода. А за год до смерти она неожиданно встретила недалеко от старинной церкви святого Варфоломея Джона Стоу. Увы, часы ее покойного мужа и здесь уже успели сделать свое черное дело...

От Стоу, недавнего богача, она узнала, что, растратив деньги на коллекции, он разорился и остался без средств к существованию.

Но ведь ему, Стоу, удалось сохранить от уничтожения важнейшие документы по истории Англии! Его заслуги перед страной и королем общеизвестны. Разве король, да благословит его бог, оставит мистера Стоу в беде?!

Оказалось, что Стоу уже обращался за помощью к сыну обезглавленной Марии Стюарт Якову I.

Король не остался равнодушен к случившемуся.

Его величество, проявив свойственное ему благородство и великодушие, разрешил в виде исключения антиквару Джону Стоу... «в награду за тяжелые труды питаться доброхотною милостынею соотечественников...».

Стоу теперь не угрожали ни рабство, ни клеймение,

ни виселица: когда он стоял на улице с протянутой рукой, его не имел права прогнать ни один королевский стражник.

Нет, не зря он потратил свои деньги на коллекции!

К сожалению, соотечественники, занятые своими неотложными делами, совсем не обращали внимания на старика, стоящего с протянутой рукой на улице. Им было не до него.

Джон Стоу, как свидетельствуют энциклопедии, умер на лондонских улицах в 1605 году... Годом позже закончилась жизнь вдовы Бомелия.

Часы не оплакивали умерших. Бронзовые, с восьмиугольным циферблатом, созданные искусством то ли Бомелия, то ли папы Сильвестра II, они неуклонно выполняли волю своего злого хозяина. Трое их владельцев уже нашли свою смерть. И часы, отсчитывая время, ждали очередную жертву. Так гласит неумолимая легенда.

Их новой жертвой стал жизнерадостный человек с маленькими глазками и таким большим ртом, что в него бы свободно влез Тауэр. Его звали Брандом. Бранд приобрел часы, и вскоре они, покинув Лондон, оказались в Гамбурге.

Веселый немец с маленькими глазками и большим ртом успел за свою жизнь переменить немало занятий. Хенниг Бранд был солдатом, костоправом, лекарем, купцом. И во всем ему не везло. Но Бранд был по натуре оптимистом и считал, что у него еще все впереди, а как известно, люди такого рода — самые счастливые люди на земле.

Бранд не сомневался, что его ждут слава и деньги. Много, много денег. Да и как может быть иначе, если он узнал из достоверного источника, что философский камень не сумеет изготовить только идиот.

В этом Хенниг Бранд убедился, прочитав малоизвестный трактат славного алхимика Иоанна Исаака Голланда «Простой способ приготовления философского камня из мочи».

Именно для занятий алхимией Бранду и потребовались астрологические часы с восьмиугольным циферблатом. Тщательно проштудировав трактат Иоанна Исаака Голланда, гамбургский купец взялся за дело.

После одного из опытов Хенниг Бранд обнаружил в тигеле светящуюся пыль, которую купец-алхимик принял за «элементарный огонь», или «первичную материю». В действительности же Бранд открыл фосфор... Имя не-

удачника алхимика вошло в историю химии. Что же касается денег, то они золотым дождем посыпались в карманы других, более предприимчивых деятелей, которые сразу же поняли, какую выгоду можно извлечь из открытия незадачливого купца...

Короче говоря, вскоре часы вновь переменили своего хозяина.

Пятый владелец часов нам неизвестен. Зато мы располагаем некоторыми, правда, сомнительными сведениями о других.

В начале XVIII века часы Бомелия оказались у придворного часовщика герцогини Курляндии. Питер Гофман, как и несчастный Стоу, считал, что приобретенные им часы сделаны римским папой Сильвестром II. Будучи человеком тщеславным, а возможно, просто увлеченным своим делом (были и такие часовщики), он решил превзойти своим искусством Сильвестра II и создать для герцогини часы, которым нет равных. А для этого, естественно, требовалось вначале познакомиться с устройством римских часов.

Разобрать хитрый механизм Гофману удалось довольно быстро. Собрать же его заново оказалось делом сложным, тем более что Гофман стал ощущать легкое недомогание. Но все же часовщик не отступил. Однако часы герцогине он сделать все-таки не смог: «легкое недомогание» превратилось в болезнь. Болезнь эта называлась проказой...

Еще совсем недавно того, у кого обнаруживали проказу, отводили в церковь. Там его укладывали на катафалк, накрывали черным сукном. А затем несчастного заживо хоронили.

Теперь такого обряда не исполняли, но суть от этого не менялась. И на следующий же день Гофману было предписано покинуть столицу герцогства — Миттаву, что он и сделал, не забыв перед своим исчезновением продать злосчастные часы приехавшему к герцогине Курляндии члену Верховного тайного совета Российской империи Василию Лукичу Долгорукову.

Тут, видимо, самое время сказать, кем была курляндская герцогиня, для блага которой так старался придворный часовщик.

Анна Иоанновна приходилась племянницей русскому царю Петру I, которого именовала «батюшкой-дядюшкой». Дочь брата Петра, кроткого разумом Иоанна, осенью 1710 года была выдана замуж за курляндского гер-

цога Фридриха Вильгельма, но уже через два-три месяца он скончался. И Анна Иоанновна провдовствовала в скучнющей Миттаве без малого двадцать лет.

А затем произошли события, от которых могла закружиться голова не только у курляндской герцогини.

Умер Петр II, и члены Верховного тайного совета стали думать, кого посадить на трон.

Долго судили да рядили «верховники» и пришли к выводу, что лучше Анны Иоанновны царицы им не сыскать.

Всем хороша.

Во-первых, ни в государственных науках, ни в каких других не сведуща. Разве что в танцах еще в девках преуспела. И то не слишком — всегда в теле была. Во-вторых, за двадцать лет прозябания в Миттаве и русский язык подзабыла, и немецкому из-за природной лености не научилась. В-третьих, не больно умом остра. В-четвертых, в забавах безобидна. Любит герцогиня из ружей палить. Говорят, в своей Миттаве всех ворон перестреляла — теперь гонцы из других государств сих птиц привозят. А по вечерам — единая утеха — сказки... В общем, в качестве императрицы Анна Иоанновна полностью устраивала Верховный тайный совет.

Но все-таки решено было лишний раз остеречься. Береженого, как известно, бог бережет.

Чтобы получить из рук членов Верховного тайного совета корону Российской империи, герцогиня обязана была предварительно подписать «кондиции» (условия).

По этим кондициям Анна должна была воздержаться от замужества (совет уж сам разберется, кому надеть корону после ее смерти).

Императрице без согласия совета запрещалось начинать войну и заключать мир, жаловать вотчины и деревни, накладывать подати. Возбранялось также брать с собой в Россию фаворита — Эрнеста Бирона.

Анна Иоанновна, выслушав князя Василия Лукича Долгорукова, на время даже дара речи лишилась.

А тем временем купленные князем часы из легенды, не мешкая и не торопясь, деловито отсчитывали оставшиеся ему часы жизни: «Тик-так, ваше сиятельство! Вот так, ваше сиятельство!»

На все была готова Анна Иоанновна, лишь бы надеть поскорей на голову шапку Мономаха.

А затем... Затем, «внимая мольбам верноподданных», разорвет она на мелкие клочки «кондиции» Верховного

тайного совета... И лишат тогда Василия Лукича Долгорукова всех его высоких чинов, заточат в Соловецкий монастырь. Потом же повезут в Новгород, и покатится, подпрыгивая, его голова по деревянному помосту на потеху зевакам, пришедшим посмотреть, как казнят именитого князя по повелению императрицы Анны Иоанновны.

Был Василий Лукич Долгоруков седьмым владельцем часов, которые неуклонно выполняли то, что предсказал перед своей смертью злой волхв и чернокнижник, доктор и механик Бомелий, пытанный и казненный во времена Иоанна Васильевича Грозного.

На лице Василия Петровича не было видно сочувствия члену Верховного тайного совета князю Долгорукову. Я бы даже сказал, что Василий Петрович слегка злорадствовал. Он не выносил мошенников, а князь был замешан во многих весьма грязных историях.

— Итак, сейчас вы должны рассказать о восьмом владельце часов и рождении «дивного часовщика»?

— Совершенно верно.

— Куда же мы теперь направим свои стопы?

— Новый владелец часов — Михаил Костромин, — сказал Василий Петрович, — сын купца из Нижнего Новгорода, но часы Бомелия он приобрел в Петербурге, куда приехал по торговым делам своего отца. Так что у нас две возможности. Нижний Новгород или Петербург, как считаете?

— На полное ваше усмотрение.

— Я бы предпочел Петербург, — сказал он. — Побродить по Петербургу тридцатых годов XVIII века — одно удовольствие. Кругом чистота и порядок. Еще задолго до восхода солнца петербургские дворники успевают убрать с проезжей части улиц и деревянных мостков сор, поправить вывалившиеся из мостовой камни и все протереть до блеска. Не в каждой горнице так прибрано. Глянешь — сердце возрадуется. И объясняется это, скажу по секрету, не повышенной тягой петербуржцев к чистоте, а установленными Петром I правилами. Попробуй пренебречь ими! С нерадивых домовладельцев взыскивали по две деньги за каждую сажень неубранной улицы. А если кто подтихую сбрасывал собранный мусор в воду, засоряя Неву и прочие реки, то его нещадно били кнутом, а затем отправляли на вечную каторгу.

Многим Петербург отличался от Москвы. Не было здесь бесконечных московских заборов с тяжелыми дубовыми воротами под двухскатной крышей с тусклым медным крестом. Город пренебрегал и плетнями, и калитками. Он жил нараспашку. Здесь все было на виду: жизнь, смерть, роскошь, голод. Торчали у застав густым частоколом надетые на копья головы лихих людей, что шалили в окрестностях города, а то и на самой Невской першпективе.

Возили старухи на розвальнях крышки от гроба, собирая деньги на похороны. Кричали зазывалы у балаганов. Мчались по Невской першпективе золоченые кареты с лакеями на запятках, тяжелые берлины, неуклюжие рыдваны, скрипучие колымаги.

Вдоль Невы, словно солдаты на вахтпараде, выстроились в шеренгу дворцы, освещаемые смолевыми бочками и плошками с салом. На Охте и Крестовском острове — ледяные горы, с которых скатываются с визгом и криками на лубках и ледянках. А на Неве вовсю кипит кулачный бой охтян с фабричными. От души дерутся — так, что и зубы, как говорится, «искореневаху» и челюсти «выламляху».

Куда там сонной Москве до Петербурга! А уж Нижнему Новгороду и вовсе не тягаться!

И, разместив по амбарам привезенные муку, воск, конопляное масло и пряжу, купеческий сын Михаил Костромин вместе с отцовским приказчиком Гаврилычем, который бывал в Петербурге еще при Петре I, отправился на следующий день бродить по необычному городу.

Рассказал Гаврилыч, как, по преданию, закладывался Петербург.

Узнал Михаил Костромин и о церемониале, который «батюшка-дядюшка» нынешней царицы ввел в обиход при замерзании и вскрытии Невы.

О том, что река стала, извещает здесь барабанным боем самый старший царев шут. Он же командует шутовским отрядом, который под холщовым знаменем с музыкой переходит по тонкому еще льду на другой берег.

А о том, что река очистилась ото льда, петербуржцы оповещаются тремя пушечными выстрелами из Петропавловской крепости. После того Неву в ялике раньше переезжал царь, а в его отсутствие — генерал-адмирал. Ныне же этот вояж совершает комендант города или фаворит царицы Эрнест Бирон.

По широкой, обсаженной по обе стороны кустами аллее Царицына луга (как тогда именовали Марсово поле) приезжие прошли к огороженному решеткой Летнему саду. Там между облысевших зимних деревьев и кустов высились белый под железной крышей дворец Петра и летний дворец Анны Иоанновны с бронзовым гербом ее фаворита на фронтоне. Вокруг гротов с лестницами, украшенными морскими раковинами,— свинцовые статуи персонажей эзоповских басен. Фонтаны, Архиерейская, Шкиперская и Дамская площадки со скамейками и столами, деревянный помост для оркестра.

Затем Гаврилыч повел купеческого сына на зверовой двор. Там проживал привезенный из южных стран, где люди — не только подлого, но и дворянского звания — даже зимой голышом ходят, дивный зверь по имени слон. О том слоне Михаил Костромин еще в Нижнем Новгороде слышал. Думал — врут люди. Ан нет. И вправду велик был слон. Шубу для него — к снегу и морозу тот зверь привычки не имел — скорняки из ста бараньих шкур шили.

За три серебряные копейки служитель не только разрешил нижегородцам по веревочной лесенке взобраться на спину слону, но и показал им бумагу, из которой было видно, во сколько его пропитание царской казне обходится.

Из зверового двора отправились к гостиному. И про товары надобно было узнать, и про цены. Без того в торговом деле никак нельзя.

Обширен новый гостиный двор у Зеленого моста, ничего не скажешь. И суконная линия здесь имеется, и шубная, и шапочная, и зеркальная, и аптекарская.

А рядов тех — не счесть: бабий ряд — в нем перинами торгуют, подушками, кружевами да нитками; табачный ряд; свечной; седельный; птичий; холщовый; лоскутный; ветошный... Даже «стригальный ряд», где волосочесы и брадобреи хозяйничают, — и тот есть.

Иноземных купцов мало — не время, весной понаедут. Больше — своих. Но заморских товаров хватает: голландские полотна, бархат, шелка, медная и оловянная посуда, апельсины, лимоны, красное вино, благовония.

Помимо купцов и их приказчиков, торгуют с лотков ремесленники.

Тут искусные изделия и железных кузнецов, и медных; мастеров по серебру; резчиков рога и кости —

гребни, ларцы, белильницы и румяльницы для баб и девок, им же потребные хитрые коробочки с тайными запорами — клеельницы для ресниц и бровей, ежели у которой коротки.

В зеркальной линии скоморошничает меж лавок кудрявый молодец в зипуне, подбитом лисой. Приплясывая, частит скороговоркой:

— Той, что черноброва и круглолица, без зеркальца не обойтиться — заплетет косу да и увидит всю свою красу. А кикиморе — той лучше миновать наш товар стороной. А то намедни одна в зеркальце поглядела — да и обомлела: нос крючком, голова тычком, а на рябом рыле черти горох молотили....

Миновав лоточников, нижегородцы прошли к месту, где шла распродажа конфискованного у князя Василия Лукича Долгорукова и прочих государственных преступников имущества.

По всему было видно, что небедно жил своровавший супротив государыни князь: портреты многокрасочные, что именовались в прежние времена парсунами с живства, то есть с натуры; шубы богатые, одна другой краше — и собольи лапчатые, и на бобре, и на кунице; кафтаны бархатные; табакерки; ларцы; кубки.

Тут у кого хочешь глаза разбегутся. Но Михаил Костромин приметил лишь одно: скромно стоявшие в глубине обширного прилавка старинные, позеленевшие от времени бронзовые часы с одной часовой стрелкой и необычным восьмиугольным циферблатом. На часовом золотом прописанном круге сверкали будто в серебристом свете луны «зодейные знаки» двенадцати созвездий небесной сферы.

Замер в прыжке, откинув назад голову и подняв вверх трехконечный, словно казачья плетка, хвост, властитель человеческого разума Овен. Натянул до звона тетиву лука с каленой стрелой Стрелец; опрокинул свой кувшин, из которого нескончаемым потоком льется хрустальная вода, легкий телом Водолей; изогнул басурманской кривой саблей ядовитый хвост черный Скорпион, в котором вся сила мужская, как в кулаке, собрана...

Неуклюжий Рак, пышнотелая Дева с цветком в руке, эфиопский гривастый Лев, купеческие Весы с двумя чашами, Козерог, Телец, Рыбы....

Костромин никогда не слыхал про папу Сильвестра II, Бомелия, Стоу, Бранда, часовщика герцогини курляндской Питера Гофмана. Не слыхал он, разумеется, и

про предсказания доктора и волхва Иоанна Грозного о счастливой судьбе восьмого владельца часов.

И ни к чему вроде были Костромину часы. А отойти от прилавка он не мог. Стоял, слушал тиканье часов с восьмиконечным циферблатом и постепенно стал разбирать в этом тиканье слова: «Ку-пи, ку-пи», — тихо, но настойчиво шептали ему часы.

— Часы столовые с часовым боевым известием, — вяло сказал золотушный подьячий, тыча в часы сухим негнущимся пальцем. — Старинные. Али немецкой али фряжской работы.

Хотел отойти Костромин от прилавка — не может: не слушают его ноги, словно свинцом налиты.

А Гаврилычу что? Сын хозяйский стоит — и он постоять может. Стоять — не ходить.

«Ку-пи, ку-пи, ку-пи, ку-пи...» — стучат часы.

Что тут будешь делать?

Вздохнул Костромин — немалые деньги эта старая игрушка стоила, расстегнул шубу и полез за кошельком.

И тут же часы зазвенели с перезвоном колокольчиками, словно засмеялись. Ожили на часовом круге «зодейные знаки»: помахал купеческому сыну приветственно трехконечным хвостом Овен, подмигнул лукаво Стрелец, протянула Костромину свой цветок пышнотелая Дева, еще более изогнул рога Козерог...

— Знать, судьба, — сказал Костромин, отсчитывая деньги.

Сказал он это так, для порядка, чтобы Гаврилыч не очень укоризной донимал. А часы, как и предсказывал Бомелий, действительно стали его судьбой.

Пройдут годы, и обласкает нижегородского купца всесильный Григорий Орлов. Да что Орлов! И Потемкин его приметит, и сам непобедимый герой Александр Васильевич Суворов с ним раскланяется. Императрица же Екатерина II — не через слуг или придворных, а самолично— вручит нижегородскому купцу тысячу рублей золотом и серебряную кружку со своим золотым портретом в медальоне. Выгравированная надпись вокруг портрета будет гласить: «Екатерина II, Императрица и Самодержица Всероссийская, жалует сию кружку Михаилу Андрееву сыну Костромину за добродетель его, оказанную над механиком Иваном Петровым сыном, Кулибиным, 1769 года, апреля 1 дня».

Будет эта кружка в роду Костроминых переходить от отца к старшему сыну. И не как память о царице, а как

признание заслуг Кулибина и его покровителя Костромина в развитии механики, оптики и часового дела в государстве Российском.

Но вернемся к легенде, рассказанной моему отцу нижегородским историком Николаем Ивановичем Храмцовским, добившимся учреждения в Нижнем Новгороде Кулибинского ремесленного училища.

Итак, Михаил Костромин приобрел часы Бомелия. И сразу же после покупки — самое достоверное обстоятельство во всей нашей фантастической истории, обросшей былями и небылицами, — эти часы испортились.

Наукой и опытом с самого момента создания механических часов твердо установлено, что лучший метод их исправления — встряхивание. Но часы, видно, не зря принадлежали в свое время злому волхву: встряхивание на них не подействовало. Тогда решил Костромин отдать их в починку. Это было роковое решение. Но, к счастью и для него и для часов, все петербургские часовщики, к которым он обращался, под тем или иным предлогом отказались браться за эту работу.

Выбрасывать часы Михаилу не хотелось. Не хотелось и показывать свою неудачную покупку дома. Кому приятно стать посмешищем?! Поэтому, вернувшись в Нижний Новгород, спрятал он свое петербургское приобретение в чулане. Прикрыл мешковиной и забыл. Но часы были волшебными. Они не дали о себе забыть.

И в ночь с 9 на 10 апреля 1735 года семью Костроминых разбудил громкий петушиный крик, такой громкий, будто петух за свою громкость жалованье в городской ратуше или у губернатора получал.

Глянул Михаил на ходики — час ночи. Не время для петуха. Да и откуда он в доме взялся?

Во второй раз закричал петух. В третий.

Что за напасть?!

Посмотрел Михаил в щель между ставнями — и увидел свет в окнах соседнего дома, где жил торговец мукой.

Стряслось что?

— Кулибиниха от бремени сынком разрешилась, — сказал, входя в комнату с часами Бомелия в руках, отец. И спросил: — Это ты часы в чулан поставил?

— Я.

— А зачем?

— Порченые они.

— Порченые? Да ты что, глухой?

И Михаил Костромин услышал звонкое, ликующее тиканье привезенных им из Санкт-Петербурга часов. Плясали на часовом круге Стрелец с Девой, потешно подпрыгивали Овен с Козерогом, хлопал в ладоши, забыв про свой кувшин, Водолей, в такт музыке качались Весы и извивались, перебирая плавниками, Рыбы...

— Чудеса!

Но Михаил ошибался. Это было лишь предисловие к чудесам. Подлинные чудеса начнутся позднее, когда подрастет родившийся в ту ночь мальчик и он, Михаил Костромин, подарит ему старинные часы с восьмиугольным циферблатом.

Эти часы будут сопровождать Ивана Петровича Кулибина почти всю его долгую жизнь. А может быть, и «помогать» ему творить чудеса. Ведь многие на родине Кулибина считали гениального самоучку колдуном. Так, по крайней мере, писал Иван Сократович Ремезов в своей книге о Кулибине, изданной в Петербурге в 1879 году.

— В отличие от многих из нас судьба не лишена чувства юмора и иронии, — задумчиво сказал Василий Петрович. — Свойствен ей и сарказм. Иногда она не прочь добродушно посмеяться над своими избранниками, разыграть их. Но может и поскоморошничать, а то и поглумиться...

Что же касается Ивана Петровича Кулибина, то, мне думается, судьба над ним почти не иронизировала. Но веселых минут он ей доставил немало. Видимо, смешно было смотреть на ошеломленные лица крупных ученых, рассматривавших модель уникального одноарочного моста, сделанную человеком, который не должен был иметь о мостах никакого представления.

Эта модель стояла затем в парке у князя Потемкина. И князь, некогда один из самых способных студентов Московского университета, исключенный за «чрезмерную леность и нехождение», любил, показывая иноземцам модель, объяснять, что русский человек в отличие от англичан да немцев может до всего собственным умом дойти. «Учить Кулибина — только портить!» — говорил князь.

Но если Кулибин считал, что, оставив его самоучкой, судьба зло подшутила над ним, то ошибался. Он был ей нужен вовсе не для этого. Штат своих придворных шутов она уже заполнила.

Судьба желала провести эксперимент.

Правда, Кулибину отводилась в нем весьма незавидная роль — не равноправного коллеги, помощника или, наконец, скромного лаборанта, а роль подопытного... нет, не кролика — гения.

Вы, конечно, помните прототипов Робинзона Крузо, а тем более его самого? Весьма увлекательные приключения. Но не только приключения. Это опыт на выживаемость среднего человека, приобщенного к цивилизации и оказавшегося на необитаемом острове.

Кулибин, судя по всему, предназначался для иной модификации того же эксперимента. Выдающийся механик и изобретатель был лишен возможности получить самое элементарное образование и заброшен на технически необитаемый остров, затерявшийся в необъятном океане мирового прогресса.

Этот остров именовался Нижним Новгородом.

На нем проживало тогда немногим больше пяти тысяч человек. Среди них были купцы, дворяне, монахи и монахини, чиновники, попы, будочники, мастеровые, рыбаки, разбойники, хлебопеки, лекари и колдуны. Но когда у губернатора, генерал-поручика Аршеневского, испортились часы, он приказал отнести их в кладовую, так как знал, что в городе нет часовщика...

Не было в Нижнем Новгороде и математиков, механиков, оптиков. Да и просто с мало-мальски грамотными было не густо, а в слободе, где жил Иван Кулибин, они и вовсе отсутствовали...

Выживет в таких условиях гений Кулибина или нет? В отличие от Робинзона Крузо Иван Петрович не ходил в козьей шкуре. Он носил кафтан. В остальном же ему приходилось значительно хуже. Робинзон попал на свой остров грамотным. Кулибину же только предстояло научиться у дьячка чтению. В распоряжении Робинзона имелись все инструменты корабельного плотника, а Кулибин до восемнадцати или двадцати лет, покуда не обзавелся соответствующей оснасткой и книгами, располагал лишь кухонным ножом. С его помощью были сделаны действующие модели оригинальнейших водяных и ветряных мельниц, движущихся против ветра парусных судов, сеялок и многое другое.

Этот кухонный нож заслужил право занять почетное место в музее технического прогресса. Но, как известно, на необитаемых островах музеев не бывает...

У необитаемого острова Кулибина никогда не раз-

бивались корабли с инструментами, материалами и книгами. Поэтому Кулибин сам придумывал и сам делал необычные для нижегородских мастеровых инструменты, которых нельзя было достать даже в Петербурге, а книги, когда ему это удавалось, выменивал на вырезанные из дерева игрушки.

Робинзон Крузо не только знал о существовании подзорной трубы, но и пользовался ею. На необитаемом острове, куда судьба забросила Кулибина, подзорной трубы не было, и никто в слободе о ней не слышал. Так что вполне возможно, что Иван Петрович собирался сконструировать подобную штуку. Да только руки как-то не доходили...

Мой отец высказал предположение, что, сделав микроскоп, телескоп и электрическую машину, Кулибин не мастерил их, а вторично изобретал.

Это, конечно, было шуткой. К тому времени Иван Петрович побывал в Москве и прочел кое-что по механике, в том числе и некоторые труды Ломоносова. Но в каждой шутке есть своя доля истины. Была она и в шутке отца. Многие годы своей жизни Кулибин действительно потратил на изобретение, как теперь говорят, велосипеда, то есть создавал и открывал то, что было уже открыто и создано еще до его рождения.

Кстати, если уж мы вспомнили о велосипеде, то следует сказать, что Кулибин может по праву считаться крестным отцом его дедушки. Именно он сконструировал и сделал чудо того времени — сказочный экипаж, который без лошадей и кучера лихо мчал по Невскому, пугая богобоязненных прохожих.

В этой «повозке-самокатке», как Иван Петрович назвал свое детище, выкатившееся на улицы Петербурга прямо из русской сказки (по щучьему велению, по кулибинскому хотению), были использованы маховое колесо, тормоз, коробка скоростей, подшипники качения...

Оба достаточно жестких эксперимента судьбы на выживаемость закончились сравнительно удачно. Моряк, ставший у Дефо Робинзоном Крузо, не только не погиб, но и обжил остров, обзавелся Пятницей. А затем отбыл победителем на родину, оставив процветающим некогда пустынный остров.

Выжил в Нижнем Новгороде (немало, впрочем, потеряв) и технический гений Кулибина. Но коэффициент его полезного для России действия значительно снизился.

Пробыв свыше тридцати лет на своем «необитаемом острове», он был в глазах нижегородцев вначале непутевым мальчонкой: «Вот несчастье-то у Кулибиных! Ваньке уже тринадцатый, а толку — шиш: знай себе меленки да кораблики режет!» Затем, когда странный парень запросто, будто чихнул, починил губернатору часы английской работы — одних колесиков добрая сотня наберется, — к нему прониклись уважением.

А вот микроскоп, электрическая машина и телескоп, чтобы звезды небесные на счетах отщелкивать, будто весовой товар или локотный, — это уж настораживало: «Иду вчерась мимо дома Кулибиных. Глянула на Ивана — батюшки! — перекорежило его всего. Вот те крест! Нет, люди зазря говорить не будут: как есть с нечистой силой связался. Не к добру евонные микроскопы да телескопы. Адской серой от них воняет, спаси нас господи!»

Всякое бывало на «кулибинском острове». Но духом он не пал. И своего верного Пятницу в конце концов нашел. Верней, не он Пятницу, а Пятница его. Звали Пятницу Кулибина, как вы уже знаете, Михаилом Андреевичем Костроминым...

Нет, не напрасно приобрел купеческий сын на распродаже в Петербурге старинные часы с восьмиугольным циферблатом, которые в ночь с 9 на 10 апреля 1735 года трижды, чуть ли не до хрипоты, кричали петухом, возвещая по воле Бомелия о рождении великого часовщика. И Костромин и часы Бомелия знали свое дело.

Великолепно знал свое дело и Иван Петрович Кулибин. А ведь это самое главное в жизни — знать свое дело.

— Одному из спутников Магеллана, — сказал Василий Петрович, — Себастьяну дель Кано, был пожалован герб, прославлявший в веках его подвиг. На нем не было свирепого леопарда, мощного льва, орла или иных хищников, столь излюбленных рыцарями всех стран и времен. Внутреннее поле герба заполняли всего-навсего две перекрещивающиеся палочки корицы в не менее скромной рамке мускатных орехов и гвоздики. Но зато пряности венчал рыцарский шлем, над которым парил в воздухе земной шар с краткой, но достаточно выразительной надписью по-латыни: «Ты первый совершил плавание вокруг меня».

Если бы Ивану Петровичу Кулибину пожаловали дворянство, а вместе с ним и герб, то на этом гербе следовало бы поместить часы с восьмиугольным циферблатом (кажется, они были первыми часами, с устройством которых Кулибин смог подробно ознакомиться). Над часами — сделанную из шестеренок и украшенную вместо самоцветов знаками зодиака корону короля часовщиков. А вокруг изобразить героев былин и народных сказок: Илью Муромца, Добрыню Никитича да Алешу Поповича; заколдованных царевен, мудрых Иванушек-дурачков и глупых умников.

Что же касается надписи, то она бы гласила: «Я превратил механику в сказку, а сказку — в механику».

Чтобы вы меня в дальнейшем не обвинили в плагиате, — продолжал Василий Петрович, — то на всякий случай оговорюсь: проект герба и надписи принадлежит не мне, а отцу. Это придумал он, и придумал, как мне кажется, весьма удачно. В своих работах Кулибин всегда пытался соединить сказку с реальностью, технику с чудесами, математический расчет с фантазией сказителя.

Думаю, что сказочность механики Кулибина чувствовали еще его современники, в том числе и Александр Васильевич Суворов. Рассказывают, что, встретив както механика-самоучку, известный полководец трижды поклонился ему (первый поклон — «Вашей милости!»; второй, более глубокий, — «Вашей чести!»; третий, поясной, — «Вашей премудрости мое почтение!»). Затем взял он Кулибина за руку и сказал окружающим: «Гляжу на изобретения Ивана Петровича и будто сказку наяву вижу. Помилуй бог, сколько ума! Верьте мне, он еще изобретет нам ковер-самолет!»

Самое любопытное здесь в последней фразе. Суворов говорит не о том, что Кулибин изобретет летательный аппарат или механизм, а воплотившийся в народной фантазии ковер-самолет, необходимую принадлежность многих русских сказок.

Кулибин — механик-сказочник. Он не рассказывает сказки, а делает их из дерева и металла.

«В некотором царстве, в некотором государстве...»

И катится себе без лошадей и кучера по улицам Санкт-Петербурга дивный экипаж.

И превращает темную петербургскую ночь в солнечный день сделанный умными руками доброго волшебника доселе никем не виданный фонарь.

Как плывет корабль? Известно, как: или под парусами, или с гребцами.

И все? И все. А вот и нет, смеется сказочник. И кулибинский чудо-юдо корабль не плывет, а, будто ярмарочный акробат, карабкается, подтягиваясь на канате, вверх по течению реки...

Ярче всего эта особенность кулибинской механики проявилась в часовом деле.

Находясь в Нижнем Новгороде, Кулибин задумал и сделал с помощью Костромина (речь, разумеется, идет о финансовой помощи!) часы, по форме и величине напоминающие гусиное яйцо средних размеров.

Они предназначались в дар Екатерине II.

Инструменты для изготовления этого уникального прибора Кулибин делал сам.

Деталей в часах насчитывалось свыше тысячи. А специальных инструментов механику потребовалось около ста.

Костромин вместе с одряхлевшим уже Гаврилычем иногда заходил в дом к Кулибину и затаив дыхание смотрел, как тот работает.

Колдун! Истинный колдун! Но, может, именно такие колдуны и нужны России?

Конструируя и изготовляя эти часы, Кулибин одновременно был сказочником, часовщиком, стихотворцем, скульптором, серебряных и золотых дел мастером, композитором (замечу в скобках, что нынешнее фортепьяно тоже ему кое-чем обязано), столяром, слесарем, токарем, литейщиком, кузнецом и бог знает кем еще!

Но зато и часы получились такими, что полюбоваться ими вместе со всей своей семьей явился к Кулибину сам нижегородский губернатор. Побывали и прочие именитые жители. Говорят, приезжали даже из других волжских городов.

На первый взгляд детище механика-самоучки особого впечатления не производило: часы как часы. Циферблат со стрелками. Каждые полчаса и четверть часа звонко бьют маленькие молоточки. Забавно, конечно, но такими забавами в екатерининские времена уже никого не удивишь.

Но стоило посетителям набраться терпения, и они попадали прямо в сказку.

Чего только не умели эти часы! Разве только вот мастер не научил их кричать петухом и кудахтать курицей...

Но ни папа Сильвестр II, ни Бомелий не поставили бы это обстоятельство в вину нижегородскому механику: и времена меняются, и часовые механизмы, и мастера.

А Костромин — тот был в восторге. Думаю, часы Бомелия тоже должны были быть довольны. Выходило, что не зря они всполошили всю слободу, трижды прокричав петухом, когда на свет появился Ваня Кулибин. По такому случаю и трижды три прокричать не грех. Веселились, видно, волшебные часы и, как положено всему волшебному, удивляли народ.

А нижегородский губернатор снял со своего пальца кольцо и подарил мастеру. По его мнению, часы Робинзона с технически необитаемого российского острова под именем Нижний Новгород должны были прийтись императрице по душе. Лакома она была до всяких придумок.

В Эрмитаже при Екатерине II устраивались так называемые «большие собрания» — шумные балы с сотнями гостей; «средние» — для нескольких десятков приближенных, взысканных доверием, милостью и приязнью императрицы, и, наконец, «малые собрания». На них неизменно присутствовали лишь несколько близких Екатерине людей.

На одно из таких «малых собраний» и были доставлены в «Алмазную комнату» часы Кулибина.

Часы поместили на почетное место — между изображением Полтавской битвы, выточенным под надзором токаря Нартова Петром I, и табакерками, шашками и наперстком работы самой Екатерины, которая в часы досуга читала, вязала или, подражая своему великому предшественнику, занималась «токарным художеством».

Екатерина рассчитывала на то, что часы произведут фурор. И не ошиблась.

Даже барон Ванжура, известный в Вене композитор, пианист и скрипач, прижившийся в России в качестве капельмейстера придворной оперы, немало повидавший диковинок во время своих странствий по Европе, и тот был ошеломлен. Прослушав сыгранные часами мелодии, Ванжура пошутил, что с превеликим удовольствием зачислил бы их на любую вакансию в оперный оркестр.

— Умны, изящны и красивы и в отличие от многих музыкантов совсем не фальшивят, — сказал он по-немецки, не слишком уверенно чувствуя себя в русском. —

А главное — это ощущается в каждой шестеренке — порядочны и скромны. Позвольте поздравить ваше величество с необыкновенно удачным приобретением, которое делает честь вашему вкусу. Одна из немногих в этом мире вещей, к которой нельзя придраться, — выдумка, мастерство, исполнение... Даже затрудняюсь, чему отдать предпочтение. Все божественно. Узнаю венскую работу.

— Зело ошибаетесь, капитан, — по-русски ответила Екатерина, делая вид, что вытягивается во фрунт, не приподнимаясь, однако, со своего кресла, на подлокотнике которого лежала табакерка с нюхательным табаком.

— Вы есть дерзкий офицер, поручик, — подыгрывая императрице, грозно сказал Ванжура. — Всем офицерам во всех армиях известно хорошо, что старшие в чине никогда не ошибаются. Всем офицерам известно, что старшие в чине всегда говорят истину.

— Прошу пардону, капитан. Но сии часы изготовлены не австрийским мастером.

— Неужто французом?

— Нет.

— Швейцарцем?

— Нет.

— Англичанином? Итальянцем? Испанцем? Голландцем?

— Не угадали, капитан.

— А кем же?

— Русским.

Волосы барона опустились до бровей.

— Майн готт! — воскликнул он. — Но этот часовщик обучался все-таки у австрийского мастера?

— Увы, — сказала Екатерина.

— А у кого?

— Или у господа бога, или у князя тьмы.

— Отменные учителя, — признал Ванжура. — А как в России называют мастеров, которые своим искусством обязаны только им? — И барон показал пальцем на потолок.

— Само-учками, — сказала Екатерина, которая сама лишь недавно выучила это трудное русское слово.

Часы Кулибина заняли отведенное им место в «Алмазной комнате», а затем были помещены в так называемый «Кабинет Петра Великого».

Самому Ивану Петровичу предложили в качестве за-

ведующего механическими мастерскими Российской академии наук покинуть Нижний Новгород и переехать в Петербург.

Здесь им был построен лифт, поднимавший кабину с помощью винтовых механизмов, создан оптический телеграф, разработана конструкция «механических ног», то есть протезов... Здесь же ему была вручена золотая медаль на андреевской ленте. Две аллегорические фигуры, изображавшие науки и художества, держали над именем Кулибина лавровый венок. Надпись гласила: «Достойному. Академия наук — механику Кулибину».

«Достойному»... Это слово не напрасно было выгравировано на медали академии. Ведь нередко лавровые венки раздавали и недостойным...

— Таким образом, насколько я понимаю, столик в «ларце времени», который стоял в простенке между двумя окнами, предназначался для волшебных часов Бомелия и часов, подаренных Иваном Петровичем Кулибиным Екатерине II? — спросил я у Белова.

— Вы близки к истине, но все-таки не угадали, — сказал Василий Петрович. — Согласно все той же легенде часы Бомелия, или папы Сильвестра II, — в конце концов для нас это безразлично — сгорели вместе с домом Кулибина во время пожара 1814 года. После этого Иван Петрович Кулибин уже не оправился.

Вначале по просьбе своего бывшего ученика и помощника во многих делах, часовых дел мастера Пятирикова — великолепного умельца, многое перенявшего от учителя, — Кулибин перебрался к нему, а затем уехал в село Карповка, где жили его дочь с мужем. Позднее Иван Петрович купил маленький полуразвалившийся домик, где и умер 30 июня 1818 года. Похоронили Кулибина на Петропавловском кладбище. Хоронили скромно — денег не было. Вдова вынуждена была заложить за триста рублей стенные часы «Летнее солнце», сделанные мастером незадолго до смерти. Потом они были выкуплены сыновьями покойного.

Пятириков врезал в поставленный на могиле памятник изображение часов, подаренных некогда Ивану Кулибину Михаилом Костроминым. В восьмиугольном циферблате на позолоченном часовом круге скорбели, оплакивая великого мастера, знаки зодиака...

Кладбищенские старухи говорили, что по ночам мож-

но услышать тиканье изображенных на памятнике часов. Поэтому местные жители старались на всякий случай обходить могилу Кулибина стороной: врут, верно, старухи, а все ж лучше от греха подальше.

Итак, часы Бомелия сгорели в 1814 году и уже не могли попасть ни в чью коллекцию. Свершив все, что им было предначертано, часы с восьмиугольным циферблатом закончили свою жизнь вместе с легендой о них.

Не предназначался столик в «ларце времени» и для часов, подаренных Кулибиным Екатерине II.

И все же... столик в простенке был поставлен для часов Кулибина.

Нет, никаких противоречий! Просто дело в том, что Кулибин, как выяснилось, сделал за свою жизнь не менее пятидесяти-шестидесяти часов. И делать он их начал в молодости. Не все из созданных им механизмов были венцом технической мысли, но почти все отличались оригинальностью решений и свойственной Кулибину сказочностью.

Пятириков любил говорить, что кулибинские часы он отличит не то что по виду, но даже по запаху, как отличают цветы на лугу. В этом, естественно, было преувеличение, но весьма умеренное.

Однако мы с вами несколько отвлеклись.

О неизвестных раньше часах Кулибина отец узнал из бумаг, переданных дочерью выдающегося механика-самоучки редактору «Нижегородских губернских ведомостей» Мельникову (впоследствии — известный писатель Мельников-Печерский, автор популярных произведений «В лесах» и «На горах»). Кое-что дали и сохранившиеся в семейных архивах письма генерал-поручика Аршеневского, бывшего в шестидесятых годах восемнадцатого столетия нижегородским губернатором, а также документы государственных архивов.

Многое отец почерпнул из встреч с председателем Нижегородской ученой архивной комиссии и правнуком Кулибина. Молодого Кулибина отцу удалось разыскать в Петербурге (Иван Петрович имел двенадцать детей. Сын Дмитрий был гравером, Александр и Петр работали в Сибири горными инженерами, Семен стал чиновником и дослужился до статского советника. Правнук Кулибина, с которым разговаривал отец, преподавал в реальном училище).

Среди часов, сделанных Кулибиным в Нижнем Новгороде до того, как он переехал в Петербург, были

«екальщики», маятниковые деревянные часы «Птичий двор», «Жар-птица» и «Царевна». В столице Кулибин тоже не забывал про часы, хотя времени для любимого дела у него оставалось до обидного мало.

Василий Петрович достал из картотеки папку, развязал тесемки.

— Вот, — сказал он, — составленный собственноручно Кулибиным перечень его новых работ в Петербурге. Под номером 17 мы можем прочесть про «часы карманные большой пропорции с новым ходом, у коих в цыферблате будут движиться разнообразно 7 стрел и показывать: зодии 12 знаков небесных, месяцы, градусы, повседневные числа, из коих в 4 года одно только переставлять рукою, седмичные дни в планетных знаках, часы, минуты, а секунды по астрономическому движению и четверти секунд, течение луны в шаровидной фигуре, течение солнца, которого восхождение и захождение во всех днях года по здешнему и Московскому градусу с календарем будет согласно, при коих и другие представления».

Любопытная запись и под номером 24:

«По Высочайшему Ея Императорского Величества повелению, починкою исправил и возобновил часы, представляющие между разных растений пень дубоваго дерева с отрослями, листьями и желудками, зделаннаго из бронзы, на коем павлин, петух и сова в клетке в натуральный рост таких животных зделаны из разных металлов же, и движутся разнообразно, подобно живым».

Делал Иван Петрович в Петербурге и часы-игрушки, а также игрушки с часовым механизмом.

Отцу рассказывали про изготовленные Кулибиным для обучения часы-букварь в виде мудрой совы, про гвардейского солдата, который каждый час посвящал воинским артикулам, про часы—музыкальную шкатулку...

К установлению часов Кулибина был приобщен и я.

Приготовив уроки, а иногда и не сделав их, я перелистывал страницы старых газет и журналов. Это было увлекательное занятие. Прошлое на время становилось настоящим. «Санкт-Петербургские ведомости» за 1799 год сообщили, что:

«Лифляндская 20-ти лет девка, искусившаяся в шитии белья, в вязании чулок, мытии шелковых материй и прочих рукодельях, и которая при том кушанья готовит, продается в 4-ой Адмиралтейской части близ Ни-

кольского моста в доме под № 43, где ее видеть можно во втором ярусе на левой руке».

«Предписывается всем господам инспекторам не принимать прошений о увольнении в отпуск от корнетов и прапорщиков, кои сие делают от лени...»

Много порядком устаревших новостей и канувших в Лету распоряжений правительства Павла I узнал я прежде, чем наткнулся на очень любопытное объявление.

«Желающие купить, — значилось в нем, — верные и искусно устроенные механические вокальные часы, кои играют на флейте, арфе и басе 10 разных штук и представляют: во-первых, великолепное село, на левой стороне которого находится трактир, на верх коего из трубы выходит трубочист, бьет часы и после последнего удара прячется паки в трубу; а на правой стороне виден под деревом сидящий и на флейте играющий пастух, а неподалеко от него на лошади почталион, который соответствует пастуху игранием на роге; а во-вторых, трактирщика, стучащего служанке в окно и приказывающего подать почталиону пить, с изображением, что служанка приходит и несет бутылку и стакан, а за служанкою бежит собачка и лает на почталиона, и попугаем, который отвечает на вопросы до 50 разных слов и поет арии, — могут для условия в цене явиться ко вдове Миллер, живущей у Каменного моста в доме по № 121; оные же часы она и показывает с платежем по 25 коп. с персоны за вход, равно показывает она перспективную иллюминацию».

Я был горд своей находкой. Но в глубине души понимал, что ценность ее может вызвать некоторые сомнения. Спору нет, «механические вокальные» часы госпожи Миллер, которые в 1799 году она готова была продать или продемонстрировать за 25 копеек вместе с «перспективной иллюминацией» каждому желающему, были уникальны. Чего стоит один лишь попугай, который поет арии и отвечает на вопросы!

Но ведь столик в «ларце времени» предназначался не вообще для часов, пусть даже уникальных, а только для часов Кулибина.

Было, конечно, очень соблазнительно приписать мою находку Кулибину. Действительно, по яркой и озорной сказочности, столь свойственной произведениям механика-самоучки, по щедрому использованию музыки (недаром барон Ванжура собирался определить пода-

ренные Екатерине часы в оперный оркестр) и некоторым другим характерным особенностям можно было сделать вывод, что часы вдовы Миллер сконструированы Кулибиным.

Но не следовало забывать и о другом. Творчество Ивана Петровича носило сугубо русский характер — оно, как выразился один из его почитателей, всегда щеголяло в лаптях.

А где они, эти «лапти», в «вокальных механических часах» госпожи Миллер? И в помине их нет.

На все эти «за» и «против» обратил мое внимание отец. Он же поздравил меня с успехом: как-никак, а «вокальные механические часы» с попугаем, который отвечал «на все вопросы до 50 разных слов и пел арии», были моим первым открытием (а в розыске часов Кулибина и последним).

Отец отправился в Нижний Новгород, а оттуда в Петроград.

Не знаю уж какими путями, но ему удалось установить, что часы из «Санкт-Петербургских ведомостей» были сделаны учеником знаменитого швейцарского часовщика Пьера-Жака Дроза Августом Штернбергом, который в 1770 году переехал в Россию, где работал в механических мастерских Российской академии наук под началом Ивана Петровича Кулибина.

Кулибин многим помог Штернбергу и в разработке конструкции часов, известных тогда под названием «Говорящий попугай», и в их изготовлении. Об этом свидетельствовала надпись, выгравированная Штернбергом на часах.

«Говорящий попугай» в 1782 году был куплен академиком Миллером, который год спустя скончался.

Кто приобрел эти часы у вдовы академика, неизвестно. Но, пройдя через какое-то число рук, они (вернее, не сами часы, а только механический попугай: почтальон, трактирщик и служанка приказали долго жить) оказались у выдающегося русского скульптора Михаила Осиповича Микешина, создавшего проекты памятников «Тысячелетие России» в Новгороде, Богдана Хмельницкого в Киеве, короля Педро IV в Лиссабоне. Микешин охотно откликнулся на просьбу отца о встрече. Выяснилось, что он тоже коллекционирует часы.

— Моим героем, Петр Никифорович, — говорил он отцу, — был некогда император Священной Римской империи Карл V. В молодости он коллекционировал

королевские и герцогские короны, а когда поумнел, то поселился в монастыре святого Юста в Испании и стал коллекционировать часы. Его любимым занятием было сидеть в комнате, заставленной и увешанной часами. Он считал, что люди и часы очень похожи друг на друга: некоторые опережают свое время, другие не поспевают за ним, но и те и другие идут не вперед, а по кругу...

Микешин показал отцу свою коллекцию. Попугая среди ее экспонатов не было.

Ошибка? Нет. На самом деле попугай есть. Но, к сожалению, из-за какой-то поломки механическая птица отказалась и петь и говорить. Микешин приобрел его уже в таком виде. Сейчас он отдал попугая известнейшему в Москве антиквару и специалисту по всяким диковинным старинным часам Вадиму Григорьевичу Мецнеру. Мецнер обещал ему подыскать часовщика, который сможет вдохнуть в попугая жизнь.

Отец хорошо знал Мецнера, услугами которого неоднократно пользовался. Кстати, именно у него он приобрел часы Аракчеева, «астрономические часы» Ивана Юрина и некоторые другие экспонаты своей коллекции.

Магазин Мецнера напоминал сказочную пещеру Аладдина. Хозяин отличался не только богатством. Он был, пожалуй, самой своеобразной личностью среди московских и петроградских антикваров.

Маленького роста, почти карлик, с сонными глазами и длинными седыми бакенбардами, которые подчеркивали смуглоту его вытянутого узкого лица, он меньше всего походил на коммерсанта, стремящегося во что бы то ни стало увеличить свое богатство. Покупая вещи, Мецнер всегда назначал «справедливую цену». Продавал он тоже по «справедливой цене», точно и скрупулезно высчитывая накладные расходы и причитающиеся ему за услуги пять процентов стоимости вещи. «Мои святые пять процентов», — любил говорить Мецнер. Но самым забавным было, пожалуй, то, что покупателем у этого антиквара мог стать не каждый. Мецнер в этом отношении был очень и очень разборчив. У него имелись любимцы, которым он мог порой продать какой-либо уникум, поступившись даже «своими святыми», и покупатели, с которыми он не желал иметь никаких дел.

Отец поддерживал с хозяином антикварного магазина постоянные дружеские отношения. Ему нравился и

сам антиквар, и его страсть к часам. Его собрание часов считалось тогда чуть ли не лучшим в России. Особенно хорошо были представлены старинные настенные часы. Попадались интересные экземпляры и среди других видов часов. Так, Мецнеру удалось приобрести в Мюнхене одни из первых переносных механических часов, сделанных Питером Генлейном.

Не меньший интерес представляли в его коллекции так называемые гравитационные часы, основанные на принципе использования веса механизма часов для привода этого же механизма. Таким образом, часы не имеют ни гири, ни пружины.

Предметом зависти всех коллекционеров часов были «секретные часы», сделанные, как он охотно рассказывал всем любителям, знаменитым лондонским часовщиком Джоном Шмидтом. Это были небольшие карманные часы со стеклянным прозрачным циферблатом и одной единственной часовой стрелкой. Впрочем, назвать произведение Шмидта часами даже язык как-то не поворачивался. Механизм отсутствовал. Полностью. Ни пружинки, ни колесиков — ничего. Одна стрелка, которая вращается по окружности, показывая время. А почему эта стрелка движется — известно только лондонскому часовщику Джону Шмидту. Очень была эффектная штука. А секрет заключался в стрелке. В ее удлиненной части находился маленький пружинчатый часовой механизм, который медленно вращался небольшим грузиком. Вместе с изменением его положения изменялось и положение центра тяжести стрелки, которая сама двигалась по циферблату, как и положено каждой уважающей себя часовой стрелке.

Мецнер великолепно ориентировался в часах всех эпох и всех систем. Но особое место в его душе и памяти занимал Кулибин, которого Мецнер считал не королем, а богом часового дела. Старый антиквар относился с каким-то благоговением к гениальному самоучке и его творчеству. Достаточно сказать, что легенда о часах Бомелия, которые предрекли рождение Кулибина, была записана у него в восьми или десяти вариантах.

Когда отец приехал к Мецнеру, тот сразу же догадался о причине визита.

— Насколько я понимаю, Петру Никифоровичу не дает спать попугай?

— Не смею отрицать, — развел руками отец.

Мецнер приказал принести птицу. Попугай оказался меньше спичечного коробка. Трудно было поверить, что внутри такой миниатюрной вещи находится сложнейший механизм.

— Неужто сам Кулибин делал?

— Так, по крайней мере, считают часовщики.

— Попугай действительно пел арии?

— У меня нет оснований в этом сомневаться.

— И отвечал на вопросы?

— Могу лишь повторить уже сказанное мною.

— А когда его починят?

— Ответ на этот вопрос интересует меня самого, — сказал Мецнер. — Пока я не могу подобрать часовщика, который бы взялся за эту работу. Кулибины рождаются раз в двести лет, а Штернберги — не чаще, чем в полустолетие.

— И все-таки вы рассчитываете найти специалиста?

— Надеюсь, — сказал Мецнер. Но уверенности в его голосе отец не почувствовал.

Таким образом, то, что я вычитал в «Санкт-Петербургских ведомостях», превратилось если и не в удачу, то во что-то на нее похожее.

В остальном же отцу не везло. Здорово не везло. Безвозвратно исчезли, не оставив никаких следов, сделанные Кулибиным в Нижнем Новгороде часы «Илья Муромец», «Птичий двор», «Жар-птица», «Царевна».

А исправленные и «возобновленные» мастером часы, «представляющие между разных растений пень дубоваго дерева с отpослями, листьями и желудками», будто сквозь землю провалились.

Неудача за неудачей, поражение за поражением.

И вдруг...

Просматривая подшивки старых журналов, отец наталкивается в 23-м номере «Москвитянина» за 1853 год на небольшую заметку «Кулибинские часы», подписанную неким Обнинским.

Белов достал из своей папки очередной документ и прочел мне:

— «К реестру произведений Кулибина в 14 номере «Москвитянина» прошу редакцию позволить мне прибавить следующее: стенные астрономические часы большого формата, недельные.

В середине циферблата — золотой двуглавый орел, под ним вензель государыни Екатерины II. Кругом на серебряной доске надпись: «Приеменито имя ея во ве-

ки». Вверху — луна в голубиное яйцо. В циферблате золотое солнце показывает ход обеих планет. Двенадцать месячных знаков. Затмения солнца и луны. Черный и белый круги, показывающие время дня и ночи. Стрелка, показывающая високосные годы. Течение и перемены разных планет. Числа дней, названия месяцев и сколько в котором дней.

На дверцах футляра — круг географический. Другой круг — отгадывающий, сколько у кого денег в кармане (столько раз часы ударят), лишь бы было не более 84 рублей.

На минутной стрелке устроены удивительно маленькие часы в гривенник, не имея никакого сообщения с общим механизмом часов, показывают время очень верно.

Еще несколько штук, которые определить может астроном.

История часов следующая. Граф Бутурлин, имевший свой дом в Немецкой слободе, купил оные часы у Кулибина за 18 тысяч ассигнаций. Перед нашествием французов в Москву граф уехал в Воронежскую вотчину. А смотритель дома в Москве, желая сохранить драгоценные часы, снял оные с футляра, завернул в циновку и опустил в домашний пруд.

Так часы пролежали в пруду до весны. После их вынули, графский часовщик Леонтьев вычистил, и часы идут до сих пор у меня.

Если угодно редакции прислать освидетельствовать во всякое время дня, то я очень рад буду, что диковинное произведение нашего русского механика, стоившее ему много труда и соображений, не погибнет в реке неизвестности.

Жительство имею в Москве на Пятницкой, против церкви святого Климента, в собственном доме.

П. Н. Обнинский.

Ноябрь, 21».

Василий Петрович дочитал до конца опубликованное в журнале письмо Обнинского и аккуратно положил его обратно в свою папку.

— Можете себе представить, голубчик, какое впечатление произвела эта публикация на отца, — сказал он. — О том, что граф Дмитрий Петрович Бутурлин, адъютант Потемкина, а впоследствии директор Эрмитажа, был большим поклонником Кулибина и приобрел у Ивана Петровича описанные Обнинским часы, ни для

кого тайной не являлось. Но не являлось тайной и другое. В 1817 году Бутурлин уехал во Флоренцию. Предполагалось, что часы Кулибина вместе с другими экспонатами своего домашнего музея и богатейшей библиотекой он перевез в Италию (после его смерти библиотека продавалась в Париже с аукциона. С молотка пошли и картины известных художников, скульптура, ювелирные вещи).

Говорили, что часы Кулибина были куплены на аукционе каким-то богатым англичанином. А бывший сослуживец отца уверял его, что видел собственными глазами эти часы в доме некоего римского фабриканта, который перепродал их своему родственнику.

И вот оказывается, что часы Кулибина никогда не покидали Москву.

Но так ли это?

Может быть, Обнинский — жулик, решивший спекулировать на интересе к творчеству Кулибина?

Может быть, но все-таки не похоже — «жительство имею в Москве на Пятницкой, против церкви святого Климента, в собственном доме».

Жулики, как правило, предпочитают не сообщать своего адреса.

Кто же этот П. Н. Обнинский?

Отец навел справки. Оказалось, что Петр Наркизович Обнинский — уважаемый человек, старый москвич. Кончал университет по юридическому факультету, затем работал какое-то время в Калужской губернии мировым судьей, вернулся в Москву. Теперь служит прокурором Московского окружного суда. Опытный юрист, по убеждениям либерал.

Итак, с самим Обнинским никаких подвохов. Но из того, что часы когда-то ему принадлежали, вовсе не следует, что они и сейчас являются его собственностью. Он мог их продать или подарить.

Нет, знакомые Обнинского утверждали, что часы попрежнему у него.

Отец никак не хотел поверить в свою удачу.

Но через день или два он получил возможность не только посмотреть на кулибинские часы, но и, как положено истинно русскому, пощупать их руками.

— Не верю, что они передо мной, — признался он гостеприимному хозяину. — Будто все во сне.

— Хотите, чтобы они угадали, сколько при вас денег?

— Буду весьма признателен.

Обнинский нажал на какую-то кнопку, и часы поспешно, словно боясь опоздать, пробили двадцать один раз.

— Двадцать один рубль? — торжествующе спросил Обнинский.

Отец засмеялся.

— Двадцать. Им уже больше ста лет. Так что следует сделать скидку на старость. А на один рубль при подсчете даже я могу ошибиться. Чего же от них требовать?

— Нет, нет, Петр Никифорович! — запротестовал Обнинский. — Они не ошибаются. Получше проверьте карманы.

— Извольте. Но...

— Проверьте, проверьте!

Отец вывернул карманы, и из них посыпалась мелочь.

— На рубль не наберется.

— А вы пересчитайте.

Отец пересчитал.

— Нуте-с?

— Почти рубль. Девяносто пять копеек. Двадцать рублей девяносто пять копеек. Так что прошу у часов извинения.

— А это? — Обнинский достал закатившийся под диван пятачок. — Ровно двадцать один рубль, Петр Никифорович. А заметьте: не только в гимназии, но даже в церковноприходском арифметике не учились. Своим умом дошли.

— Или кулибинским.

— Это вы верно заметили, — развеселился Обнинский.

Отец осторожно перевел разговор на свою коллекцию часов, рассказал о поисках часов, сделанных Иваном Петровичем Кулибиным, легенду про Бомелия и его пророчества.

— Весьма любопытно, — заметил Обнинский. — Но я гляжу, что самый главный для себя вопрос вы тщательно обходите...

— Что вы имеете в виду? — сделал недоумевающее лицо отец.

— Вы хотите приобрести у меня часы Кулибина, не так ли?

— Да.

— А что пророчествовал по этому поводу злой волхв Бомелий?

— Боюсь, что по этому вопросу он не успел высказать свое мнение.

— Я тоже этого опасаюсь, — согласился Обнинский. — Тогда решать нам. Я не коллекционер, Петр Никифорович, и признаю, что часам Кулибина больше понравится у вас. Но без них мой дом сразу же опустеет. Уж больно я к ним привык. Я хочу подумать. Мой ответ через месяц вас устроит?

— Конечно. Я вас очень хорошо понимаю.

— Вот и отлично.

Часы оказались в хорошем состоянии. Надо было лишь отрегулировать ход — они отставали на шесть минут в сутки, — починить механизм стрелки, указывающей на затмения солнца и луны.

— Часовщикам не показывали?

— Избави бог! — испугался Обнинский. — Я их к этим часам на пушечный выстрел не допускаю. Святое правило.

— Очень разумное правило, — согласился отец. — Но мне думается, что сейчас можно сделать из него исключение.

К тому времени Мецнер через своих петербургских знакомых разыскал придворного часовщика Генриха Вольфа, репутация которого не вызывала никаких сомнений. По приглашению Мецнера Вольф приехал в Москву и уже успел доказать, что ему не зря так густо курили фимиам. Он, правда, еще не вернул попугаю Микешина его былую разговорчивость, но все же механическая птица вновь запела. И неплохо запела. А это немало. И отец посоветовал Обнинскому (он никогда потом не мог себе этого простить) отдать часы Кулибина для починки Мецнеру.

— Надо воспользоваться представившейся возможностью. Когда Вольф опять окажется в Москве, одному богу известно, тем более что поговаривают, будто он собирается вернуться на родину.

— А он откуда родом?

— Из Баварии.

— Сколько он еще пробудет у Мецнера?

— С неделю. А учитывая, что Мецнер старый поклонник Кулибина, ваши часы он исправит в первую очередь.

— Ну что ж, спасибо за добрый совет, — сказал

Обнинский. — Не премину воспользоваться услугами Вольфа.

На следующий день Обнинский завез Мецнеру кулибинские часы. Мецнер был так счастлив, будто Обнинский сделал ему бесценный подарок.

— Вы себе даже не представляете, как я вам благодарен, — беспрерывно повторял он, прижимая руки к груди. — Если я смогу быть вам чем-либо полезен, я к вашим услугам.

Обнинский поинтересовался, когда часы будут готовы.

— Вольф ими займется тотчас же, так что не позднее субботы. Я не ошибаюсь, господин Вольф? — обратился он к голубоглазому человеку с идеально правильными чертами бледного лица, который что-то изучал в глубине комнаты.

— Простите?

— Я говорю, что часами Кулибина вы займетесь сегодня же. И, учитывая, что они в приличном состоянии, господин Обнинский, оказавший нам честь своим доверием, сможет их получить не позже субботы, не так ли?

— Я, я, я, — утвердительно закивал Вольф.

— Итак, жду вас в субботу, господин Обнинский.

А в пятницу Мецнер был убит. Его убили в спальне выстрелом из револьвера. Убийца совершил преступление ночью, но труп антиквара был обнаружен его приказчиком в восемь утра. Самые ценные вещи, в том числе кулибинские часы, были похищены. Обнинский рвал на себе волосы. Страшно переживал случившееся и отец, который, помимо всего прочего, был очень привязан к старому антиквару. Вскоре коллекция часов Мецнера была продана его наследниками какому-то богатому англичанину, а магазин покойного приобрел антиквар Васильев.

— Кто же убил Мецнера?

— Насколько мне известно, розыски велись месяца два или три, но закончились ничем. Убийцу так и не нашли. Кто убил Мецнера — осталось тайной.

— Но подозревали, разумеется, Генриха Вольфа?

— Нет. У Вольфа было, как вы обычно выражаетесь в своих повестях и романах, «железное алиби».

— Он что, накануне убийства уехал из Москвы?

— Нет, он просто не приезжал в Москву.

— То есть?

— Все это время Генрих Вольф находился в Петербурге, где его видели сотни людей.

— Чудеса!

— Никаких чудес. Все объяснилось предельно просто. Часовщик двора его величества и не думал покидать Петербург, чтобы погостить в Москве у Мецнера. Приглашением Мецнера воспользовался совсем другой человек, который выдал себя за Генриха Вольфа. Ведь Мецнер никогда раньше с Вольфом не встречался и в лицо его не знал. Так что обмануть антиквара было не так уж сложно.

— А кем в действительности оказался человек, выдававший себя за придворного часовщика?

— Неизвестно. Этого полиция не установила.

Мы помолчали, а затем я сказал:

— А вам не кажется, что в вашем детективе есть некая накладка?

— Ну, ну, с удовольствием выслушаю мнение профессионала, — усмехнулся Василий Петрович.

— Прежде уточним некоторые детали.

— Валяйте, — сказал он.

— Насколько я понимаю, приглашение Мецнера было адресовано непосредственно Вольфу?

— Совершенно верно.

— Тогда возможны только два варианта. Первый вариант: неизвестный узнал о приглашении лично от Вольфа. В таком случае убийца — хороший знакомый петербургского часовщика. Второй вариант: убийца узнал о приглашении от людей, близких Вольфу. И в том и в другом случае Вольф должен был стать отправной точкой в установлении личности преступника, тем более что убийца, судя по вашему рассказу, был немцем и весьма квалифицированным часовщиком, который даже смог починить попугая — ведь попугай запел, не так ли? Более того, убийца, если я не ошибаюсь, знал о намерении Вольфа покинуть Россию?

— Да, — подтвердил Василий Петрович. — Мецнер с его слов сказал об этом моему отцу.

— Кстати, Вольф действительно уехал в Баварию?

— Да, через два или три месяца после убийства антиквара. Но в чем же все-таки накладка?

— В том, что вы умолчали обо всем, что имело какое-либо отношение к Вольфу, который был ценнейшим источником сведений о самом преступнике и о совершенном им преступлении. Вольф не мог не быть в кур-

се происшедшего. Поэтому полиция наверняка начала с него. Что же он показал на допросе?

— Ничего, — коротко сказал Василий Петрович.

— Он что, отказался давать показания?

— Нет, Вольф не отказывался. Просто его никто не допрашивал.

— Но почему?

— Именно такой вопрос задал мой отец начальнику Московской сыскной полиции, которого он навестил месяца через полтора после убийства Мецнера, — сказал Василий Петрович. — Сыск тогда возглавлял некий Сорин, циник с весьма ироническим складом ума, которого считали пройдохой и карьеристом. Начальник сыскной полиции встретил отца любезно, но настороженно. «Почему до сих пор не опрошен Генрих Вольф, — спросил его отец, — а сыск, не в обиду будь вам сказано, ведется настолько вяло, что уже никто не возлагает больше надежд на полицию?»

Этот вопрос очень тогда развеселил Сорина. И знаете, что он ответил? Он сказал: «Уважаемый господин Белов, я очень польщен вашим любезным визитом и восхищен проявленным вами в этом деле энтузиазмом. Но, к глубочайшему своему прискорбию, должен вас огорчить. Вы, как я понимаю, разделяете убеждение миллионов подданных Российской империи, что русская полиция предназначена для розыска и задержания преступников. Это глубочайшее заблуждение, уважаемый господин Белов. Главная задача полиции вовсе не в этом. Она заключается не в том, чтобы искать преступников, а в том, чтобы искать благоволения начальства. Именно поиски второго рода приносят ищущим деньги, чины и ордена. Объясните мне, зачем нам опрашивать Вольфа и тем самым компрометировать его? Чтобы заполучить в его лице и в лице его покровителей злейших врагов или, в лучшем случае, просто недоброжелателей? Давайте с вами пофантазируем. Допустим, — я подчеркиваю: допустим — сегодня я допрашиваю Вольфа и узнаю от него, что разыскиваемый нами преступник — его баварский родственник. Более того, Вольф по своей непроходимой тупости признается, что тот узнал о приглашении Мецнера от него и поделился с ним, Вольфом, своими планами убить и ограбить московского антиквара. Это я, допустим, узнаю сегодня. А о чем я узнаю завтра, как вы думаете? А завтра я узнаю о том, что отстранен от должности начальника сыскной полиции и

отправлен на пенсию. Мне жаль Мецнера, но мне жаль и себя, уважаемый господин Белов. А впрочем... Хочу вас заверить, господин Белов, что полиция не пожалеет ни сил, ни средств, чтобы разыскать злоумышленника».

Так что, как видите, никаких накладок в этой детективной истории у меня нет. Накладки были у полиции, которая предпочитала закрыть глаза на все происшедшее. Никто Генриха Вольфа не беспокоил, и человек, выдававший себя за придворного часовщика, благополучно скрылся из Москвы, убив Мецнера и ограбив его магазин. Его фактически не искали.

Многих, в том числе и отца, отношение полиции к совершенному преступлению возмутило. После разговора с Сориным отец написал резкое письмо в Петербург в министерство внутренних дел. Ему ответили. Он снова написал.

Эта переписка длилась несколько месяцев, но толку от нее не было никакого. Отец ничего не смог добиться. Наверное, — продолжал Василий Петрович, — если бы в 1922 году я не рассказал обо всем этом Евграфу Николаевичу Усольцеву, предыдущая фраза («Отец ничего не смог добиться») была бы последней в истории, которую я вам сейчас поведал. Но в мае двадцать второго начальник Первой бригады Петрогуброзыска целый день провел у меня в роли примерного слушателя.

Евграф ни разу меня не перебил. Зато, когда я закончил, буквально засыпал вопросами.

Имя и отчество Мецнера? По какому адресу находился его антикварный магазин? Фамилии тех, кто жил вместе с антикваром? Наследники убитого? У кого мог сохраниться перечень похищенных в магазине вещей? Кто в Московской сыскной полиции непосредственно занимался расследованием убийства и ограбления Мецнера? Как выглядел человек, выдававший себя за Вольфа? С кем именно в министерстве внутренних дел переписывался отец? Сохранились ли ответы его адресата?

На большинство этих вопросов я не мог ответить ничего вразумительного и чувствовал себя недобросовестным свидетелем, который всячески старается скрыть хорошо известные ему факты. Туго, видно, приходилось людям, которых допрашивал Усольцев!

— Да, — сказал наконец Евграф Николаевич, убедившись в тщетности всех своих попыток добиться от меня толку, — с памятью у вас неважно. Но тут уж ничего не поделаешь. Будем искать.

— Что? — не понял я.

— Искать, говорю, будем.

— Что искать?

— Имущество, похищенное у Мецнера, понятно, — в свою очередь, удивился моей непонятливости Усольцев. — Чего же еще?

Я ожидал любой реакции на мою историю. Но мне все-таки не могло прийти в голову, что легенда о волшебных часах Бомелия и Великом часовщике, а также все последующие события, связанные с этой легендой, будут восприняты как заявление, поступившее в Петрогуброзыск от гражданина Белова В. П.

— Граня, я ведь совсем не имел это в виду...

— Ну и что?

— Я, право, не знаю... Да и столько лет уже прошло...

— А мы все-таки попробуем, — сказал Усольцев.

— Стоит ли?

— Стоит.

И что вы думаете? Через две недели после этого разговора я уже читал разысканные Усольцевым в архивах письма своего отца по поводу нерасторопности и волокиты полиции, расследующей убийство и ограбление Мецнера. Всего шесть писем. Все шесть адресованы в Департамент полиции тайному советнику Трегубову.

Усольцев обратил мое внимание на подчеркнутые им в одном из писем строки: «Считаю своей обязанностью честного человека сообщить Вам о факте, который не может не вызвать возмущения. Речь в данном случае идет не о бездействии сыскной полиции, что прискорбно само по себе. Третьего дня в Английском клубе я имел честь ужинать с известным коллекционером живописи господином Астановым. Астанов рассказал мне, что на прошлой неделе некий господин по фамилии Баранец предложил ему картину кисти Делакруа, заявив, что действует по поручению сотрудника Московской сыскной полиции господина Мастюрина, которому и принадлежит вышеуказанный холст. Астанов тут же телефонировал Мастюрину, и тот подтвердил полномочия Баранца. Одновременно Мастюрин сообщил Астанову, что картина якобы была приобретена им по случаю год назад в Нижнем Новгороде. Это было явной ложью. Астанов и я видели картину Делакруа в доме Мецнера за месяц до убийства. Мецнер купил ее в Тулоне, она ему очень нравилась, и он не собирался с ней расставаться.

Надеюсь, Департамент полиции сумеет сделать надлежащие выводы из этого возмутительного случая.

Сейчас, когда я уже заканчивал письмо к Вам, ко мне пришел приказчик Мецнера Хвостов. Он утверждает, что Мастюрин, осматривая место происшествия, на его глазах снял со стены три миниатюры, исполненные на слоновой кости, и положил их к себе в портфель. Когда-то подобные действия именовали грабежом. А сейчас как они именуются — исполнением служебного долга?»

Как уже выяснил Усольцев, Департамент полиции не захотел «сделать соответствующие выводы» из письма отца. Мастюрин к уголовной ответственности не привлекался, с него даже не затребовали объяснений.

По мнению Усольцева, Мастюрин вряд ли имел какое-либо отношение к убийству Мецнера и к человеку, приехавшему в Москву под именем Вольфа. Но то, что Мастюрин приложил руку к разграблению коллекций убитого, никаких сомнений не вызывало.

Через год после происшедшего Мастюрин вышел в отставку. А десять лет спустя в списке чинов Московской сыскной полиции вновь появилась та же фамилия: Мастюрина-старшего сменил Мастюрин-младший, который, похоже, ни в чем не собирался отступать от семейных традиций. Но ему значительно меньше повезло, чем отцу: незадолго до революции Мастюрина-младшего с позором выгнали со службы и даже посадили. Его обвиняли в «деловых связях» с бандами Сашки Семинариста и Невроцкого. Оказалось, что оборотистый полицейский, который гарантировал уголовникам полную безнаказанность, каждый раз получал от 10 до 15 процентов бандитской добычи.

Как выяснил Усольцев, после амнистии, объявленной Временным правительством, Мастюрина выпустили на свободу, и он теперь вместе с семьей (Мастюрин-старший скончался год назад) проживает у родственников жены, и не где-нибудь, а совсем рядом, в Гостилицкой волости Петергофского уезда, где содержит маленькую мастерскую по изготовлению замков и ключей.

Я ожидал, что на этом и закончится уголовно-правовой экскурс Усольцева в историю, но, как выяснилось, я плохо знал начальника Первой бригады Петрогуброзыска. Усольцев старался никогда не делать напрасной работы и, задумав что-либо, доводил все до логического конца.

— Тут ведь какая петрушка, — сказал мне Евграф Николаевич. — Я пошуровал малость в канцелярии — и не зря. Оказывается, к нам поступал сигнал, что Мастюрин-младший балуется скупкой краденого. Нефедов оправдывается — руки не доходят. Плохие руки — потому и не доходят. Ведь это же просто замечательно!

— Что замечательно?

— Что он скупкой краденого балуется.

— Что же тут замечательного?

— А то, что у нас есть все юридические основания для допроса и обыска. И мы этими основаниями воспользуемся.

— Но ведь столько лет прошло!

— Верно, — согласился Усольцев, — шансов немного, но ведь они все-таки имеются. Почему же ими не воспользоваться? Авось фортуна и улыбнется.

И фортуна улыбнулась... В саду родственников жены Мастюрина между двумя клумбами сотрудники Петрогуброзыска нашли зарытыми в землю не только тюки с крадеными шубами и мануфактурой, но и небольшой, аккуратно завернутый в клеенку ящик со старинными часами.

— Вот это, пардон, попрошу мне не клеить, — сказал Мастюрин-младший. — Это не мои, это папашины трофеи. А с покойников какой спрос?

Видимо, большинство часов, обнаруженных в ящике, принадлежало когда-то Мецнеру. Я узнал часы работы Питера Генлейна и «секретные часы» лондонского часовщика Джона Шмидта, которые потом некоторое время находились в музее Петрогуброзыска, удивляя своей необычностью всех посетителей.

— Что ж папаша не продал их? — спросил я Мастюрина-младшего.

— Старинные часы — вещь дорогая и деликатная, — объяснил он, — не каждому по зубам и по карману. А любители, что с деньгами, коллекцию Мецнера досконально знали. Папаша не раз обжигался, потому и не спешил. Перемудрил папаша, сам себя перехитрил.

Итак, фортуна улыбнулась нам. Но расчеты Усольцева на ее постоянную благосклонность не оправдались. После удачного обыска у Мастюрина-младшего последовала многолетняя полоса невезения.

Кто же убил Мецнера? Кому и для чего было нужно это убийство? Никто не мог ответить на эти вопросы.

Но недаром говорят, что тайное рано или поздно становится явным.

И вот много лет спустя нам с Усольцевым удалось пролить некоторый свет на происшедшее. Во всяком случае, мне так кажется...

— Когда же это случилось? — спросил я.

— В тысяча девятьсот сорок пятом году, сразу же после окончания Великой Отечественной войны.

— Палитра янтаря содержит все цвета радуги. Есть белый янтарь, желтый, золотистый, коричневый, кремовый, оранжевый, красный, голубой, зеленый, черный, — перечислял Василий Петрович. — Янтарь насчитывает от двухсот до трехсот оттенков. Кстати, когда будете в кремлевской Оружейной палате, обратите внимание на восемь подсвечников из янтаря, собранных из точеных деталей, вазы с резным узором, кружки, рюмки и кубки. Одна из ваз может быть наглядным пособием по разнообразию цветов и оттенков янтаря. Там использованы красноватые цвета, коричневые, золотой, лимонный, яично-желтый, восковой. А как мастер показал пластичность янтаря и его декоративные возможности! На чаше этой вазы с поразительным изяществом вырезаны цветы, листья, фрукты и овальные медальоны с аллегорическими женскими фигурами, символизирующими человеческие добродетели. А на дне чаши — подкладной рельеф. Сквозь темную прозрачную пластинку янтаря проступают силуэты двух людей, несущих виноград.

Да, декоративные эффекты янтаря неисчерпаемы. Это понимали многие. И среди этих многих был прусский король Фридрих-Вильгельм I, который решил создать в своем дворце в Потсдаме необычный кабинет. В этой комнате все должно было быть сделано из янтаря: стены, украшенные рельефами, картинами и мозаиками, пол, потолок, мебель, скульптуры, подсвечники, люстра, письменный прибор, часы.

Изготовление Янтарного кабинета король поручил знаменитому резчику по янтарю датчанину Готфриду Туссо, который приступил к работе в 1701 году, а закончил ее восемь лет спустя — в 1709-м. Вскоре после завершения работ Янтарная комната по приказу короля была перевезена в Берлин. Здесь ее и увидел Петр I. Янтарное убранство кабинета очаровало русского царя,

и в 1716 году Фридрих I, крайне заинтересованный в сохранении дружеских отношений с Россией, дарит Петру янтарное чудо.

В упакованном виде Янтарная комната была отправлена в Клайпеду, а оттуда — в Петербург.

В царствование Елизаветы подарок Фридриха I по повелению царицы перевезли из малого Зимнего дворца в Царское Село. Янтарные панели осторожно переносили на своих могучих плечах 76 бравых гвардейцев, специально отобранных для этого важного дела.

В Царском Селе творение Готфрида Туссо преобразилось. В обновлении Янтарной комнаты, смонтированной в Екатерининском дворце, приняли участие сотни русских умельцев. Появились новые резные фигуры, вензеля, цветочные гирлянды, янтарная мозаика. Между янтарными панелями разместили зеркальные пилястры. Золоченый карниз, который связывал воедино всю композицию, украсили изящные фигурки амуров. Из янтаря дополнительно были сделаны столики, люстры, шахматы, миниатюрный дворец и неизменная принадлежность русского быта — пузатый самовар.

Так Янтарная комната стала украшением Екатерининского дворца.

После установления в России Советской власти тысячи трудящихся получили возможность любоваться этим янтарным чудом. Уникальная комната неизменно привлекала внимание и наших и зарубежных экскурсантов.

А в 1941 году бывшее Царское Село, превратившееся в город Пушкин, было занято немецкими войсками. В Екатерининский дворец немедленно прибыли офицеры-искусствоведы. Вскоре комната была разобрана гитлеровцами, упакована в ящики и отправлена в Кенигсберг (теперь Калининград). Здесь ее вновь смонтировали в королевском замке. Весной 1945 года Янтарную комнату разобрали и спрятали в подвалах ресторана «Блютгерихт». Здесь Янтарная комната находилась еще за несколько дней до штурма города советскими войсками, а затем исчезла.

Ее розысками занимались многие учреждения и многие люди, в том числе и Евграф Николаевич Усольцев, который одно время к этим розыскам приобщил и меня, вернее, не столько к самим розыскам — это было больше по его линии, — сколько к описанию различных деталей комнаты, что должно было облегчить

поиски ее, а в случае необходимости — реконструкцию.

Тогда я по работе довольно часто сталкивался с сотрудником известного знатока янтаря Роде, молодым немецким искусствоведом Георгом Гудденом, который принимал участие в описании мозаик Янтарной комнаты. Гудден в начале войны служил в управлении немецких войсковых музеев. Противник фашистского режима, он при первом же удобном случае перешел к нашим.

Гудден очень хотел помочь нам отыскать следы Янтарной комнаты, но это ему оказалось не под силу. Зато с его помощью удалось, кажется, прояснить кое-что другое...

Я понял, что повествование Василия Петровича достигло кульминационной точки. Это чувствовалось и по голосу и по выражению лица рассказчика.

— С Усольцевым, — продолжал Белов, — мы в то время встречались только на работе, поэтому меня несколько удивил его неожиданный приезд ко мне на квартиру. Еще более меня удивил вопрос, который он мне задал — что я знаю об обстоятельствах самоубийства Людовика II Баварского?

Не могу сказать, чтобы меня когда-либо интересовала биография злосчастного короля. Однако я знал, что Людовик утопился в озере у своего замка Берг, из которого последние годы он почти никуда не выезжал, ведя крайне уединенный образ жизни.

— Все? — спросил Усольцев, когда я ему выложил свои сведения.

— Все.

— А про профессора Гуддена, который пытался удержать короля от самоубийства и утонул вместе с ним, вам известно?

— Нет, неизвестно.

— А то, что ваш коллега Георг Гудден приходится тому профессору внучатым племянником?

— Тоже неизвестно, — разозлился я. — И вообще, какое все это имеет ко мне отношение?

— Самое прямое, — сказал Усольцев и рассказал мне о своем разговоре с Георгом Гудденом, во время которого выяснилось некое сенсационное обстоятельство.

Оказалось, что во время их беседы Гудден упомянул, что, по семейным преданиям, когда труп короля вытащили из воды, в его сведенной руке обнаружили «детскую механическую игрушку в виде зеленого попугая».

Попугай был величиной со спичечный коробок, с растопыренными крылышками и хохолком на голове...

— Представляете? — спросил меня Белов.

Мне казалось, что, наслушавшись рассказов Василия Петровича, я совсем отвык удивляться. Выяснилось, что нет, не отвык. Упоминание о попугае ошеломило меня.

— Вы думаете...

— Вот именно, — подтвердил он, не дослушав меня до конца. — Георг Гудден весьма подробно описал «детскую механическую игрушку». Это была точная копия птички на часах Штернберга и Кулибина «Говорящий попугай».

— Вы хотите сказать, что человек, который убил и ограбил Мецнера, возможно, действовал по повелению Людовика II?

— Во всяком случае, не исключаю этого.

— Но зачем королю Баварии могли потребоваться эти часы?

— Представления не имею.

— Он же не был сумасшедшим!

— Был.

— Что — был?

— Сумасшедшим был, — сказал Василий Петрович.

На какое-то время я потерял дар речи.

— Это факт, подтвержденный заключением психиатров. Он был параноиком. Баварией, по меньшей мере шесть лет, правил безнадежно сумасшедший.

— И никто не заподозрил неладного?

— Разумеется. Да и кого это интересовало? Есть король? Есть. Ну и слава богу! Кабинет министров насторожился лишь тогда, когда король потребовал на свое содержание дополнительных денег, хотя, с моей точки зрения, это было единственное разумное, что он сделал.

Живя в одном из своих роскошных горных замков и окруженный придворными и стражей, король воображал себя то Лоэнгрином, то горным духом, то рыцарем Тристаном. Но кем бы он ни был в ту или иную минуту (Вагнером, Наполеоном, Рембрандтом или Марией-Антуанеттой), он постоянно разрабатывал планы пополнения королевской казны.

Для займа в 26 миллионов марок Людовик тайно посылал своих агентов в Бразилию, Константинополь и Тегеран. В случае неудачи с займом король распорядился найти и завербовать подходящих людей для ограбления банков во Франкфурте, Штутгарте, Берлине и Париже.

Кроме того, в разные страны им было отправлено четверо придворных. Каждому из них предписывалось раздобыть любыми способами и привезти ему по двадцать миллионов. Вот почему вполне возможно, что одним из этих четверых и был человек, выдававший себя за придворного часовщика Генриха Вольфа. Как-никак, а имущество Мецнера оценивалось в солидную сумму.

Что же касается часов Штернберга и Кулибина, то должен сказать, что Людовик, несмотря на свое сумасшествие, умел ценить прекрасное. А что может быть прекрасней старинных часов, сделанных золотыми руками мастера?!

— Ну хорошо, — сказал я. — Допустим, «Говорящий попугай» действительно оказался в Баварии. Но астрономические часы Кулибина, которые принадлежали Обнинскому? Какие основания полагать, что они разделили участь «Говорящего попугая»?

— Пожалуй, никаких, — раздумчиво сказал Василий Петрович. — Вполне возможно, что убийца не обратил на эти часы никакого внимания, и их в суматохе присвоил кто-то из агентов сыскной полиции. Не исключено также, что, покидая Россию, преступник продал их кому-либо из любителей. Да мало ли что еще?

— Значит, надежда отыскать кулибинские часы еще не потеряна?

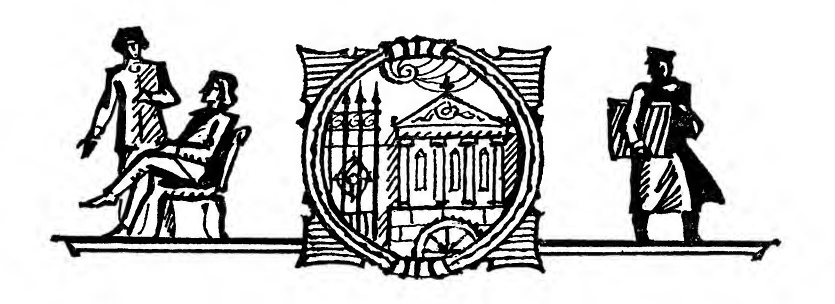
— Конечно, нет. Может быть, сейчас, когда мы с вами беседуем, кто-то в Москве, Горьком или Ленинграде уже пишет письмо, подобное тому, какое получила в 1853 году редакция «Москвитянина»: «Если угодно редакции прислать освидетельствовать... то я очень рад буду, что диковинное произведение нашего русского механика, стоившее ему много труда и соображений, не погибнет в реке неизвестности. Жительство имею...» Все может быть, голубчик! Но как бы то ни было, а кое-что вы уже отыскали...

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Как что? Повесть-легенду о волхве Бомелии, его волшебных часах, Иоанне Васильевиче Грозном, нижегородском купце Михаиле Костромине и выдающемся механике-самоучке, часовщике-кудеснике Иване Петровиче Кулибине, память о котором живет в России и по сей день...

«Так, так, так, так», — подтвердили сказанное Василием Петровичем висящие на стене голубые ходики в виде избушки.





Экспонат № 5



В этом году осень была ранняя. Шел унылый дождь. Даже не верилось, что всего месяц назад, когда Василий Петрович уезжал на юг, в скверах и парках вовсю щебетали воробьи, а над городом в ярко-голубом небе красовалось румяное солнце.

В подъезде дома, где жил Белов, пахло вареной капустой, прогорклым постным маслом, рыбой и керосином. Это свидетельствовало о том, что за время отсутствия Василия Петровича здесь ничего не изменилось: соседи слева по-прежнему готовили к обеду щи, а те, что справа, жарили на керосинке рыбу.

— Вот ты и дома! — весело сказала дочка, стряхивая с плаща дождевые капли. — А лифт, как всегда, не работает...

Да, кроме погоды, здесь за прошедшее время действительно ничего не изменилось, подумал Василий Петрович, взбираясь по лестнице. И ошибся...

Уже открывая ключом дверь своей квартиры, он интуитивно почувствовал что-то неладное. Это «что-то» расшифровать он бы не смог, но в то же время понимал, что оно, пусть незаметное, едва уловимое, все-таки существует. И это «что-то» было крайне неприятным и ненужным, осложняющим жизнь.

Василий Петрович пропустил вперед дочь и зятя, который нес его фибровый чемоданчик, прикрыл за собой дверь, поставил в угол зонтик и, снимая привезенные дочерью на вокзал калоши, с опаской огляделся. Именно с опаской.

Большая прихожая с потертым ковриком и щербатым паркетом была такой же неуютной, как и месяц

назад. Пыль, паутина у лампочки, сухой скрип паркета, рассохшаяся вешалка, которую давно уже следовало подновить.

Гм, вешалка, вешалка...

Ну конечно. На вешалке не было его хорьковой шубы. Была шуба — и нет шубы. Исчезла. И соседний крючок, на котором висело его почти новое демисезонное пальто, тоже пустой.

Интересно. Очень интересно... А что, собственно, интересного? Кража. Обычная квартирная кража. Когда его последний раз обокрали? Лет двенадцать назад? Самое время. Уезжая в Железноводск, он просил зятя, молодого и, как постоянно утверждает дочь, подающего большие надежды химика, присмотреть за квартирой. Тот заверил, что все будет в наилучшем порядке. И вот пожалуйста! Хорош порядок, ничего не скажешь!

— Папа, мне кажется, что здесь кто-то до нас побывал, — неуверенно сказала дочь, которая знала, что гипотезы ученый может высказывать любые, но утверждать что-либо имеет право лишь на основе тщательно проверенных фактов.

— Мне это тоже кажется, — поддержал ее Василий Петрович, тупо разглядывая ржавый гвоздь, на котором еще так недавно висел эскиз Левитана.

Зять молчал, а дочь с интересом спросила:

— Но кто бы это мог быть?

— Вор, — сказал Василий Петрович тем самым тоном, каким привык отвечать на глупые вопросы студентов. — Квартирный вор.

— Выходит, тебя обокрали? — сообразила наконец дочь. — Но как он сюда попал? Дверь же была закрыта...

— Через балкон, — объяснил зять. — Вскарабкался по водосточной трубе на балкон, а балконную дверь открыть — раз плюнуть. Видишь, крючок сорван?

В сопровождении зятя и дочери Василий Петрович молча осмотрел кухню, одну комнату, затем другую.

Он не был Шерлоком Холмсом, но некоторое представление о незваном госте уже составил: молодой, спортивного склада (другой бы во время этого акробатического этюда свернул себе шею), ценитель антиквариата, не лишен художественного вкуса, педант и аккуратист. Интеллигент, словом. Небось на развешанные в кухне детские этюды дочки не польстился, а гордость Василия Петровича, эскиз Мане, взял, или, как это нын-

че говорят, спер. И карандашный набросок Дега слямзил, и редчайший персидский ковер, и индийскую палицу XVIII века с резной рукояткой из слоновой кости.

С письменного стола исчезли отделанная серебром фарфоровая табакерка екатерининских времен, настольная лампа с веселым китайским божком, сафьяновая папка, в которой находилась рукопись незаконченной статьи.

«Неужто заодно подпер и рукопись?!» — испугался Василий Петрович. Нет, не подпер. Вот она, родимая. Незваный гость со свойственной ему аккуратностью извлек ее из понравившейся ему папки и положил на стол, придавив стеклянной пепельницей, которая, видимо, не отвечала его эстетическим вкусам. И за то спасибо.

Василий Петрович взял в руки стопку бумаги, полистал. Кажется, рукопись была в полном порядке. Вот и чудесно. Но что это? Василий Петрович поспешно надел очки. Странно...

На одной из страниц мягким карандашом было отчеркнуто несколько строк.

«Подделывая для мебельного гарнитура палисандровое дерево, — прочел Василий Петрович, — мастер, видимо, использовал так называемый «баварский рецепт» — десять частей кассельской земли, четыре части соды, одна красного хромово-кислого кали и сто шестьдесят частей воды. А обычный перламутр он превращал в черный, держа его сутки в насыщенном растворе хлористого серебра в нашатырном спирте, а затем выставляя на солнце...»

Сбоку тем же карандашом корявым почерком было написано: «Ха! Соды нужно не четыре части, а шесть. И перламутр для устойчивости окраски следует держать в растворе хотя бы двое суток».

Да, действительно, для окраски в черный цвет перламутр, видимо, следует держать в растворе не менее двух суток. Тут у него получилась накладка. И с палисандром, кажется, тоже. Василий Петрович перелистнул несколько страниц.

«Подделки под старинную бронзу»...

«...Для образования патины, которая, по мнению людей не сведущих в бронзе, является самым достоверным свидетельством многолетней истории того или иного бронзового изделия, Беспалов использовал старый и хорошо проверенный способ. Он смачивал части бронзовой инкрустации раствором нашатыря с винным камнем и

азотнокислой медью. После этого правильно определить возраст инкрустации из бронзы мог только специалист».

Пометка тем же корявым почерком: «Так, да не так. Без добавки поваренной соли ни черта не выйдет».

Еще несколько страниц.

«...Вместо слоновой кости использовалась порой обычная картошка, специально обработанная серной кислотой большой крепости. Этот простой и дешевый способ имитации слоновой кости приобрел в России большую популярность к середине XIX века».

И тут же: «Так то к середине XIX века, а Беспалов когда жил?»

Таких замечаний на полях рукописи было около двадцати. И следовало признать, что таинственный рецензент чаще всего оказывался прав. Но какая чудовищная неграмотность!

— Двадцать три орфографические ошибки, — сказал Василий Петрович.

— Что? — спросил зять.

— Да так, ничего. Ты, надеюсь, мою рукопись никому не давал?

— Как же я мог без вашего разрешения?

— Ну конечно, — кивнул Василий Петрович, — прости за дурацкий вопрос. Но, видишь ли, меня смутили вот эти замечания на полях. Получается, что вор читал рукопись. Понимаешь? И не только читал, но и, так сказать, рецензировал...

— Простите?

— Р-рецензировал, — слегка запнулся Василий Петрович.

Зять внимательно посмотрел на него.

Между тем Василий Петрович вновь стал листать свою рукопись, которая теперь его притягивала словно магнит.

«...Свежий дуб приобретает вид старого, ежели изготовленную из него мебель некоторое время держать в закрытом помещении, где стоят откупоренные склянки с нашатырным спиртом. Подобный же результат можно получить с помощью раствора асфальта в скипидаре».

— Папа, — не выдержала наконец дочь, — чем ты занимаешься? Я с уважением отношусь ко всем твоим увлечениям, но ведь всему есть предел. Ограблена квартира, а ты... Вместо того чтобы позвонить Усольцеву, ты вдруг занялся своей рукописью. Это же смешно! Ну что

ты говоришь? Какой там вор-рецензент? Честное слово, смешно!

— Зачем горячиться? — сказал зять и повернулся к Василию Петровичу. — Если не возражаете, я подойду в милицию. За шубу и пальто не ручаюсь, а живопись, надо думать, разыщут. Левитан, Мане и Дега не ширпотреб. Как считаете, Василий Петрович?

Но Василий Петрович даже не повернул в его сторону голову. Он уже не видел ни зятя, ни дочери, ни своей квартиры и ничего не слышал, кроме безутешных рыданий фаворитки французского короля Людовика XIV — маркизы де Монтеспан. Маркиза рыдала громко. Очень громко. И все же Василий Петрович вряд ли расслышал бы сквозь толщу веков эти рыдания, если бы они и сама маркиза не имели прямого отношения к знаменитому мебельному гарнитуру, известному специалистам под названием «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура», и к тому человеку, который, рискуя жизнью, карабкался по ржавой водосточной трубе, чтобы обчистить квартиру и оставить о себе память на страницах неоконченной рукописи Василия Петровича.

Василий Петрович улыбнулся и, продолжая улыбаться своим воспоминаниям, сказал мне:

— Почти двадцать лет прошло с того дня, голубчик. Уже юбилей можно справлять. А такое ощущение, будто все случилось на прошлой неделе: так запечатлелись мои тогдашние переживания, выражения лиц дочери и зятя, беседа с появившимся вскоре милиционером и вполне обоснованная надежда на то, что судьба наконец сжалилась надо мною... Чего смеетесь? Я тогда просто ликовал. И у меня были для этого все основания: ведь недаром говорится, что и в несчастье бывает счастье. Бывает, бывает, и еще какое счастье!

Необыкновенными приключениями созданного Булем мебельного гарнитура «Прекрасная маркиза» я к тому времени занимался уже несколько лет. В происшедших событиях были замешаны — прямо или косвенно — не только Буль и русские краснодеревщики, но и прославленная колдунья Катрин Монвуазен, сожженная на костре по приговору тайного особого суда, любовница французского короля маркиза Монтеспан. Поэтому у меня постепенно образовалась довольно обширная картотека, насчитывавшая около сотни карточек. И вот сре-

ди этих карточек, занятых историческими личностями, имелась одна незаполненная. Она предназначалась не для императора, короля или, допустим, маркизы, а для скромного тихого человека, который никогда не претендовал на известность и боялся популярности, как черт ладана, — для профессионального вора, известного по кличке Гусиная Лапка, он же Гриша Прыг-Скок.

Нет, Гриша честолюбием не отличался и совсем не спешил занять в моей картотеке почетное место среди умельцев и коронованных особ. Ему было в высшей степени плевать не только на коронованных особ, но и на интересы науки. И это меня огорчало. Беспалов располагал сведениями, без которых я не мог закончить свою работу над рукописью.

Мне нужно было обязательно встретиться с ним. И вот, когда я уже потерял надежду увидеть его, Гриша сам нанес мне визит. Мало того, не дожидаясь моей просьбы, он проявил любезность и по собственной инициативе прорецензировал написанное. Правда, гонорар за рецензию был несколько завышен, — по моим расчетам, он не должен был превышать стоимости хорьковой шубы, — но разве можно сбрасывать со счета авторское самолюбие и то немаловажное обстоятельство, что рецензенту пришлось рисковать своей столь драгоценной для науки жизнью, когда он взбирался по водосточной трубе? А риск встречи с представителями милиции? А накладные расходы на приобретение воровских инструментов?

Нет, все правильно, чего уж там. Было лишь обидно, что мы не встретились. Ведь многие волновавшие меня вопросы так и остались неразрешенными. И если бы не опасность прослыть сумасшедшим, я бы дал в газету объявление:

«Хозяин обокраденной квартиры в интересах науки просит уважаемого вора в удобное для него время посетить вышеуказанную квартиру для консультации. Полная безопасность и приличное вознаграждение гарантируются».

В комнату, поскрипывая сапогами, вошел Усольцев, поздоровался.

— Ну, Евграф Николаевич, поздравляю, — сказал я. — От всей души.

Он с любопытством посмотрел на меня.

— Это с чем же, интересно, с кражей, что ли?

— С экспонатом № 5 в вашей витрине. Помните, я вам рассказывал про мебельный гарнитур?

— До экспоната № 5 мы еще доберемся, — буркнул Усольцев, — а вот как бы нам до воров квартирных добраться... Сорок девятая квартирная кража по городу!

Увы, у Евграфа были свои проблемы. Его не столько волновал экспонат № 5, сколько уровень раскрываемости квартирных краж. Да, Усольцев тоже не мог разделить моей радости. Что тут поделаешь!

— Сейчас к дереву относятся с некоторой небрежностью, что ли, как к чему-то недостойному подлинного уважения и внимания, — сказал Василий Петрович. — А ведь дерево не только верно служило людям, но и сопровождало человечество на всех этапах его истории. Почти с каждой породой деревьев связаны мифы, предания, легенды. Возьмите хотя бы осину и бузину. Почему-то эти деревья, впрочем, как и тополь, вызывали у людей мрачные мысли. Считалось, что на осине повесился Иуда, а на прутьях бузины мчались верхом на свой шабаш ведьмы.

Зато кипарису, в честь которого назвали остров Кипр, повезло значительно больше. Именно из него непобедимый Геракл вырезал себе палицу, а Юпитер — божественный скипетр. Не обидели в мифологии и дуб, и ель. Из дуба была сделана мачта корабля аргонавтов, ель же использовали для изготовления знаменитого троянского коня.

Нередко древние даже поклонялись деревьям, обожествляли их. Так, святыней Рима была старая смоковница, под которой согласно легенде волчица выкормила своим молоком основателей вечного города — Ромула и Рема. Это дерево считалось чем-то вроде души Рима. Зеленеет оно — значит, все в порядке. А если начинают вянуть на ветвях листья, то жди беды: надвигается опасность, угрожающая существованию могучего государства. Не меньшим почтением у римлян пользовался и священный дуб на Капитолии, к которому Ромул якобы принес свою первую добычу.

В Древней же Греции почти у каждого бога было свое любимое дерево. Платан посвятили прекрасному Аполлону, плющ — жизнерадостному Дионису, а могучий дуб — Зевсу.

И все же в многовековой истории человечества деревья были значительно ближе к людям, чем к богам. Верные друзья, и в горе, и в радости они согревали лю-

дей огнями костров, укрывали от непогоды крышами хижин, обували и одевали. С помощью деревянных луков и стрел охотники добывали мясо, земледельцы деревянным плугом вспахивали землю, а рыбаки в деревянных лодках выезжали на промысел. Благодаря дереву люди научились сравнительно быстро передвигаться по земле и воде — завертелись колеса, надулись паруса. Из дерева делали украшения, игрушки, посуду и, конечно же, мебель, в том числе столы и стулья — необходимые атрибуты любого прогресса. Разве можно себе представить без них труд ученого, писателя или философа?

Мебель, в нашем понимании этого слова, возникла довольно давно. Во всяком случае, как выяснилось, древние египтяне не только строили пирамиды для мертвых, но и с большим знанием дела заботились о комфорте живых. По меньшей мере уже пять тысяч лет назад они пользовались деревянными кроватями, стульями, столиками, кушетками, ларями для хранения одежды, табуретками. Вся эта мебель, по утверждению специалистов, отличалась изяществом, красотой, верностью пропорций, плавными и гармоничными линиями.

Кровати оказались намного выше наших. Вместо подушек египтяне пользовались деревянными подголовниками полукруглой формы, матрасы же были слегка наклонены от головы к ногам.

Некоторые современные любители острых ощущений спали на этих кроватях и пришли к единодушному выводу, что нынешним краснодеревщикам есть чему поучиться у прежних. Я на такой кровати не спал, поэтому спорить не буду. Может быть, они и правы. Но справедливости ради должен заметить, что древние египтяне уже тогда освоили не только технику мебельного мастерства, но и технику мебельной халтуры.

Тысячи лет прошло со времен египетской культуры, и все эти годы мебель шла в ногу с человечеством. Об этом с достоверностью свидетельствует собранная в музеях мира мебель древних греков и римлян, романская и готическая, в стиле классицизма и барокко, ампир и рококо, елизаветинская мебель, павловская, александровская, мавританская.

Я бы с удовольствием рассказал вам про мастеров, которые составили эпоху в мебельном деле, — про мага и волшебника Иоанна Веронского, возродившего в мебели XV века красочное искусство мозаики и инкру-

стации, про легендарного Фому Рукера, прославившегося своим знаменитым резным креслом, про венского мебельщика Тонета и мастера-самородка из Козьмодемьянского уезда Казанской губернии Ивана Гусельникова, артистически делавшего изящную гнутую мебель из черемухи. Но боюсь, что это слишком далеко уведет нас в сторону от того мебельного гарнитура, который в двадцать седьмом году напомнил мне о себе исчезновением хорьковой шубы и этюдов знаменитых художников. Кроме того, заставлять себя ждать невежливо. А нас с вами ждут. Ждут в Париже середины XVII века.

Путешествие, вне всяких сомнений, очень приятное. Но все-таки не обольщайтесь. Париж того времени не лишен ряда недостатков. Помои там, например, выплескивают прямо из окон. Поэтому улицы, естественно, не отличаются ни чистотой, ни приятным запахом. Перебираясь с одной стороны переулка на другую, неосторожный дворянин из провинции рискует завязнуть в грязи или утонуть в сточной канаве. Но зато он может не сомневаться, что здесь его жене сделают одну из самых модных причесок — «юрлю-берлю» или «палисадник» и парикмахер позаботится о том, чтобы с помощью растопленного бараньего жира, яичных белков, помады и масла эта несравненная прическа сохранилась в неприкосновенности минимум полгода.

Если в кошельке провинциала звенело золото, к его услугам были самые искусные портные, сапожники, ювелиры, парфюмеры и повара. Если нет, тоже не беда: он мог попытать счастья при дворе короля-Солнце, его величества Людовика XIV.

Разве все эти блестящие возможности не стоили риска утонуть в зловонной канаве в центре Парижа?

И, зажав нос и опершись рукой на эфес шпаги, провинциал мужественно пробирался по закоулкам прекрасного города.

Так что рискнем и мы с вами, голубчик.

В Париже жило тогда много выдающихся людей: финансовый гений Франции знаменитый Кольбер, умевший из всего делать деньги для своего короля; Мольер и Расин; Никола Пуссен и Клод Лоррен; маршал и инженер Себастьян Вобан и, наконец, тот, кто сейчас нас больше всего интересует, — Андре Шарль Буль. Для знакомства с ним и с его творчеством мы и отправимся в наше маленькое путешествие.

— Биография Буля может быть изложена в нескольких фразах, — продолжал свое повествование Василий Петрович. — Родился он в 1642 году в Париже. Обучался в столярной мастерской своего отца. В 1672 году его изделия привлекли внимание Людовика XIV, который распорядился зачислить Буля придворным столяром. В 1732 году Буль умер. Вот и все. Биография человека, в жизни которого не было особых событий. Но суть в том, что жизнь Буля сама по себе была событием. Событием для всех тех, кто мог любоваться его творчеством.

Современники свидетельствуют, что Буль был незаурядным архитектором, талантливым гравером, выдающимся специалистом по деревянной мозаике и непревзойденным мастером художественной мебели. Именно мебель увековечила его имя во всех энциклопедических словарях мира, она же напоминает о своем создателе многочисленным посетителям Лувра, Версаля, Фонтенбло и музея Клюни в Париже.

Чем же работы Буля отличались от работ других талантливых мастеров?

Василий Петрович достал с полки том энциклопедии и прочел:

— «Мебель Буля характерна для так называемого стиля Людовика XIV, ставившего своей целью окружить ореолом подавляющего величия и роскоши особу монарха. Буль довел до высокой степени совершенства технику интарсии (мозаики из дерева). Он стал использовать для своих инкрустаций множество разнообразных по тону и строению сортов дерева, бронзу, перламутр, слоновую кость, добиваясь большого колористического богатства и замечательных декоративных эффектов».

В этой краткой, но достаточно точной характеристике творчества прославленного мастера я вас попрошу в первую очередь обратить внимание на то, что он использует «множество разнообразных по тону и строению сортов дерева», — сказал Василий Петрович. — Буль знал дерево, чувствовал его, любил, и дерево отвечало ему взаимностью, щедро одаряя многообразием своей красоты.

Ель, дуб, кипарис, ольха, ясень, береза...

Для профана все они на одно лицо. А ведь у каждого из них свой темперамент, характер, свои сильные

и слабые стороны. Древесина одного прочна, но не гибка, а другого хорошо обрабатывается, прекрасно полируется, однако изделия из нее недолговечны. Третье — быстро коробится и разрушается на воздухе, но никогда не подведет в воде. Вспомним хотя бы ильм. Перед ним прекрасная Венеция в неоплатном долгу: как-никак, а значительная часть ее зданий уже много десятилетий стоит на ильмовых сваях, которые добросовестно несут свою нелегкую службу.

Люди, постоянно имеющие дело с деревом, хорошо разбираются в сильных и слабых сторонах того или иного вида древесины. И подлинными доками тут всегда были столяры-краснодеревщики. В мебели ценилась и ценится не только прочность, но и красота. А красота, в свою очередь, во многом зависит от древесины, от ее так называемой текстуры, то есть рисунка. Рисунок же определяется направлением разреза, шириной и строением годичных слоев того или иного дерева, особенностью его сердцевинных лучей, направлением древесных волокон и так далее. Волнистость и свилеватость древесины очень высоко ценятся в мебельном производстве. И не зря. У березового, например, капа древесина имеет перламутровый отлив, а рисунок напоминает рисунок мрамора. Еще более эффектны нежно-розовый с кружевным рисунком ольховый кап и крайне редко встречающийся вишневый.

Не меньшее значение, чем рисунок, будет иметь для краснодеревщика и цвет древесины, ее тона и оттенки. Я могу вам перечислить по меньшей мере около двухсот колеров, свойственных различным деревьям, причем не только деревьям экзотическим, но и тем, что сопровождают нас от рождения и до могилы. Вспомним хотя бы ольху. Что может быть будничней этого неказистого дерева? А у ее древесины нежный красноватый цвет.

Древесина акации снежно-белая, с красными прожилками, придающими ей неповторимое своеобразие. Палисандр — темно-коричневый, с фиолетовым отливом, мореный дуб — черный, темно-серый.

Добавьте к перечисленному гаммы оттенков багрового, пурпурового, каштанового, бурого, вишневого, которые присущи различным сортам красного дерева, и вы получите некоторое представление о палитре, которой располагает художник, работающий с деревом.

Что же касается Буля, то он не только великолепно знал неограниченные возможности дерева, чувствовал его пластику и фактуру, безошибочно разбирался в ри-

сунке и цвете. Буль тщательно изучал и широко использовал в своих работах все декоративные особенности многочисленных пород цветной древесины, подбирая наиболее выигрышные сочетания ее с бронзовыми рельефами, сингапурской черепаховой костью, рогом буйвола из Бомбея, китайским перламутром и полупрозрачной сиамской слоновой костью. Так красивое само по себе дерево становилось еще более эффектным, нарядным, составляя единый ансамбль с другими материалами.

Любуясь мебелью Буля, весельем ее красок, игрой светотени, причудливой изысканностью полутонов, невольно думаешь, что столяр Людовика XIV был, помимо всего прочего, и незаурядным живописцем, мастером колорита, который в отличие от других художников создавал свои картины не кистью и красками, а кусочками фанеры, слоновой и черепаховой костью, бронзой, рогом и перламутром.

И еще. В произведениях мастера есть одна немаловажная особенность, которая не сразу бросается в глаза: эта мебель — своеобразный рассказ об эпохе, которая давно ушла в небытие. Время короля, заявившего на весь мир, что государство — это он, отсвечивает темным полированным деревом, вспыхивает позолоченной бронзой, гордо высверкивает кружевом инкрустаций. Ожившее прошлое ощущается во всем, даже в цветовых оттенках, для которых в XVII веке существовали специальные, странные для нас названия — «цвет бедра испуганной нимфы», «цвет больной обезьяны» и даже «цвет потерянного времени».

Видите, как подстегивает фантазию мебель Буля? — спросил Василий Петрович. — А ведь учтите, что я начисто лишен воображения. — Он помолчал, а затем уже другим, деловым тоном сказал: — Булю повезло. В отличие от многих других выдающихся мастеров признание к нему пришло при жизни, когда он был в полном расцвете творческих сил. В 1675 году король спал на кровати работы Буля, сидел в булевском кресле и ел за булевским столом. Это уже была слава.

Каждый французский вельможа считал за честь сделать у королевского столяра мебель для своего дворца или замка. Но загруженный работой у короля Буль всем отказывал. Исключение составляли лишь родственники монарха и его фаворитки. Этим отказывать не полагалось. И тут, видимо, следует сказать, что, к неудо-

вольствию Буля, у «короля-Солнце» было весьма любвеобильное и вместительное сердце. В нем всегда находилось место для прекрасных, красивых, просто хорошеньких и ничем как будто не примечательных женщин. Но мастеру повезло. Маркиза де Монтеспан оказалась решительной дамой. Она быстро и энергично вытряхнула из королевского сердца и королевского дворца всех своих соперниц. А затем, дав понять, что не потерпит больше никаких перемен, прочно и со всеми возможными в XVII веке удобствами обосновалась в опустевшем сердце повелителя Франции.

Маркиза заказала Булю мебельный гарнитур для своего будуара и кровать для спальни.

Над этим заказом Буль работал не за страх, а за совесть. Уже через месяц гарнитур, получивший впоследствии известность под броским названием «Прекрасная маркиза», был доставлен из мастерской Буля заказчице. По мнению многих современников прославленного мастера, гарнитур был лучшим из всего, что создал Буль за всю свою долгую жизнь.

О гарнитуре говорили при дворе. О нем даже складывались легенды. То ли в шутку, то ли всерьез в нем обнаруживали волшебные свойства. Утверждали, что у человека, посетившего маркизу и посидевшего хотя бы час в располагающем к размышлению кресле, возникали мысли, достойные кардинала Ришелье или Монтеня. Софа и пуфы, стоило к ним лишь прикоснуться, придавали якобы изящество и элегантность самым неуклюжим кавалерам, которые во время танца способны были лишь отдавить ноги партнерше, а во время дуэли сами себя проткнуть шпагой. Зеркала в резных рамах щедро дарили очарование безнадежным дурнушкам и возвращали былую резвость пожилым дамам. Что же касается маленького инкрустированного столика черного дерева, то страдающая отсутствием аппетита герцогиня Орлеанская утверждала, что, сидя за ним, съела пятьдесят семь пирожных и, судя по всему, могла бы съесть еще столько же.

Являлся ли гарнитур «Прекрасная маркиза» вершиной творчества королевского столяра? Думаю, что вряд ли. У Буля, на мой взгляд, были значительно более удачные произведения. Но гарнитуру, который произвел такое сильное впечатление на современников мастера, нельзя отказать в оригинальности. Как-никак, а это был гарнитур-портрет.

В созданном Булем гарнитуре легко было разглядеть не только красоту маркизы, изящество и грациозность ее движений, горячий блеск глаз, кокетливый поворот головы, но и легкомыслие, душевную пустоту, невежество, жеманство, жестокость и многое-многое другое.

Хотел ли сам Буль превратить гарнитур в такой не совсем лестный портрет заказчицы, судить не берусь. Вполне возможно, что это у него получилось совершенно случайно. Но как бы то ни было, а портрет удался на славу.

Оригинальность гарнитуру «Прекрасная маркиза» придавала и символика деревьев, учтенная Булем при изготовлении этой мебели.

Мастер широко использовал кедр, из которого по преданию, были сделаны стрелы Амура (отсюда и одно из названий гарнитура); лавр — символ света и здоровья; дерево надежды — ель; бук, который, как утверждали древние греки, дарит величественность и способствует процветанию; дерево певцов и поэтов иву, которая делает красноречивыми даже заик.

Для кровати же Буль, помимо красного и палисандрового дерева, приберег боярышник, избранный древнегреческим богом брака сыном Диониса и Афродиты прекрасным Гименеем.

Кстати говоря, делая кровать, которая по моде XVII века была с пологом, витыми столбиками и узорчатой крышей, мастер не удержался от лукавой улыбки. В наборном дереве орнаментов, украшавших этот храм страсти и нежности, Буль использовал авраамово дерево (латинское название — «непорочный агнец»). А ведь тогда это дерево, вернее кустарник, считалось самым верным средством избежать греховного соблазна чувственности и поэтому являлось необходимой принадлежностью всех монастырей, помогая монахам и монахиням нести тяжкие тяготы целомудренной жизни и укрощать бунтующую плоть.

Впрочем, может быть, я возвел на мастера напраслину. Готов допустить, что Буль и не думал улыбаться. Вполне возможно, что он только стремился надежно оградить интересы своего повелителя, и «непорочный агнец» призван был помочь фаворитке без особых тягот с ее стороны хранить королю верность.

Должен сказать, что будущее маркизы оказалось отнюдь не таким безоблачным, каким она себе его представляла. И как ни верти, а виновата в этом была сама

маркиза. Не пригласи она для воспитания своих детей Франсуазу д'Обиньи, ставшую впоследствии маркизой Ментенон, и ее судьба и судьба мебельного гарнитура сложились бы совсем иначе. Но, увы, она пригласила эту даму, и ее приглашение оказалось роковой ошибкой. К сожалению, Франсуаза д'Обиньи была не только прекрасной воспитательницей. У нее оказалось такое неимоверное количество талантов, что вскоре на них стал обращать внимание сам король. Дальше — больше. Вскоре не оставалось уже никаких сомнений: король очарован талантами воспитательницы, а возможно, и ею самой...

Маркиза справедливо считала, что это уже совсем ни к чему. Но вместо того, чтобы набраться терпения и повести против пока еще неопытной соперницы тонкую дипломатическую игру, она поддавалась эмоциям, или, как тогда выражались, страстям, и стала делать одну глупость за другой.

Глупостей было сделано много. Но самой крупной было, конечно, обращение за помощью к мадам Монвуазен. Эта мадам начинала некогда как обычная акушерка, а впоследствии в поисках более доходной профессии превратилась в колдунью. Но не в обычную, а в колдунью для избранных. Она обслуживала только дам из высшего общества.

Среди клиенток Монвуазен были герцогини, маркизы, графини и баронессы.

Она изготовляла для них то малоаппетитные любовные напитки, которые состояли из крови летучих мышей, истолченных в пыль зубов крокодила, шпанских мушек и сушеных кротов, то мистические фигурки из воска (что сделаешь с такой фигуркой, то произойдет и с человеком, которого она изображает). Можно было у Монвуазен приобрести и яды, которые деликатно именовались «порошком для получения наследства».

Вначале маркиза Монтеспан напоила «короля-Солнце» коктейлем из крови летучих мышей и сушеных кротов, а убедившись, что любовный напиток не оказал на Людовика никакого воздействия, заказала «черную мессу». Но то ли Монтеспан не соответствовала вкусам дьявола, то ли у короля Франции были с ним приятельские отношения, но только «черная месса» тоже не дала никаких результатов. И тогда доведенная до отчаяния беспрерывными неудачами фаворитка — теперь уже бывшая — решила отравить короля и его любовницу с

помощью «порошка для получения наследства». У Монвуазен не было никаких возражений.

Для соперницы маркизы Монтеспан приготовили отравленные перчатки. Людовику же предстояло принять смерть от конверта с письмом.

Но, к счастью или к несчастью для подданных — судить не берусь, — этого не произошло.

Маркиза посидела, видимо, какое-то время в кресле работы Буля. И хотя у нее и не возникло мыслей, достойных кардинала Ришелье или Монтеня, кресло вернуло ей благоразумие.

Этим маркиза, возможно, спасла себя от смерти. Но ничего хорошего ждать ей не приходилось. Несколько дней спустя мадам Монвуазен была арестована на паперти собора Парижской богоматери. Для разбора этого нашумевшего дела Людовик XIV назначил тайный суд, названный «Пламенной камерой» или «Огненным судом». В результате судебного разбирательства колдунья для избранных вместе со своими помощниками и некоторыми клиентками была сожжена на костре. Многие другие обвиняемые оказались в тюрьме или были изгнаны из Франции.

Маркиза Монтеспан отделалась сравнительно легко. Но ее карьера — и при дворе и при Людовике XIV — была, разумеется, окончена. Маркизе пришлось покинуть двор, а затем и Париж.

В 1707 году прекрасная маркиза — впрочем, вряд ли к тому времени она оставалась прекрасной, так как ей уже исполнилось 66 лет, — скончалась. И вот тогда-то ее наследники с некоторым разочарованием узнали, что знаменитый мебельный гарнитур «Золотые стрелы Амура» был подарен усопшей проклятой колдунье Монвуазен.

Что же касается знаменитой кровати, в орнаментах которой, по слухам, притаилось целомудренное авраамово дерево, то ее судьба в какой-то мере была связана с Россией. Во всяком случае, существует предание, что когда Петр I посетил во времена регентства Париж, ему отвели великолепные апартаменты в Лувре. Регент позаботился о том, чтобы для русского царя сервировали роскошный стол и застелили самую лучшую в мире кровать, то есть ту самую кровать, которая была изготовлена Булем для несчастной маркизы Монтеспан.

Но грозный царь, чей кафтан немедленно вошел в Париже в моду под названием «одежда дикаря», не был

очарован ни изысканными яствами, ни великолепием предложенной ему постели. Петр на глазах остолбеневших французов отодвинул от себя блюда, тарелки и бокалы, крякнув, опрокинул стопку водки, запил пивом, закусил круто посоленной редиской с куском хлеба, приказал в целях экономии погасить свечи («Очень уж много жжете. Так недолго и в трубу вылететь») и ушел ночевать в гостиницу, чем и заслужил отзыв ядовитого Вольтера: «Этот чудак рожден быть боцманом на голландском корабле».

Таким образом, не воспользовавшись предложенной ему регентом кроватью, Петр избежал опасности, которая таилась в авраамовом дереве. Впрочем, русский царь и так был достаточно целомудрен, ибо в отличие от Людовика XIV не столько интересовался женщинами, сколько государственными делами.

Что же в дальнейшем произошло с кроватью работы Буля, неизвестно.

— И Киевская, и Московская, и Новгородская Русь возникли среди лесов, если можно так выразиться, под сенью леса, — немного торжественно сказал Василий Петрович. — Поэтому вполне понятно, что русские с древнейших времен знали дерево, чувствовали его.

И душа Древней Руси раскрывалась в дереве, в ладных рубленых избах, в ярких, как лес под солнцем, расписных боярских хоромах, в великокняжеских дворцах с многоэтажными, раскрашенными в разные цвета башнями, с причудливыми крылечками, лесенками.

Русь белела березами, алела рябиной, золотилась стволами сосен, зеленела елью и осиной.

На взгорках охорашивались, будто явившиеся из былин и сказок, веселые деревянные церквушки с чешуйчатыми крышами и резными подзорами, с фронтонами в виде кокошников, окнами, отделанными фигурными наличниками, с точеными столбами крылец и галерей, балясинами решеток.

Кругом дерево.

Играют игрецы на деревянных гуслях-самогудах, заставляющих плясать леса и горы, на дудках, на деревянных трехструнных смычковых гудках и смыках.

Мчат лихие кони сделанные из дерева без кусочка металла легкие остроносые сани-лодки. На таких санях не только зимой, но и летом не грех прокатиться.

И катались. По бездорожью езда на полозьях была значительно покойней, чем на колесах. Кроме того, сани считались более почетными. Кстати говоря, в болотистых и лесистых местах Архангельщины, Вологодчины и Костромщины сани были универсальным средством передвижения в любое время года вплоть до начала нашего века.

Из дерева — без единого гвоздя, роль гвоздей исполняли древесные корни — делались и легкие, как пух, осиновые душегубки, и большие, надежные поморские карбасы, которыми пользовались в своих плаваниях по Белому морю холмогорцы. В умелых руках мастеров древесина превращалась в красивые расписные прялки, вместительные сундуки-крабицы, легкие и изящные шкатулки для хранения украшений, которые именовались искусницами, в игрушки, жбаны, корыта, ведра, миски, ковши, ложки «межеумки» и «бутызки», в ложки с фигурной ручкой — «завитые».

Не оставалась без дела и кора. Ивовая шла на веревки, сосновая — на крыши изб. Из бересты делали лошадиные седла и вожжи, плетушки-саватейки для хранения одежды, туеса, фляги, ковши, табакерки-тавлинки с ремешочком на крышке и многое-многое другое.

Каждый лесной умелец гордился своим ремеслом. Не составляли исключения и лапотники. Именно от них пошел гулять по городам и селам рассказ о том, как Петр I лапти плел. Дескать, самый что ни на есть умный из всех русских царей был. До всего своим умом дошел: и до кузнечного дела, и до плотничьего, и до слесарного. А с лапотным маху дал. Не то чтобы упал, а споткнулся. Меншиков в это дело царя втравил. Спор у них такой вышел. Об заклад, понятно, побились. Петр и взялся лапоть плести. Поначалу будто ничего. Меншиков даже к кошельку потянулся. Плетет царь, словно весь свой век только лаптями и занимался. А как до запятника лаптя добрался, то задумался. Пять минут думает, десять... Времени же у царя в обрез было — перед самым Полтавским сражением тот спор вышел. Что будешь делать? Махнул с досады Петр Алексеевич рукой и выплатил Меншикову проспоренное. А после Полтавского сражения — то одно дело, то другое. Так и остался тот лапоть недоплетенным...

Много было на Руси деревянных дел мастеров. Но краснодеревщиков среди них, пожалуй, до середины восемнадцатого века не имелось.

Автор интереснейших работ о быте русских царей и цариц Забелин дает перечень дворцовой мебели того времени. Перечень начинается с лавок. Сделанные из толстых и широких досок, они стояли вдоль стен почти всех палат дворца. Под лавками зачастую пристраивались шкафчики-рундуки или сундуки-клады с затворами. В рундуках и кладах хранилась одежда, обувь, белье.

В домах именитых и богатых людей лавки застилались коврами. Доски обивали материей, укладывали поверх подушки.

В красных, или передних, углах под образами во дворцах и боярских хоромах стояли на точеных ногах дубовые столы. В будни они покрывались сукном, а в праздники — коврами или бархатными подскатерниками.

Столы эти нередко расписывали красками по золоту и серебру. Как правило, они были квадратными, но иногда их делали круглыми или восьмиугольными.

Кроме столов и лавок, дворцовые палаты были обставлены скамьями, которые делались на четырех ногах, соединенных проножками. Среди скамей были и спальные, предназначавшиеся для дневного послеобеденного сна. На одном конце таких спальных скамеек делался деревянный подголовник, который одновременно выполнял функции ларца. Ночью же спали в постелях с пологом, именуемых конопионами.

Теперь о креслах и стульях. Ими пользовались лишь члены царской семьи и патриарх. Остальные довольствовались скамьями, лавками, а избранные — стольцами, то есть табуретками с квадратными или круглыми сиденьями. Если человеку подавали столец, это считалось великой честью.

Кресел и стульев на весь дворец набралось бы, наверное, не больше десятка, да и те были не русской работы, а иноземной — польской и немецкой.

Ну что еще? Еще имелись неуклюжие громоздкие комоды и стенные подвесные шкафы-казенки. Эти казенки делались из липовых досок и наглухо прикреплялись к стене. В них хранили казну. Отсюда и название. Следует только оговориться, что слово «казна» имело более широкий смысл, чем теперь. Тогда существовали казна белая, суконная, холщовая, казна аптекарская, книжная, платяная, постельная и так далее.

Теперь нам следует упомянуть о поставцах, и мы подведем с вами черту под скромным списком царской мебели.

Поставцы — это просто большие дощатые ящики с полками, железными петлями и занавесками, или, как тогда говорили, завесами. Их вешали на стены палат.

Вот и все. Ничего, кажется, не упустили. Так что, как видите, меблировкой своих апартаментов похвастаться не могли ни Иван Васильевич Грозный, ни его сын Федор Иванович, ни Борис Годунов. Об Иване Калите или Юрии Долгоруком и упоминать не будем. Минимумом довольствовались. Такой мебелью и сам не полюбуешься, и перед соседями не похвастаешься. Ни полировки, ни лакировки. Так-то.

Изменение внутреннего облика царских дворцов на Руси обычно связывают с именем Петра I. Но процесс этот начался несколько раньше, при отце Петра, Алексее Михайловиче «тишайшем».

Надо сказать, что этот царь был человеком увлекающимся. Когда Алексея обеспокоил, например, низкий уровень нравственности его подданных, мягкий и достаточно ленивый, он сумел проявить чудо распорядительности.

Немедленно было предписано всем лекарям во избежание соблазна проверять пульс у девушек и женщин только через полотенце, а еще лучше — пользовать особ женского пола заочно, без осмотра, ибо хороший лекарь не руками и глазами, а головой действовать должен.

Еще более энергично царь, не выносивший матерной брани, взялся за сквернословов. По его указу были подготовлены специальные отряды стрельцов. Переодевшись в обычное платье, эти стрельцы постоянно находились в местах скопления народа. Они следили за тем, чтобы никто не ругался по-матерному. Провинившихся немедленно хватали и тут же, на месте преступления, безжалостно наказывали батогами.

Так же истово и увлеченно царь принялся за изменение интерьера своего дворца. И если борьба за нравственность особых успехов не принесла, то в новом увлечении царю удалось кое-чего добиться.

Во-время войн с Польшей он побывал в Вильне, Полоцке, Ковно и Гродно, осматривал замки магнатов.

Вскоре после этого во дворце появились доселе невиданные обои («золотые кожи»), немецкая и польская мебель, частично приобретенная, а частично сделанная приглашенными в Москву мастерами. Бояре с любопытством рассматривали диковинные, украшенные затей-

ливой резьбой столы на львиных ногах, круглые и многоугольные столы из красного индийского дерева, инкрустированные венецианскими раковинами покойные с широкими подлокотниками кресла мореного дуба и многокрасочные мозаичные шахматные столики — гордость царя.

Еще более изменился внутренний вид русских дворцов в последующие десятилетия. К польской и немецкой мебели присоединились голландская, английская, венецианская.

Но Петр I хотя и относился к обстановке в комнатах и залах с «полным решпектом», тем не менее считал — и вполне справедливо, — что мебель не самый главный государственный вопрос, подлежащий незамедлительному решению. И за границу поэтому слали учиться не мебельному делу, а корабельному и пушечному.

Но как бы то ни было, а начало было положено. И при Екатерине II в доме графа Безбородко можно было увидеть не только севрский фарфор, римские вазы с барельефами, редчайшие гобелены, но и великолепную мебель из дворцов французских королей. Не отставал от графа Безбородко в этом отношении и князь Потемкин Таврический, и обладатель ста пятидесяти тысяч крепостных душ граф Петр Борисович Шереметев, чья усадьба в Кускове могла бы поспорить со многими музеями мира, и многие другие. А главное — в самой России стали появляться мастера по художественной мебели. И не какие-нибудь, а самого высокого класса. В этом я вам еще предоставлю возможность убедиться. Но это потом, а пока...

Огромную, запряженную восемью лошадьми карету с зеркальными окошками и княжеским гербом на лакированных дверцах сопровождали верхом шесть кирасиров в красных колетах и черных меховых шапках с султанами.

В карете ехали двое — тщательно одетый человек средних лет, который, видимо, из деликатности втиснулся в угол кареты, и черноволосый с легкой проседью великан, один глаз которого прикрывала повязка. На великане был небрежно затянутый поясом, так что видна волосатая грудь, толстый бухарский халат, из-под которого торчали кривые и тоже волосатые ноги в шитых золотом турецких чувяках с загнутыми носами.

Во всей Российской империи только двое вельмож разрешали себе принимать в халате сановных гостей, отдавать визиты, ездить с инспекцией и появляться на балах и званых обедах. Этими двумя были: генерал-фельдмаршал Кирилл Григорьевич Разумовский, большой любитель борща и гречневой каши, и князь Таврический Григорий Александрович Потемкин. Но так как Разумовский обычно надевал поверх халата андреевскую ленту и был при двух глазах, а Потемкин такой ленты не надевал и потерял один глаз в далекой юности, то нетрудно догадаться, что в карете ехал именно князь Таврический.

Потемкин был раздражен. Светлейшего раздражали тряская дорога, эта неуклюжая, жалобно скрипящая карета, молчаливый секретарь-француз, которого он неизвестно для чего взял с собой, пробивающаяся внутрь кареты пыль и эти потные усатые кирасиры, гарцующие на своих откормленных конях.

Это чувство постоянной раздраженности появилось у него после последней встречи с императрицей в Петербурге. Потемкин прекрасно понимал, что время и расстояние не могли не наложить отпечатка на его былые отношения с Екатериной, которую он с некоторых пор именовал про себя гроссмуттер, то есть бабушка. Но все же он вправе был кое на что рассчитывать и никак не ожидал такого холодного приема.

Против князя обернулось все, что ему раньше сопутствовало. Чтобы удержать колесо фортуны, потребны крепкие молодые руки, а молодость князя уже ушла, отскакала в прошлое. Но дело и не в одном этом. Много причин сплелось в змеиный клубок. И не последняя — то море лести, в котором упоенно купалась и нежилась Екатерина.

Гроссмуттер возомнила себя первой дамой Европы. Еще бы, не кто-нибудь, а Вольтер и Дидро ее в этом убеждали. Потемкин читал все письма, которые получала из-за границы Екатерина. Их перлюстрировал его петербургский агент.

И, косясь в окно кареты, за которым были видны одни лишь клубы пыли, князь не без сарказма вспоминал неумеренные комплименты французов. Мосье Дидро, когда ему была выплачена пенсия за пятьдесят лет вперед, сразу же понял, что более великой монархини в мире не существует.

А мосье Вольтер, тот вообще не знал, что бы приду-

мать позаковыристей, чтоб угодить гроссмуттер. Она-де на сажень повыше и Солона древнего, и Ликурга, и Ганнибала. И империя ее выше всех земных царств. Первый человек в мире. Если б Европа и Азия были разумны, она бы наверняка царствовала над всем миром. Ведь это она — жизнь всех наций. Ведь это она преобразила восемнадцатое столетие в золотой век человечества. Где она — там рай. Она святая. Учитель всех философов, знающая поболее, чем учрежденные в Европе академии...

Потемкин хмыкнул и, развеселившись, захохотал. Князь умел равно хорошо и грустить и веселиться. Француз-секретарь давно уже привык к резкой смене настроений светлейшего.

Снаружи забухали выстрелы. Это салютовала князю из всех своих пушек стоявшая на причале яхта владельца кусковской усадьбы, Петра Борисовича Шереметева. Карета остановилась.

— Никак Кусково? — вскинулся Потемкин, которому надоела эта бесконечная пыльная дорога.

И словно в ответ на его вопрос, дверца кареты распахнулась, и в проеме появилась лучащаяся радушием почтительная физиономия Шереметева. За спиной графа, на некотором отдалении, стояла живописная толпа разряженных девушек с цветами в руках.

Где-то играл невидимый роговый оркестр.

Двое лакеев в шитых золотом ливреях отбросили ступеньку кареты и помогли светлейшему и его секретарю выйти.

— Ну, ну, здравствуй, — благосклонно сказал Потемкин, который, помимо всего прочего, намеревался перехватить у тароватого хозяина тысчонок двадцать или тридцать. — Оказывай доброхотство и дружество бедным чумакам из Таврии.

— Если чумаки не побрезгают, — шуткой на шутку ответил Шереметев, — то кибитка мурзы в полном пользовании их.

— Словеса, словеса! — усмехнулся Потемкин и поежился от дувшего с пруда ветра. — А год ныне зяблый...

Шереметев знал, что поразить Потемкина трудно. Князь всякое повидал и к такому привык, что иному и во сне не привидится.

И все же, пригласив Потемкина посетить Кусково, Шереметев не сомневался, что в грязь лицом не ударит.

У графа в усадьбе имелся великолепный зверинец, где паслись на воле сотни оленей, серн, сайгаков, диких коз. Содержались в том зверинце и американские дикие свиньи, и медведи, и волки, и разного толка лисы. В оранжереях графа были померанцы и лавры, тюльпаны, редкие сорта роз, орхидеи. Здесь росли персики, фиги, виноград, бананы, миндаль, гранаты, маслины.

В глубине французского сада, между «итальянским» и «голландским» домиками, рядом с каналом, в котором плавали черные и белые лебеди, пеликаны и утки, стоял обширный флигель. В нем граф устроил свой музеум, не уступавший по некоторым разделам знаменитой Кунсткамере Петра I.

На балу у московского генерал-губернатора Шереметев заинтересовал Потемкина именно музеем, намекнув, что в нем светлейший сможет встретиться с некой неожиданностью.

Действительно, светлейшего в этом флигеле ждал сюрприз, или, как тогда говорили, сюрприза.

Но все-таки наибольшие надежды граф возлагал на свой известный всей дворянской России оперный театр. Как-никак в отличие от своей покровительницы, для которой любая музыка была просто шумом, Потемкин считался страстным меломаном. Графу рассказывали, что в своей главной квартире в Бендерах светлейший содержит двести музыкантов и большую балетную труппу. Более того, граф знал, что сейчас от имени Потемкина за границей ведутся переговоры со знаменитым Моцартом, которому князь предлагает место дирижера своего оркестра.

Ну что ж, в Кускове Моцарта, конечно, нет. Но все-таки кусковский оркестр, хор, басы, баритоны и кусковский кордебалет сумеют постоять за себя.

Шереметев не без удовольствия вспомнил, как был потрясен посол Франции Сегюр, когда ему сказали, что архитектор, построивший кусковский театр, и композитор, написавший оперу, которую он только что прослушал, и живописцы, создавшие декорации, и музыканты, и певцы, и балерины — все были крепостными графа Шереметева.

«Граф, — сказал ему тогда Сегюр, — такого нет ни в одной стране. Подобное можно увидеть и услышать только в России».

Однако Потемкин, поступки которого трудно было предугадать и уж вовсе невозможно предусмотреть, на-

отрез отказался посетить театр, гордость графа. Увы, светлейшему сегодня не хотелось ни пения, ни танцев, ни музыки.

Шереметев был страшно расстроен, но не подал вида. Может быть, тогда Григорий Александрович соблаговолит осмотреть перед обедом его скромный музеум?

Музеум?

Ну что ж, музеум так музеум. Восторга на лице светлейшего граф не заметил. Но Потемкин не возражал, более того, проявил даже нечто вроде любопытства.

На этот раз граф мог быть доволен. Он не ошибся. Музей заинтересовал светлейшего. Особенно привлекли его благосклонное внимание выставленные в большом зале флигеля различные редкие мебеля.

Знаток, конечно, спокойно пройти мимо них не мог. А светлейший в этом деле был великим знатоком и ценителем. Таврический дворец князя в Петербурге являлся верным тому доказательством.

Что-то насвистывая, Потемкин внимательно оглядел древнегреческую кровать из позеленевшей бронзы, добротные копии тронного кресла франкского короля Дагоберта и мраморного кресла Плутарха из Херонеи; напоминающие фасады дворцов резные шкафы из Аугсбурга и Нюрнберга, флорентийскую мебель XVI века с затейливой интарсией, кресло аглицкого лорда с откидной доской на запоре, дабы никто не смог осквернить сие седалище в отсутствие высокородного хозяина.

В углу зала стояли китайская лаковая мебель и мебеля, вырезанные — то ли индусскими, то ли африканскими мастерами — из цельных кусков дерева красновато-коричневого цвета — дерева, именуемого, как объяснил Потемкину граф Шереметев, ироко.

На подлокотниках ажурных приземистых кресел, сделанных, видно, из столетних стволов, притаились в тени, готовясь к прыжку, мощные гривастые львы и свирепые леопарды. Змеи, переплетясь меж собой, обвивали кружевные спинки стульев и кресел, ползли вдоль круглых столешниц с необычным растительным орнаментом. Кривлялись, показывая князю большие зубы, уродливые хвостатые обезьяны.

— Эфиопская работа?

— Не ведаю, — признался Шереметев.

— Непостижное искусство, — задумчиво сказал князь. — Удивил, признаться, Петр Борисович, удивил... Сие и есть твоя сюрприза?

Шереметев действительно гордился этой попавшей к нему через десятые, а может, сотые руки экзотической мебелью. Но все-таки не ею рассчитывал он поразить своего высокого гостя. Князя ожидало нечто значительно более удивительное.

Петр Борисович знал, что Потемкин уже давно разыскивает мебельный гарнитур, созданный королевским столяром Булем. И вот две недели назад ему, Шереметеву, удалось приобрести этот гарнитур здесь, в Москве, за сравнительно небольшую цену. Петр Борисович всегда был везучим.

Шереметев отдернул ширму, отделявшую часть зала, и немного театральным жестом показал Потемкину на «Прекрасную маркизу».

— Вот она, сюрприза, Григорий Александрович.

— Ну, ну, покажи, — благосклонно сказал Потемкин и вдруг осекся.

Светлейший остолбенел. Он не мог произнести ни одного слова. Но если Шереметев думал, что светлейший ошеломлен красотой гарнитура, то он глубоко ошибался.

Потемкин был потрясен отнюдь не этим. Он был потрясен ловкостью и предприимчивостью безымянных воров, которые не только ухитрились сразу же после отъезда светлейшего из Петербурга похитить из Таврического дворца приобретенный им гарнитур Буля, но и переправить его в Москву. Более того, воры даже успели отыскать здесь в лице Шереметева тароватого покупателя и ударить с ним по рукам.

«Вор на воре, — думал Потемкин. — Но каковы искусники? У тебя украдут и тебе же продадут за двойную цену. За всем тем и магарыч с тебя получат, и благодарность востребуют, и щеку для поцелуя подставят, понеже твоими благодетелями мнят себя». Князь, однако, ошибся. Как вскоре выяснилось, приобретенный им в Петербурге гарнитур работы Буля, известный любителям под названием «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура», по-прежнему украшал одну из комнат Таврического дворца. Его никто не похищал и даже не пытался похитить, а тем паче переправить в Москву. Просто гарнитур «Золотые стрелы Амура», оказавшись в России, вспомнил, что некогда он принадлежал известной колдунье мадам Монвуазен, и... раздвоился, превратившись в два совершенно одинаковых гарнитура-близнеца.

Вот оно, колдовство!

Василий Петрович немного помолчал, чтобы дать мне возможность освоить столь необычный, не лезущий ни в какие ворота факт, а затем продолжал:

— Не каждый, конечно, может поверить в подобные чудеса. А князь Таврический, насколько мне известно, был по натуре прагматиком и рационалистом, любившим во всем ясность. Он не верил в чудеса, но зато безоговорочно верил в жуликов. Раз оказалось два гарнитура, рассуждал он, то один из них подлинный, а другой — нет.

И в Петербург дворецкому князя Феоктисту Феоктистовичу Голошубову было отправлено из Бендер письмо с требованием безотлагательно и безволокитно освидетельствовать на предмет установления подлинности приобретенный князем мебельный гарнитур.

Феоктист Феоктистович был человеком исполнительным. И тотчас же отыскал в окружении будущего короля Франции графа д'Артуа, который тогда скромно проживал в Петербурге, отдыхая от бурных событий на своей родине, подходящую кандидатуру. Де Беркес, как заверили Феоктиста Феоктистовича, знал толк в мебели. Кроме того, ему привелось у потомков некогда сожженной на костре мадам Монвуазен дважды или трижды собственными глазами видеть знаменитый гарнитур. И не только видеть, но и ощупывать руками.

Де Беркес рвался оказать услугу князю Потемкину Таврическому. И Феоктист Феоктистович почтительно проводил эксперта в комнату, где стоял гарнитур.

— Прошу-с.

Француз поскреб ногтем полировку, посидел в кресле, в котором у каждого, по преданию, возникали мысли, достойные кардинала Ришелье и Монтеня, опустился на упругий пуф, награждающий самых неуклюжих кавалеров изяществом и элегантностью, полюбовался собою в зеркале и заявил, что он тут же, на месте, проткнет шпагой каждого, кто позволит себе усомниться в подлинности этой мебели.

Вопрос можно было бы считать исчерпанным, если бы через день в Таврический дворец не прибыл подарок Потемкину от графа Шереметева — кусковский мебельный гарнитур. Феоктист Феоктистович опять пригласил де Беркеса. Тот вновь поскреб ногтем полировку, посидел в кресле, на пуфе, глянул в зеркало и вновь заявил, что готов проткнуть шпагой каждого, кто усомнится в подлинности этой мебели...

Феоктист Феоктистович почесал в затылке. Будучи дворецким князя Таврического, он, как и положено хорошему дворецкому, усвоил не только привычки, но и взгляды своего господина. Поэтому, точно так же как и Потемкин, Голошубов был уверен, что из двух мебельных гарнитуров «Золотые стрелы Амура» один — подделка. Но попробуй сказать об этом! Проклятый француз так бешено вращал глазищами и хватался за эфес своей шпаги, что Феоктист Феоктистович счел за благо в спор с ним не вступать. Чего спорить? Пырнет шпагой — и был таков.

И через неделю в той же комнате вокруг выставленных там мебельных гарнитуров собрались самые уважаемые петербургские краснодеревщики. Был среди них и крепостной графа Шереметева Никодим Егорович Беспалов, который, находясь на оброке, содержал в столице мебельное заведение. Беспаловские кресла, стулья, столы да комоды отличались деликатностью работы, красотой и изяществом. Таких мебелей и в Европах поискать!

Никодим был еще несмышленышем, когда граф послал его вместе с тремя другими своими краснодеревщиками во Францию учиться мебельному делу. Пять лет без малого провел там Беспалов. И во многом преуспел, постигая секреты хитрого мастерства. Поговаривали даже, что король французский самолично его работу отметил и повелел в королевские столяры зачислить да только граф Шереметев на то своего согласия не дал.

Много во Франции видел Беспалов всяческих мебелей, видел и работу знаменитого Буля, потому Феоктист Феоктистович и возлагал на него особые надежды. Уж кому-кому, а Беспалову и карты в руки.

Уважительно поглядывали на Беспалова и другие мастера, что, дескать, скажет Никодим Егорович, так тому и быть. Кто лучше его во французских мебелях смыслит?!

Беспалов осмотрел дотошно один мебельный гарнитур, потом так же дотошно другой.

С ответом он не спешил, медлил.

— Что скажешь, Никодим Егорыч? — спросил дворецкий.

Беспалов помолчал, а потом решительно указал на мебельный гарнитур, привезенный в Петербург из усадьбы Шереметева.

— Буль. Подлинный, понеже лучше разве что сам господь сотворит.

— Дивная работа, — согласились краснодеревщики.

Итак, один гарнитур оказался подлинным, а другой искусной подделкой. Все стало на свои места.

Но в тот самый момент, когда дворецкий Потемкина, с облегчением вздохнув, подумал, что теперь может обо всем отписать князю, из толпы мастеров робко выдвинулся лысенький хлипкий старичок и, шамкая, спросил дозволения понюхать мебель.

— Чего-чего?—переспросил ошарашенный дворецкий.

— Понюхать, — повторил старичок.

— Нюхай, коли желание такое имеешь, — пожал плечами Феоктист Феоктистович, который привык всегда и во всем уважать старость.

Старичок понюхал столик, за которым герцогиня Орлеанская съела, по преданию, пятьдесят семь пирожных, пуфы, делающие элегантными недотеп-кавалеров. Словно идущий по следу охотничий пес, поочередно обнюхал козетки, зеркала, канапе, кресла.

«Спятил, совсем спятил», — шептал про себя Феоктист Феоктистович, в ужасе прижимая к груди руки.

Наконец старичок будто бы притомился. Разогнулся, держась за поясницу, промакнул большим пестрым платком вспотевший лоб. Отвечая на вопросительные взгляды краснодеревщиков, кивнул головой и удовлетворенно улыбнулся провалом беззубого рта.

— Припахивает, припахивает, — прошамкал он. — Чешночком да рыбкой припахивает.

— Врешь! — вскинулся Беспалов.

— В молодошти во врунах не ходил, а в штароштн оно и пождно.

— Все одно врешь! Не может быть того!

— Вот-те крешт! — схватился старичок за шнур нательного крестика. — Не веришь — шам нюхни.

— И нюхну, — сказал Никодим Егорович.

— И нюхни! — петухом выгнул тощую шею старик.

Когда сам Беспалов стал обнюхивать мебель, Феоктист Феоктистович окончательно потерял дар речи. Старость, она, известно, не радость. Со старого да с малого какой спрос? Но чтоб всеми уважаемый мастер до такого безобразия дошел — это никак не укладывалось в голове дворецкого. Светопреставление!

— Што теперя, Никодим Егорович, шкажешь? — спросил старик у Беспалова, когда тот наконец-то за-

кончил со своим странным занятием и отошел от гарнитура.

Беспалов только руками развел сконфуженно, дескать, а что тут скажешь? Все верно: и чесночком, и рыбкой припахивает...

— Ну и что из того, что пахнет чесноком и рыбой? — спросил ничего не понимающий дворецкий.

— А то, — ответили ему, — что все эти мебеля — и те, что Григорий Александрович Потемкин князь Таврический в Петербурге изволили купить, и те, что им из Кускова граф Шереметев прислали, — самой что ни на есть русской, а не парижской или еще какой работы. И смастерили их не сто лет назад, к примеру, а никак не больше ста дней, да и того много.

— Выходит, фальшь? — схватился за голову дворецкий.

— Фальшь, Феоктист Феоктистович.

— И то фальшь, и это?

— И то и это, Феоктист Феоктистович, — вздохнул Беспалов. — Промашку дал я, не без того. Ведь и на старуху проруха бывает. Все тут русской работы, хотя до удивительности с прославленным мебельным гарнитуром французского великого мастера Буля сходство имеет. Так мыслю, что на глаз и сам Буль не отличил бы, в великое затруднение пришел бы сей мастер.

— Верно, — согласились другие краснодеревщики.

— А как же вы, так сказать, всю подноготную суть этих мебелей унюхали? — заинтересовался дворецкий.

Оказалось, что отличить русскую мебельную работу от иноземной, ежели работа не очень давняя, на нюх порой легче, чем на глаз. И секрет тут не в чем ином, как в клее. Самый лучший клей — это рыбный клей карлук. Ни во Франции, ни в Голландии, ни в Англии, ни у немцев этого клея не делают. А варят его только в России из осетровых пузырей, плавников да хрящей. Клей карлук, или, как его еще именуют, курлук, вид собой имеет почти что прозрачный и отсвечивает перламутром.

Будет он покрепче и мездрового клея, и костяного, и кельнского. Даже клею из бобровой стружки с ним не тягаться. Всех клеев царь. Все он скрепляет намертво, особо ежели размочить и разварить его в русской, хорошо очищенной водке и сколько положено добавить ядреного чесночного сока — такого, чтоб за версту в нос шибал. Вот по запаху чесночка, покуда он, понятно,

не выветрится начисто, опытный мастер и определит — православный делал художественные мебеля с маркетри или мастерили их в иноземных странах. Это уж точно, без ошибки.

Феоктист Феоктистович почесал по стародавней привычке в затылке и для верности спросил:

— Но ведь карлук-то небось в продажу и за моря возят?

Оказалось, что в заморских странах русского карлука почти что и нет вовсе, так как еще в XVII веке был издан специальный царский указ, предписывающий русским купцам за границу «того клея с сего года никому не продавать, к городу Архангельску тайно не провозить и не торговать... чтобы того клея в продаже у иноземцев не было».

А ежели к иноземному мебельному мастеру и попадал какими неведомыми путями карлук, то иноземец, не зная русского секрета, пускал его в дело без водки и чеснока, в первородном виде.

— Буль-то карлуком пользовался? — спросил Феоктист Феоктистович.

— Нет, — ответил Никодим Егорович Беспалов. — Не имелось у Буля карлука. Буль клеил свои мебеля костяным клеем, а наборное дерево — или же тем же костяным, или же клеем из бобровой стружки.

Вслед за тем краснодеревщики вновь осмотрели стоявшие в комнате мебельные гарнитуры и отыскали в них многие иные несообразности.

Оказалось, например, к вящему удивлению Феоктиста Феоктистовича, что позолота в некоторых местах вовсе и не позолота, а краска «щучье золото», сделанная по древнему русскому рецепту, помещенному в рукописной книге «Чин мастерству».

Выяснилось также, что гондурасовой первого разбора черепаховой кости в осматриваемых вещах и в помине не было, что ее везде заменял подделанный под черепаху обыкновенный рог. Феоктисту Феоктистовичу объяснили, что для таких подделок рог покрывают воском, счищают его в тех местах, где хотят окрасить, и делают там бурые пятна смесью сурика, поташа да извести, а затем все окрашивают фернамбуковым деревом.

И занзибарское эбеновое дерево, и мадагаскарское, и манильское, и ост-индское саппановое, коему положено пахнуть фиалками, было подменено вываренным в краске обычным грушевым.

Древность резьбы подделали с помощью пережженного сахара, воды и бурой сажи, а самый обычный перламутр превратили в черный, подкрашивая его раствором хлористого серебра в нашатырном спирте и держа затем на солнце.

Много интересных, но печальных вещей узнал тогда Феоктист Феоктистович.

А закончили свой разбор мастера единодушным и совсем неожиданным для Феоктиста Феоктистовича выводом: радоваться надобно Григорию Александровичу Потемкину, пресветлому князю Таврическому. Уж так ему повезло, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Феоктиста Феоктистовича чуть удар не хватил.

— Везенье-то, везенье-то в чем?! — закричал он.

— В мебелях, — ответили ему.

— В каких таких мебелях?!

— А в тех, что здеся стоят.

— За дурака держите?

— Нет, — говорят, — за умного, потому и втолковываем.

— Чему ж князю радоваться, ежели не Буль?

— А тому радоваться, что деликатнейшей и дивной работы сии мебеля, что таких не только что в России, но и за пределами оной не сыщешь, что мастер из мастеров их делал, такой умелец, что, может, и самого Буля разве что в подмастерья к себе бы взял, да и то подумавши.

Феоктист Феоктистович руками всплеснул.

— Но фальшь ведь?!

— А это с какой стороны глянуть — спереди, сзади али сбоку. Да и фальшь фальши рознь. За одну — батоги положены, а за другую — рублики. И немалые. За иную фальшь сколько ни заплати — все мало будет.

— Вон как, голубчик вы мой, мастера рассуждали, — многозначительно сказал Василий Петрович и даже поднял вверх указательный палец правой руки. — И я их понимаю. Да, да, понимаю.

Мошенничеству, как известно, столько же лет, а верней, тысячелетий, сколько и мастерству.

Но можно ли именовать мошенничеством то, что имеет с этим явлением лишь внешнее сходство, чисто формальное?

Вы меня понимаете? Нет? Тогда я вам расскажу за-

бавный эпизод из жизни достаточно известного французского ученого XIX века Мишеля Шаля. Автор многочисленных научных работ, переведенных на все европейские языки, Шаль был действительным членом Парижской академии наук, Петербургской академии, Берлинской, Римской, Брюссельской. Библиотека Шаля, из которой он черпал материалы для своих исследований, была уникальной. В ней насчитывалось свыше четырех тысяч томов и около 27 тысяч ценнейших и редчайших автографов, среди которых имелись неизвестные сонеты Шекспира, предмет жестокой зависти всех коллег Шаля и в Лондоне и в Париже, письма великого Данте и сладкозвучного Петрарки, Рабле, Овидия, Апулея. Говорили, и не без основания, что у академика за семью замками хранятся еще нигде не опубликованные трактаты и записки Сократа, Платона, Пифагора, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Спинозы и Коперника, что у него имеются письма Александра Македонского, Клеопатры, Нерона, Юлия Цезаря, Аттилы, Жанны д'Арк, Ричарда Львиное Сердце и Колумба.

Наиболее осведомленные знали, что все эти уникумы приобретены Шалем за громадную сумму через посредника у потомка графа Буажурдена. Наверное, имя посредника и по сей день осталось бы для всех тайной, если бы академик, основываясь на приобретенных им письмах Ньютона и Паскаля, не пришел к выводу, что в мире произошла вопиющая несправедливость. И когда он зачитал некоторые из этих писем на заседании академии, то все сразу же поняли, что слава открытия закона всемирного тяготения должна по праву принадлежать не Ньютону, а Паскалю.

А затем выясняется, что к приобретенным Шалем автографам ни Шекспир, ни Сократ абсолютно никакого отношения не имели. Оказались ни при чем и целомудренная Жанна д'Арк, и грубиян Аттила, и воспетый Вальтером Скоттом Ричард Львиное Сердце, и Ньютон, и Паскаль, и Рабле...

Все автографы собственноручно создал тот, кого академик Мишель Шаль принимал за скромного посредника, — сын ничем не примечательного поденщика, человек без образования, но с поразительным талантом, несравненный Врэн-Люка, имя которого вскоре стало известно не только во Франции...

Можно такого человека назвать мошенником?

— Конечно, — опрометчиво откликнулся я и, взгля-

нув на Василия Петровича, тут же пожалел о сказанном.

— Считаете Врэн-Люка мошенником?

— Как вам сказать? — замялся я. — Разумеется, он человек не без способностей...

— «Не без способностей»? — перебил меня Василий Петрович. — Нет, голубчик, Врэн-Люка из породы талантов. Человек, способный писать сонеты, ничем не уступающие поэтическим шедеврам таких гениев, как Шекспир и Петрарка, создавать трактаты, достойные интеллекта Платона, Спинозы, Коперника и Леонардо да Винчи, воссоздавать на бумаге мысли и переживания Жанны д'Арк, Ричарда Львиное Сердце, Сократа, Колумба и Александра Македонского, убедить академиков одной из самых блестящих в Европе академий в том, что Ньютон имеет весьма отдаленное отношение к закону всемирного тяготения, который в действительности был открыт вовсе не им, а Паскалем, достоин лаврового венка.

Если вы напишете роман, не уступающий по своим достоинствам «Евгению Онегину», и поэмы, в которых раскроете новые грани гения Пушкина, у меня лично никогда не повернется язык оскорбить вас даже в том случае, ежели вы припишете свои творения Пушкину, преследуя, скажем так, не совсем благовидные цели.

Мошенник всегда мелок и бесталанен. Таково мое убеждение. Не знаю, совместимы ли гений и злодейство, но талантливость и мошенничество наверняка нет. Поэтому мастера, заявившие Феоктисту Феоктистовичу, что Потемкину следует радоваться фальшивым мебельным гарнитурам, были полностью правы. Они вполне обоснованно считали освидетельствованную ими мебель не мошенничеством, а искусством, торжеством мастерства. Они понимали: главное везде и во всем — талант. А мебельные гарнитуры, которые Феоктист Феоктистович представил им на заключение, были созданы талантом. Большим талантом, который работал в значительно более сложных условиях, чем прославленный Буль. Ведь у него не было ни ценных пород дерева, ни черепаховой кости, ни слоновой кости. А вышел из положения. Да еще как вышел! Таким гордиться надо, радоваться делу его золотых рук.

Как вы сами догадываетесь, Феоктист Феоктистович особо не мудрил. Отписал князю обо всем, что произошло. Обстоятельно отписал. И через месяц-другой полу-

чил ответ. Князь требовал во что бы то ни стало отыскать безымянного мастера и немедля доставить к нему. Как это ни печально, но думаю, что Потемкин стремился найти этого человека не для того, чтобы пожать ему руку и поблагодарить за доставленное удовольствие...

Увы! Похоже, князь разделял не мою точку зрения, а вашу и считал автора двух мебельных гарнитуров не великим мастером, а продувной бестией, достойной самого строгого наказания.

Но князь, к счастью, не преуспел в розыске. А 5 октября 1791 года на пути из Ясс в Николаев он умер.

Таврический дворец князя в Петербурге отошел вместе со всей обстановкой в казну.

Дворецкий Потемкина Феоктист Феоктистович Голошубов очень переживал кончину хозяина и, видимо, для того чтобы подсластить горечь потери, покидая дворец, захватил на память некоторые картины, статуи и кое-что из мебели, в том числе и один из гарнитуров, вокруг которых разгорелись такие страсти. Зачем казне два мебельных гарнитура «Прекрасная маркиза», чтобы вновь затеять спор об их подлинности? А ему, Феоктисту Феоктистовичу, эта мебель пригодится. На такую мебель всегда покупатель найдется. Попросту говоря, Феоктист Феоктистович совершил кражу. Но так уж получилось, что последствия этой кражи оказались самыми благотворными. Без происшедшего вряд ли бы нам удалось установить фамилию мебельного мастера да и вообще узнать что-либо про эту историю.

В 1796 году на русский престол вступил Павел I. Чего только не было запрещено бедному обывателю в царствование нового императора!

Ему запрещалось носить бакенбарды и под страхом наказания — танцевать вальс, аплодировать и употреблять крамольные слова «свобода», «клуб», «гражданин», «общество», «отечество». Повсюду были расклеены объявления, запрещающие носить круглые шляпы, жилеты, башмаки с бантами, фраки с отложными воротниками, а также «увертывать шею безмерно платками».

Император был одержим административным зудом. Ежедневно он подписывал десятки «указаний» и «предписаний», большинство которых было призвано стереть всякую память о предыдущем царствовании, в том числе память о фаворитах Екатерины, прежде всего о Потемкине.

В Херсон было направлено распоряжение об остан-

ках князя Таврического: «Захоронить без дальнейшей огласки в самом же том месте, в особо вырытую яму, а погреб засыпать и загладить землею, как бы его никогда не было».

Павел расправился не только с трупом Потемкина, но и с принадлежавшим ему при жизни имуществом. Таврический дворец, где после смерти Потемкина одно время жила Екатерина, отвели под казармы лейб-гвардии конного полка. А зал, в котором стояла интересующая нас мебель, был превращен в конный манеж.

Так что не будем слишком строго осуждать Феоктиста Феоктистовича. Как знать, может быть, он просто никогда не заблуждался относительно привычек и характера наследника престола и взял к себе мебель только для того, чтобы сохранить ее для потомства? Правда, в это не очень верится, но все может быть.

Итак, художественная мебель мало интересовала нового императора. Зато она не оставляла равнодушными его фаворитов и фавориток, которыми, как корабль ракушками, обрастает каждый монарх тотчас же после коронации.

Подыскивая покупателя для вывезенного им из Таврического дворца гарнитура (второй гарнитур, как и следовало ожидать, бесследно исчез), Феоктист Феоктистович решил воспользоваться услугами уже известного нам француза, который, как вы помните, обещал проткнуть шпагой каждого, кто усомнится в подлинности показанного ему гарнитура, а вернее, двух гарнитуров-близнецов.

Разыскать его особого труда не составило. За годы, прошедшие на чужбине, де Беркес потускнел, потолстел и облысел. Встретил он бывшего дворецкого Потемкина хорошо и охотно согласился навестить его, но, выслушав предложение Феоктиста Феоктистовича, тотчас же схватился за шпагу, пообещав проткнуть ею каждого, кто попытается втянуть его в темные дела.

Слегка растерявшийся Феоктист Феоктистович объяснил, что от де Беркеса требуется лишь засвидетельствовать подлинность гарнитура Буля. А поскольку де Беркес в этом уверен...

— Я в сием уверенности не имею, — оборвал его француз. — Я имею уверенность только в том, что мебель подделана, а вы есть мошенник и ракалья... Вы не знаете, как дорого высокородный французский дворянин ценит свою незапятнанную честь.

Но в последнем де Беркес явно ошибался. Феоктист Феоктистович хорошо знал цены на честь, в том числе и на незапятнанную.

Поэтому безо всякой спешки он достал из кармана кошелек, послюнявив указательный палец, отсчитал несколько ассигнаций и положил их на инкрустированный столик черного дерева. Точно за таким же столиком Буля герцогиня Орлеанская, как гласила легенда, съела пятьдесят семь пирожных. Видимо, столик работы неизвестного мастера в отличие от оригинала не только способствовал аппетиту, но и обладал другими волшебными свойствами. Во всяком случае, едва Феоктист Феоктистович успел положить на него деньги, как они тотчас же исчезли. Растворились в воздухе, что ли? Чудеса, да и только!

Француз подкрутил усики, хмыкнул и развалился в кресле, которое в гарнитуре Буля дарило всех сидящих в нем мыслями, достойными Монтеня.

Посидев таким образом минуту-другую, он вопросительно посмотрел на бывшего дворецкого Потемкина, и Феоктист Феоктистович прочел в его глазах мысль, которой Монтень явно бы устыдился...

Может, ошибся? Да нет, не ошибся.

— Мало, — сказал де Беркес.

— Чего-чего?!

— Мало, — повторил француз, но на этот раз уже с меньшей уверенностью.

Феоктист Феоктистович старательно сложил из трех пальцев некую фигуру и поднес ее к носу своего гостя.

— А кукиш не хошь?

— Нет, — со всей искренностью сказал француз, — кукиш не хочу. Хочу денег.

— А деньги, господин хороший, задарма не дают. Деньги, господин хороший, за дела дают. Деньги заработать надо допрежь. Понял?

— Нет, — сказал француз.

— А ты пойми, коли прибыток иметь хошь.

И Феоктист Феоктистович растолковал де Беркесу, что сейчас он получил только за свою незапятнанную честь. Товар этот, дескать, не ходовой, лежалый. Другой бы на его месте за такой товар и ломаного гроша не дал. А вот после успешной продажи «булевской» мебели будет уже другой разговор. Тогда де Беркес получит двадцать процентов от суммы сделки, а такие деньги... ба-альшие деньги!

Де Беркес даже с кресла вскочил.

— Слово дворянина?!

— А мы не дворяне, — хмыкнул Феоктист Феоктистович, — мы из крестьян. Слова нам ни к чему, мы свою совесть и без слов блюдем, ежели какая возможность для оного имеется.

— Свинья! — благодушно сказал француз.

— Боров! — не менее благодушно откликнулся Феоктист Феоктистович. И каждый из них подумал, что лучшего компаньона ему днем с огнем не сыскать.

Довольные друг другом, они стали обсуждать возможных покупателей, и Феоктист Феоктистович вспомнил про адмирала де Рибаса, коему некогда покровительствовал его покойный хозяин.

Потемкину нравились энергия и распорядительность предприимчивого неаполитанца, который, взяв штурмом крепость Хаджибей, за считанные месяцы превратил ее в порт, получивший наименование Одессы. Замечу в скобках, что де Рибас настолько много сделал для нового города, что благодарные одесситы назвали в его честь главную улицу Дерибасовской.

После восшествия на престол Павла I де Рибас превратился в заметную фигуру при дворе и достаточно богатого человека. Во всяком случае, в центре Петербурга строился великолепный дом адмирала, для которого де Рибас закупал обстановку.

Почему бы, спрашивается, не приобрести неаполитанцу «булевскую» мебель?

Если к этому делу подойти с толком, то из адмирала, стремящегося превзойти екатерининских вельмож своим образом жизни, можно выкачать немало. Говорили, что, благодетельствуя Одессе, де Рибас не забывал и себя. Некий злой шутник даже утверждал, что адмирал относится к новому городу «по-братски», честно деля с ним все деньги, отпущенные казной на его устройство.

Мысль Феоктиста Феоктистовича де Беркесу понравилась.

Де Беркес немного знал адмирала, так как был представлен ему года полтора назад и несколько раз встречался с ним. Почему же не попробовать?

Правда, де Рибас считался порядочным пройдохой. Но, во-первых, каждый пройдоха уверен, что уж его-то никто не сможет провести, что всегда кстати, а во-вторых, какой уважающий себя француз отступит перед итальянцем, каким бы пройдохой тот ни был?

Оказавшись — «совершенно случайно», разумеется, — с неаполитанцем за карточным столом, де Беркес вскользь упомянул о «Прекрасной маркизе» и отметил, как вспыхнули глаза адмирала. Затем разговор был продолжен в буфете.

Француз рассказал де Рибасу, как он за неимоверные деньги купил мебель работы Буля у наследника некоего судебного чиновника, которому она досталась после того, как проклятая колдунья мадам Монвуазен сгорела на костре и пепел ее был развеян ветром. Владелец запросил с него в пять, нет, в десять раз больше положенного, но французский дворянин не скаредный буржуа, не купец и не торговец, французский дворянин не трясется над деньгами, когда хочет что-либо приобрести.

Мебельный гарнитур обошелся ему не в одну сотню луидоров, но он никогда не жалел об этих деньгах. Любое золото тускнеет перед светом подлинного искусства. А Буль, как известно каждому, король мебельщиков и Рафаэль среди столяров. Все, что выходило из его рук, божественно, а «Прекрасная маркиза» — вершина его творчества. Ничего похожего нет ни во Франции, ни в России. Нет и не будет.

Со слезами на глазах де Беркес рассказывал, как он с помощью своих верных слуг, а слуги бывают верными лишь во Франции и Неаполе, вывозил из охваченной пламенем революции страны знаменитый гарнитур, о том, как трое его слуг были схвачены и погибли на эшафоте, о том, какие бешеные деньги предлагали ему за мебель работы Буля в Австрии, где некий князь чуть было не валялся у него в ногах, умоляя расстаться с уникальным гарнитуром, о покойном Потемкине, который буквально засыпал его письмами, стремясь получить эту единственную в своем роде мебель, достойную украсить любой королевский дворец.

Какие соблазны подстерегали повсюду де Беркеса! От каких только выгодных предложений он не отказывался, храня как зеницу ока эту гордость своей несчастной родины!

Но что поделаешь, с судьбой не поспоришь!

Печально, очень печально, но, видимо, пришло время расстаться со столь дорогой его сердцу мебелью.

Ему, де Беркесу, теперь, как никогда, нужны деньги. Без них невозможно выручить из парижской тюрьмы единственного сына де Беркеса, продолжателя их славного рода.

Де Рибас внимательно выслушал эту проникновенную, хватающую за душу историю, с готовностью посочувствовал де Беркесу и выразил желание осмотреть булевскую мебель.

Эта возможность была ему предоставлена на следующий же день.

Услышав о цене гарнитура — за эти деньги можно было купить, по меньшей мере, половину домов, составляющих Дерибасовскую улицу, — де Рибас схватился сначала за голову, а затем за сердце. Но неаполитанец настолько был очарован необыкновенной мебелью, что де Беркес и Феоктист Феоктистович не сомневались — купит. Купит, даже если бы для этого потребовалось заложить всю столь любимую де Рибасом Одессу, или, что более осуществимо, — оставить новорожденный город без набережной, красивых фигурных фонарей и приморского парка.

Поторгуется — и купит. Если не через неделю, то через месяц. Не через месяц — так через два. Купит.

Возможно, они не ошибались. В конце концов гарнитуру Буля предстояло украсить собой новый дом адмирала, а Одесса для этого совсем не годилась.

Но тут произошли события, которых никто не мог предусмотреть.

Один из главных руководителей заговора против Павла, адмирал де Рибас, вдруг превращается чуть ли не в любимца монарха. Царь делает его исполняющим обязанности морского министра, осыпает милостями, наградами.

Все это, естественно, настораживает остальных заговорщиков. А что, если хитрый неаполитанец воспользуется представившейся ему возможностью стать одним из первых людей в государстве и выдаст царю всех заговорщиков?

И, как говорили, было решено немедленно убрать адмирала. Ходили слухи, что де Рибасу якобы подсунули вместо лекарства яд, от которого он благополучно и скончался. А другой руководитель заговора, Пален, все время находился при умирающем, чтобы не дать ему возможности проговориться даже на исповеди. Так это было или не так, можно лишь гадать. Но бесспорно одно: основатель Одессы скончался, так и не успев купить приглянувшийся ему мебельный гарнитур, а среди оплакивающих его кончину, быть может, самыми искренними были бывший дворецкий князя Потемкина Тав-

рического Феоктист Феоктистович Голошубов и доблестный французский дворянин эмигрант де Беркес, который превыше всего в жизни ценил свою незапятнанную честь, ежели она, разумеется, давала ему кое-какой доход...

— Таким образом, — продолжал свой рассказ Василий Петрович, — первая попытка превратить мастерство и вдохновение неизвестного русского мастера в звонкую монету закончилась неудачей. Это, понятно, огорчило компаньонов, но отнюдь не обескуражило. Если мебельный гарнитур очаровал де Рибаса, то он точно так же сможет привлечь кого-либо другого из сильных мира сего.

Почему бы ему не приглянуться, например, Платону Зубову, Панину, Растопчину, Лопухину или Куракину?

И тут, когда перебирались возможные покупатели, один из приятелей де Беркеса рассказал ему пикантную историю о том, как генералиссимус Суворов встретил посланца царя графа Кутайсова. «Прошка, ступай сюда, мерзавец! — якобы позвал генералиссимус при виде Кутайсова своего верного слугу. И когда Прохор вбежал в комнату, показал ему пальцем на любимца царя. — Видишь этого господина? Граф, весь в орденах. А ведь был таким же холопом, как и ты, бороды брил. А вон куда залетел! А все потому, что турка, не тебе чета, не пьяница. Возьми с него пример, глядишь, в князья да в генералы выйдешь!»

«Вот кто должен купить мебель, — решил де Беркес. — И купит, хотя бы для того, чтоб про его брадобрейство забыли».

Услышав фамилию графа Кутайсова, Феоктист Феоктистович побелел: уж слишком близко Кутайсов к царю стоял. Не случилось бы чего. Деньги деньгами, а своя голова всех денег дороже. Но француз успокаивающе похлопал его по плечу. Он ни минуты не сомневался в удаче. И надо сказать, что у него были для этого некоторые основания.

Уже через неделю близнец булевского гарнитура «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура», был перевезен к графу Кутайсову, а компаньоны начали делить полученные ими от Кутайсова деньги.

Присутствовать при этом дележе нам, я думаю, совсем не обязательно. Ведь нас интересует лишь даль-

нейшая судьба гарнитура и мастера, создавшего этот шедевр мебельного искусства. Поэтому проявим скромность, зажмурим глаза и на время забудем про Феоктиста Феоктистовича и де Беркеса. Пусть они без помех занимаются своим делом, которое доставляет им столько удовольствий. Мы же уделим немного внимания Кутайсову.

Надо думать, граф-брадобрей был доволен состоявшейся сделкой. Ему нравилась приобретенная мебель и льстил восторг, который эта мебель вызывала у посетителей.

Но счастье, как известно, не вечно, и купленный Кутайсовым гарнитур не так уж долго простоял в его доме.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года император Павел I был убит.

Смерть благодетеля была для Кутайсова большим ударом. Графа тотчас же отстранили от государственной деятельности. Но Кутайсова не лишили обширных поместий, полученных им от покойного императора, не сослали, не отправили за границу, а сыновьям его была обеспечена блестящая карьера.

Правда, теперь в графе никто не заискивал. Так получалось, что сам граф постоянно нуждался в чьем-либо покровительстве, и чаще всего в покровительстве человека с курносым носом и свинцовыми глазами, который приобрел вес в царствование Павла, но стал всемогущим при Александре I.

Граф Аракчеев весьма гордился своим девизом: «Без лести предан». Но Суворов в свое время не зря переиначил эти слова: «Бес лести предан». За грубой и угрюмой внешностью солдафона скрывались и лисья хитрость карьериста, и ловкость придворного льстеца, и хватка скаредного помещика, выжимающего из крепостных все соки.

Недолюбливая людей, генерал питал нежные чувства к собакам. В его имении в Грузине были поставлены мраморные памятники двум псам, которым Аракчеев, опасаясь отравы, давал опробовать каждое подаваемое ему блюдо.

Были у Аракчеева и иные слабости. Он обожал скабрезные анекдоты, а половина библиотеки в Грузине состояла из книг весьма игривого содержания. Аракчеев хорошо разбирался в фривольной живописи и военных поселениях, но отнюдь не в художественной мебели. И тем не менее именно у него возникло подозрение, что

к подаренному Кутайсовым мебельному гарнитуру Буль никогда и никакого отношения не имел.

Возможно, здесь сыграла какую-то роль интуиция генерала, а еще вероятней, твердое и непоколебимое убеждение, что все люди подлецы и ничего хорошего ждать от них не приходится.

В общем, не зря побледнел Феоктист Феоктистович, когда де Беркес решил продать мебель графу Кутайсову...

Когда бывшего дворецкого князя Потемкина доставили к Аракчееву, он понял, что дела его плохи. И все же Феоктист Феоктистович духом не падал. Мало ли в каких передрягах побывал! Авось и тут пронесет.

Но когда на нем остановились свинцовые глаза вошедшего в комнату Аракчеева, все хитроумные мысли Феоктиста Феоктистовича словно студеным ветром из головы выдуло. Задрожал Феоктист Феоктистович и бултыхнулся генералу в ноги.

— Виноват, ваше сиятельство!

И потянулась из клубка ниточка...

От бывшего дворецкого князя Потемкина Аракчеев узнал все, что тот сам знал или о чем только догадывался.

Узнал про историю двух мебельных гарнитуров-близнецов, сделанных кем-то в России и почти одновременно купленных Потемкиным и Шереметевым, про то, как освидетельствовали эту мебель русские мастера-умельцы, про уговор Феоктиста Феоктистовича с де Беркесом и про их совместную коммерческую деятельность, благодаря которой эта мебель в конечном итоге и оказалась в поместье Аракчеева.

Аракчеев понюхал табак из золотой табакерки, чихнул и спросил:

— Выходит, французик спервоначалу клятвенно в подлинности заверение делал?

— Истинно, ваше сиятельство.

— А затем, выходит, отперся от оного?

— Совершенно справедливо рассуждать изволите, ваше сиятельство.

— Угу, —задумчиво сказал Аракчеев и распорядился доставить к нему де Беркеса.

Многое из того, о чем поведал француз, представило интерес не только для Аракчеева...

Ошеломленный Феоктист Феоктистович узнал, что де Беркес, оказывается, никогда не сомневался в поддель-

ности мебельных гарнитуров, которые ему показали в Таврическом дворце.

Почему же он, каналья, утверждал обратное? — спросил Аракчеев. Только потому, что мастер, сделавший эту прекрасную мебель — поверьте, граф, она действительно прекрасна, — очень просил признать ее за булевскую. А когда у человека мягкое сердце, его уговорить совсем нетрудно...

Уплатил небось за лжесвидетельство? Естественно. Иначе бы ему, де Беркесу, и совесть не позволила, и дворянская честь...

А так дозволила совесть-то?

Де Беркес только руками развел. Дескать, сам удивляюсь, до чего покладистой оказалась.

Но больше всего Феоктист Феоктистович поражен был все-таки не этим. Его потрясло заявление де Беркеса, что мебель, имитирующую булевский гарнитур «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура», смастерил не кто-нибудь, а старый и хороший знакомый Феоктиста Феоктистовича, крепостной графа Шереметева, знаменитый петербургский столяр-краснодеревщик Никодим Егорович Беспалов, чье мебельное заведение поставляло мебеля многим вельможам и даже во дворец самой императрицы.

Большим весом в мебельном деле пользовался Никодим Егорович. И то, второго такого искусника не найти. Потому, когда потребовалось мебель на подлинность проверять, Феоктист Феоктистович первым его в Таврический дворец и пригласил. Гляди, дескать, Никодим Егорович, что скажешь, то и постановим, то и князю отпишу. Самая что ни на есть железная вера тебе. Потому как мастер из мастеров.

А он что, выходит? А он, выходит, сам весь этот обман и затеял для своей выгоды.

И хотя Феоктист Феоктистович тоже был не без греха, очень ему стало от всего этого обидно. Чуть ли не до слез.

Ведь если бы не тот старичок, который догадался понюхать, то мебель бы наверняка за булевскую пошла. Как пить дать. И тут мысли Феоктиста Феоктистовича приняли совсем неожиданный оборот. Недаром же говорят о противоречивости человеческой натуры.

«А кому от того старичка нюхальщика польза-то была? — сам себя спросил Феоктист Феоктистович. — Князю Потемкину Таврическому? Никакой. Одно рас-

стройство и неудовольствие от этих всех дел имел. Графу Шереметеву? И того меньше. Очень ему хотелось Григорию Александровичу Потемкину услужить. А тут, говорят ему, фальшь в презент подсовываешь, неуважение оказываешь. Обидно. Кутайсову польза? Какое там, оконфузился турка. О де Беркесе и говорить нечего! Совсем в дрожь господин Аракчеев беднягу ввел, листом осиновым колышется. А за что? В чем его вината? Вот и поклевал малость золотого зернышка со всем решпектом. Его же чуть не в батоги. И все этот... нюхальщик. Правда ему потребовалась. Никак без оной помирать не желал.

А мастера что говорили? А то говорили, что фальшь фальши рознь. За одну, говорили, батоги да шпицрутены положены, а за другую — и ста рублей не жалко. Вот что мастера в своей мудрости говорили. Понимали, что к чему да с чем кушается.

Да, не лезть бы старичку со своей правдой немытой-нестриженой — и всем бы благоденствие, а иным и прибыток.

Тоже мне, нюхальщик!

Кто, ежели при своем уме, мебеля нюхает? Цветок это тебе какой, что ли? Рыбка копченая?

Мебеля же не на нос примеряют, а на глаз да на сердце. Вон стоят душу радуют. Благолепие? Благолепие. Изящество? Изящество. Деликатность? Деликатность. Вот и умиляйся, а не принюхивайся».

— Так ли рассуждал Феоктист Феоктистович или нет, ручаться, конечно, не буду, — сам себя прервал Василий Петрович. — Но, думаю, что ход мыслей его был примерно таким. Действительно, происшедшее всем участникам событий ничего, кроме неприятностей, не обещало.

Но замечательный краснодеревщик, имитировавший гарнитур Буля «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура», так и не предстал перед генералом. Проявив свойственную ему предусмотрительность, Никодим Егорович скончался ровно за неделю до того, как псевдогарнитур «Прекрасная маркиза» был расставлен в доме Аракчеева в Грузине.

А какой спрос с покойника?

Впрочем, Феоктист Феоктистович и де Беркес тоже не пострадали, Аракчеев был послан Александром I в Малороссию, а когда вернулся в Петербург, то ему было не до истории с гарнитуром. Как нынче говорят,

все рассказанные мною события потеряли для него свою актуальность.

Мебель, сделанная в мастерской Беспалова, судя по всему, Аракчееву очень нравилась.

Отдал ей должное и посетивший Аракчеева в его имении Александр I. Особенно якобы пришлось царю по вкусу одно кресло, в котором он любил отдыхать после обеда. Это приглянувшееся высокому гостю кресло Аракчеев прислал будто бы своему благодетелю в Петербург, и оно затем повсюду сопровождало царя в его поездках.

— Интеллигент, особенно русский интеллигент, — загадка, над разгадкой которой уже много лет безуспешно бьются лучшие умы человечества. Вот попробуйте объяснить мне с точки зрения логики, почему я тогда заинтересовался этой историей? Ну, почему? Забыл про все свои дела и с головой погрузился в изучение, розыски и исследования, связанные с тем, что не имело никакого отношения к моей работе.

Ну кто, кроме русского интеллигента, способен на подобное?

Постараюсь не очень забивать вам голову всем тем, что мне показалось тогда не только интересным, но и увлекательным. В конце концов вы совсем не обязаны разделять все мои увлечения, — сказал Василий Петрович. — Скажу лишь, что, к моему глубочайшему удивлению, выяснилось, что перед империалистической войной в России было весьма развито производство художественной мебели. Мебельная промышленность, правда, делала первые шаги, зато кустарные промыслы процветали. Ну, прежде всего Сергиев Посад, раскинувшийся вокруг Троице-Сергиевой лавры. Здесь, оказывается, существовали уникальные мастерские, где кустари по эскизам знаменитых русских художников делали исключительно оригинальную мебель. Среди художников, увлекшихся этим делом, был и Виктор Михайлович Васнецов, чьи картины стали украшением Третьяковской картинной галереи, его брат, знаток Древней Руси, пейзажист, историк и археолог Аполлинарий Михайлович Васнецов и многие другие. Эта мебель долго не застаивалась в московском Кустарном магазине, находившемся в Леонтьевском переулке. Точно так же мгновенно раскупалась и зачастую тут же вывозилась за границу городецкая резная мебель, инкрустированная море-

ным дубом, крашеная мебель в так называемом «русском стиле», привезенная из Семеновского и Макарьевского уездов Костромской губернии, мебель из карельской березы, изготовленная краснодеревщиками Твери. Славились мебельных дел мастера Арзамасского уезда Нижегородской губернии, Кузнецкого уезда Саратовской.

Но больше всего меня заинтересовало село Маклаково Василь-Сурского уезда Нижегородской губернии, где кустари изготовляли мебель, широко используя технику маркетри.

Оказалось, что эту мебель я видел в «Бытовом музее сороковых годов», который был открыт в конце двадцатого года в доме Хомякова на Собачьей площадке. Но тогда я ее принял за французскую. Мне и в голову не могло прийти, что где-то на Волге изготавливают подобные вещи.

По словам бывшего служащего Кустарного магазина из Леонтьевского переулка, с которым судьба меня свела в Народном комиссариате просвещения, маклаковская деревянная мозаика ни в чем не уступала заграничной, а по некоторым показателям и превосходила ее. Он говорил, что на художественной мебели, привезенной из Маклакова, предприимчивые перекупщики зачастую ставили поддельные иностранные клейма и она продавалась в Петербурге как французская или английская.

А материал для мозаики? Где и как маклаковские краснодеревщики достают ценные цветные породы древесины? К тому времени я уже знал, что черное дерево, палисандр, сандал стоят дикие деньги и достать их в России не так-то просто, тем более где-то в Заволжье. Ведь Маклаково не Петербург и не Москва.

Приказчик из Кустарного магазина только усмехнулся. «Кто желание да способность к какому делу имеет, того ничем не остановишь. Ежели с охоткой да умеючи...»

А все же?

Оказалось, что, во-первых, используется цветная древесина ящиков, в которых доставляются из-за границы сигары, пряности, фрукты, краски и вина. А во-вторых — и это главное, — маклаковцы знают массу секретов подделки древесины. У них совсем неплохо получаются из обычных дуба, березы, ольхи или ясеня, например, самые экзотические породы деревьев: палисандровое, сандаловое, самшитое или эбеновое.

Неужто нельзя отличить?

Почему нельзя? Можно. Но зачем? Видимость благородная? Благородная. Красивость имеется? Имеется. Тогда о чем разговор? И покупали подешевле, и продавали так же. Так что никто в убытке не был.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что маклаковцы умели имитировать не только ценные породы древесины, но и слоновую кость, и черепаховую. Короче говоря, разговор становился для меня все более интересным.

Я показал своему новому знакомому кресло, которое считалось работой Буля.

Он сказал, что на его памяти подобных вещей в Маклакове не делали. Но, говорят, лет пятнадцать или двадцать назад такую мебель в стиле Буля изготовляла там мастерская некоего Бессонова. «Может быть, Беспалова?» — с замиранием сердца подсказал я. Может быть, и Беспалова, пожал плечами мой собеседник.

Как вы сами догадываетесь, после этого разговора меня одолела бессонница, тем более что к тому времени я располагал некоторыми данными, правда, малодостоверными, как и все в этой зыбкой истории, что сын Никодима Егоровича Беспалова, ради которого он якобы и сделал два псевдогарнитура «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура», после смерти отца уехал в Нижегородскую губернию. А если так, то...

Очень было соблазнительно соединить с этим обстоятельством искусство маклаковцев.

Такого рода секреты всегда передавались от отца к сыну, от деда к внуку. Ведь, безусловно, Никодим Егорович Беспалов, мастер, соперничавший с самим Булем, приучал сына к своему искусству, делился с ним своими открытиями, опытом и секретами. А тот, в свою очередь, учил своего сына. Так у них и шло от поколения к поколению.

Моя фантазия разыгралась. Да и было от чего. Почему действительно сыну Беспалова, променявшего Петербург на Нижегородскую губернию, не остановить свой выбор на селе Маклакове? Не приглянулось село, мог бы поселиться в самом Василь-Сурске, чудесном старинном городке, раскинувшемся возле устья красавицы Суры при впадении ее в Волгу.

Мне очень хотелось протянуть ниточку от Никодима Егоровича Беспалова к маклаковским краснодеревщикам-интарсиаторам. А когда очень хочется, то желаемое

день ото дня становится все более и более достоверным. Поэтому вскоре я уже был уверен, что основы искусства маклаковских краснодеревщиков заложены не кем иным, как сыном Беспалова. Мне требовалось лишь обосновать это.

Усольцев, который привык считаться только с фактами, к моей гипотезе отнесся более чем скептически.

— Это так, от фантазии, — сказал он, когда я поделился с ним своими мыслями.

— И все-таки обязательно хочу побывать в Василь-Сурске.

— А почему бы и нет? — пожал он плечами. — Время летнее. Чего зря в большом городе сидеть? Места там, говорят, хорошие. Покупаетесь, позагораете. Начальником милиции там хороший парень работает, студент-историк в прошлом. Он у нас на курсах был, очень музеем Петрогуброзыска интересовался, особенно медальоном и портретом Бухвостова. Хотел с вами познакомиться. Вот и познакомитесь. Если хотите, я ему письмо напишу. Насчет мебельного гарнитура «Прекрасная маркиза» не знаю, а отдых с рыбалкой он вам обеспечит. Про василь-сурскую стерлядь небось слышали?

И вот в самый разгар лета, запасшись письмом Усольцева и официальной бумагой от «Бытового музея сороковых годов» (всем, без исключения, органам власти предписывалось оказывать мне везде и во всем помощь «в интересах просвещения рабоче-крестьянских трудовых масс»), я отправился налегке в Василь-Сурск.

По-моему, никогда в жизни — ни до, ни после — у меня не было такого хорошего настроения и таких приятных предчувствий.

Городок меня очаровал. Все здесь ласкало взор: бескрайние сады, великолепная дубовая роща, посаженная, по преданию, Петром I, нарядная Хмелевская церковь с иконами XVII и XVIII веков, здание уездного училища, уютные чистенькие улочки, веселые, сбегающие наперегонки с горы дома.

Но долго восхищаться красотами города мне не пришлось.

Когда я, стоя на пристани, любовался Сурой, кто-то сзади осторожно тронул меня за локоть. Я обернулся и увидел добродушную конопатую физиономию «снегиря» — так в двадцатые годы из-за яркой формы любили именовать милиционеров. «Снегирю» было лет двадцать,

не более. Он лузгал семечки и внимательно разглядывал меня, причем мне показалось, что особое внимание почему-то привлекает моя широкополая шляпа.

— Приезжими будем или как? — спросил «снегирь», продолжая грызть семечки.

— Приезжий.

— А паспортная книжечка у нас имеется?

Я дал ему свой паспорт. «Снегирь» повертел его, пощупал, поскреб ногтем. После этого ухмыльнулся и подмигнул мне.

— Как у вас говорят? Ростов — папа, Одесса — мама, а Елец — всем ворам отец.

— Я вас не понимаю.

— Это ничего, что мы не понимаем. Сейчас не понимаем — потом поймем, — ехидно сказал «снегирь» и, спрятав мой паспорт в карман гимнастерки, спросил: — А еще какие такие документы у нас имеются?

— Верните прежде мой паспорт, — потребовал я.

— Какой паспорт?

— Тот, который вы себе в карман положили. Вот какой!

— Это не паспорт.

— А что же по-вашему?

— «Липа».

— Какая липа?!

— Натуральная «липа», елецкой работы, — убежденно сказал он.

— Ну, знаете! — возмутился я.

— Ах, какие мы нервенные! — съехидничал «снегирь» и сказал: — Ежели у нас еще какие документики имеются, то очень даже советую предъявить. Все одно, когда в милицию доставлю, личный досмотр до самых кальсон учиним.

Изучая бумагу из «Бытового музея сороковых годов», он хмыкал и улыбался, давая тем самым мне понять, что старого воробья («снегиря») на мякине не проведешь.

— Выходит, по мебельным делам мы сюда прибыли?

— Выходит, что так, — в тон ему ответил я.

— И не стыдно нам?

— А чего мне, собственно, стыдиться?

— Не знаем?

— Не знаю, — отрезал я. — И буду вам весьма признателен, если вы изволите наконец объясниться!

Он расплылся в улыбке.

— Ишь ты, фу-ты, ну-ты. Из антиллигентов мы, в гимназии небось учились, все науки превзошли! — восхитился он и от избытка восхищения перестал даже лузгать семечки. — Значит, выходит, признательны будем, коли я объяснение дам? Ну, ежели так, то чего ж, и объяснюсь, коли мы такие глупые и ничего понимать-соображать не желаем.

— Уж будьте любезны!

— Буду, буду, любезным. Чего там! С Мебельщиком давно мы стакнулись, а?

— С каким именно мебельщиком?

— С натуральным, маклаковским.

— Я действительно интересуюсь художественной мебелью...

— Придуриваемся? — укоризненно спросил он.

— Как вы со мной разговариваете?!

— А как? Как положено, без рукоприкладства.

— О каком мебельщике вы говорите?

— О том самом. О преступном элементе по кличке Мебельщик, он же Гусиная Лапка, он же Гриша Прыг-Скок. Других у нас, слава богу, не имеется. И этим по горло сыты.

— Не знаю я никаких гусиных лапок, гриш и мебельщиков! — заорал я.

«Снегирь» скорбно вздохнул. Похоже было, что я окончательно подорвал его веру в человечество.

— Опять придуриваемся? А кто этой ночью на улице Третьего Интернационала винный склад брал? Мы складик брали, вместе с Гришей Мебельщиком брали.

— Вы что, с ума сошли?!

— Во-первых, оскорблять представителя при исполнении обязанностей не положено. Об этом статья в кодексе имеется. А во-вторых, я-то с ума не сошел, потому и говорю: отпираться нам никакого здравого смысла нет, потому как все опрошенные в единый голос говорят, что Мебельщику помогал антиллигентный гражданин в шляпе. У кого антиллигентная видимость? У нас. У кого на голове шляпа? У нас. У кого замест документов елецкая «липа»? Опять же у нас. Так что в уме мы или без, а в милицию пройтись нам придется. Тут уж никакого разговора быть не может.

И действительно, мне пришлось идти в сопровождении «снегиря» через весь город в милицию, которая находилась на самой вершине холма.

Немилосердно жгло летнее волжское солнце. Все жители городка уже были в курсе происшествия, которое случилось на улице Третьего Интернационала, где помещался винный склад нэпмана Бородавкина, и с жаром обсуждали мою дальнейшую судьбу.

В милиции составили протокол о моем задержании и незамедлительно отправили меня в камеру, которая сокращенно именовалась КПЗ, то есть камера предварительного заключения.

В этой душной каморке я просидел почти двое суток, проклиная свою разнузданную фантазию, бдительность «снегиря», свою невезучесть и «хорошего парня» начальника местной милиции, который, на мою беду, отбыл в Нижний Новгород на совещание, посвященное по злой иронии судьбы необоснованным и незаконным арестам.

Но все, рано или поздно, кончается. Закончилось и совещание в губернском центре. Начальник милиции просто не знал, как загладить свою невольную вину. Угощая меня янтарным ледяным пивом с лоснящейся от жира воблой, он стеснительно спрашивал:

— Небось блохи донимали?

— Было такое дело.

— И койка жесткая...

— Что говорить!

— А все перебои со снабжением, Василий Петрович, — объяснял он. — К уезду ведь как относятся? Наплевательски, понятно. Все заявки под сукно. Но ничего. Я сейчас выдрал у начхоза губернского розыска шесть фунтов персидской ромашки — лучшего средства от блох не бывает. От одного вида мрут. А в интернате для дефективных мне пообещали восемь матрасов на пружинах и двадцать фунтов масляной краски. Так что вы немножко раньше времени приехали. Сейчас мы с блохами покончим и благоустройством займемся. Лучшую КПЗ в губернии оборудуем. Почище любой гостиницы. Сами люди к нам проситься будут. Ей-богу!

— Так что можно приезжать погостить?

Он слегка смутился, а потом рассмеялся.

— А что? Самым дорогим гостем будете. Мы вам по знакомству два матрасика на койку уложим.

— Соблазнительно, конечно, но я все-таки, пожалуй, откажусь.

— Почему?

— Да не привык как-то в КПЗ ночевать.

— Ну, привычка дело наживное.

— Как для кого.

— Это верно. Поэтому, если КПЗ не прельщает, то милости прошу ко мне домой, хотя, честно говоря, в КПЗ будет поудобней, — сказал он и заговорил об ограблении винного склада. — Мы этого Гришку Мебельщика уже год ловим, — вздохнул он. — Исчезнет на два-три месяца и опять у нас в уезде объявится. Нет, чтоб куда подальше уехать. Все здесь топчется. Родные пенаты, что ли, его сюда притягивают? Ведь он родом из Маклакова. И отец его оттуда, и дед. Вот, кстати, говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. А ведь ерунда это. Отец Гришки был честнейшим человеком. Мастер, умелец, лучший краснодеревщик в Маклакове, а Маклаково краснодеревщиками богато, можете мне поверить. Дед Гришки — вообще легендарная личность. Такого столяра и в Петрограде днем с огнем не сыщешь. Талант! Рассказывают, беспаловская мозаика чуть ли не на вес золота ценилась...

— Простите, какая мозаика?

— Беспаловская. Та, которую дед Гришки Мебельщика делал, — Беспалов Иван Иванович.

— А отец этого... Мебельщика жив?

— Федор Иванович? Нет, в голод помер. И он, и жена, и дети... Вот только Гришка на мою голову остался.

Так был найден мной потомок Никодима Егоровича Беспалова. Увы, этот потомок не был краснодеревщиком. Он был просто вором, вором-рецидивистом...

Видимо, я изменился в лице, потому что мой собеседник отставил в сторону жбан с пивом и спросил, что со мной.

И тогда я рассказал ему историю о мебельных гарнитурах «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура».

Он был потрясен.

— Если Мебельщика нужно взять в интересах науки, то мы разобьемся в лепешку, а возьмем его, — заверил меня начальник милиции. — Но только, поверьте слову бывшего студента, ни черта этот домушник не смыслит в мебели. И если он и знает какие-нибудь секреты мастерства, то только воровские.

— Но все-таки у него должны были остаться какие-то рецепты от отца и деда.

— Какие там могли остаться рецепты! — в сердцах

махнул рукой начальник милиции. — У него даже совести и то не осталось! Но, как бы то ни было, а обещаю: только арестуем — сразу же отобью вам телеграмму. Наука — дело святое. Я, кстати говоря, историей второй половины восемнадцатого века и первой половиной девятнадцатого увлекался... Значит, говорите, «Прекрасную маркизу» Шереметев и Потемкин почти одновременно приобрели? Молодец Никодим Егорович! Хотя, конечно, с точки зрения закона немножко не того...

Телеграмму из Василь-Сурска я получил осенью. Для посторонних она звучала весьма загадочно: «Мебельщик нюхает персидскую ромашку, спит матрасе дефективных. Выезжайте. Коллега».

Второй телеграммы из Василь-Сурска я, разумеется, не дожидался...

В прошлую свою поездку в Василь-Сурск я, отсидев в КПЗ и побеседовав с начальником милиции, все-таки не забыл посетить Маклаково. Недавний голод, охвативший Поволжье, сильно опустошил село. Многие дома стояли заколоченными. Из краснодеревщиков и мозаистов в живых осталось всего несколько человек, да и те почти забросили свое ремесло, хотя нэп к тому времени уже набирал силу, и в Маклаково приезжали скупщики мебели и других изделий с деревянной мозаикой.

Я походил тогда по избам, побеседовал с мастерами. Не могу сказать, что поездка оказалась напрасной. Кое-что я извлек из нее и даже привез в музей изящный овальный столик наборного дерева и несколько шкатулок. Но по сравнению с тем, какие надежды я возлагал на свою командировку, улов оказался более чем скромным.

Про историю с мебельным гарнитуром Буля здесь никто и ничего не слышал.

— Разве что Гришка Беспалов что порассказать вам может, — сказал мне старик мастер. — Но навряд. Не то у него в голове. Да и где этого обормота сыщешь? Только в тюрьме.

И вот «обормот Гришка», на мое счастье, в тюрьме...

Начальник уездной милиции встретил меня как родного, рассказал об аресте Беспалова, любезно поинтересовался музейными делами и проводил до дверей КПЗ.

Нет, студент-историк не был болтуном. Хотя я и не

специалист в тюремном деле и видел за всю свою жизнь лишь одну камеру предварительного заключения, у меня до сих пор нет ни малейшего сомнения, что КПЗ Василь-Сурского уезда была лучшей в Нижегородской губернии, а возможно, и во всей молодой республике. Здесь все радовало глаз своей чистотой, вкусом, опрятностью.

И на фоне всего этого потомок великого краснодеревщика выглядел, прямо скажем, весьма неважно. Похабно выглядел. Будто мусорный бачок в картинной галерее.

Потомок Никодима Егоровича не только не вписывался в интерьер образцовой КПЗ, гордости Василь-Сурска, а просто выпирал из него грязным и сальным пятном.

Мне даже стало обидно за начальника милиции. Старался человек, нервы трепал, доставал, выбивал, пробивал. А для кого?

Для таких вот субчиков, которые не могут оценить этого, а валяются себе на пружинистых матрасах, задрав кверху ноги в грязных носках и насвистывая какой-то пошленький мотив.

Увидев меня, Беспалов зевнул, сел на койке и начал сосредоточенно ковырять в носу.

— Ну, чего скажешь? — спросил наконец Беспалов, покончив со своим носом.

— Да вот, приехал с вами побеседовать.

Я вкратце изложил обстоятельства, которые привели меня к нему в КПЗ.

— Подоить, значит, хотишь?

— Я бы назвал это иначе. Но в конце концов дело не в формулировках. Только учтите, что вы должны быть заинтересованы не меньше меня.

— А интерес-то мой в чем? На свободу, что ль, меня выпустят или как?

— Я имею возможность неплохо оплатить все полученные от вас сведения.

— Чем оплатить?

— Деньгами, разумеется. Чем же еще оплачивают?

— А что я с ними делать-то буду, с твоими бумажками? Капезуху обклеивать?

— Я не понимаю, чего вы хотите?

— Небось никогда в своей куриной жизни в капезухе не сидел?

Я объяснил ему, что сидел, причем сидел по его милости.

— Не из-за меня, а из-за Петьки Интеллигента, — уточнил он. — Из-за кореша моего. Тоже очень шляпу обожает. Вот тебя заместо его и засахарили. Но я тебя к чему про отсидку спросил?

— Представления не имею.

— А к тому спросил, что кажный, который за решеткой пребывал и небо в клеточку зырил, очень даже великолепно понимает, с чем в тюряге недостача наблюдается.

— С чем же, позвольте полюбопытствовать?

— Во-первых, жратва...

— Ну, если вам не хватает хлеба, то я, разумеется, буду рад оказать вам всяческое содействие, — оживился я. Он тупо и удивленно посмотрел на меня.

— Ты что, недопеченный? На хрена мне хлеб? Я в Петрограде при фарте в самых шикарных ресторациях свою жизнь раскручивал, ананасы замест картошки жрал, а шампанское замест чая из серебряного самовара наяривал. Хлеб! А мякину мне не хотишь предложить?

— Ну, ежели вы рассчитываете на ананасы...

— Не рассчитываю, — сказал он. — Ананасов здеся днем с огнем не сыщешь. Потому за ананасами тебя и не посылаю.

— А зачем послать изволите? — сыронизировал я, прекрасно понимая, что выполню любое его поручение, лишь бы получить столь нужные мне сведения.

— Ты хвост не поднимай, понял? — буркнул он. — У нас с тобой дело полюбовное. Сладимся — хорошо, не сладимся — и того лучше. Я налево, ты направо, я в тюрьму, а ты в Москву. Нужен я тебе?

— Ну?

— Тогда ублажай. — Он выжидающе посмотрел на меня и, выдержав паузу, продолжал: — Вот я стерлядку кольчиком, к примеру, уважаю, балычок осетровый, чтоб в нем солнышко играло, икорку зернистую...

— А вобла не сойдет? — вибрирующим голосом спросил я.

— Вобла не сойдет, — убежденно ответил он. — Не сойдет вобла. Вобла для мастерового да босяка лакомство. А для меня — она тьфу! Так что ты уж не скупись и запоминай, что мне на язык и на душу ляжет. И про стерлядку запомни, и про балычок, и про икорку...

Меня трясло мелкой дрожью.

— Все перечислил?

— Ишь какой быстрый! — ухмыльнулся он, явно любуясь моим состоянием. — А курить что я буду?
— Ладно. Две-три пачки махорки я куплю.
— Махорки, говоришь? А сам что куришь?
— Я не курю. И попрошу вас разговаривать со мной на «вы».
— На «вы» — это можно, — согласился он. — Меня не убудет. А вот что не курите — это зря.
— Об этом уж позвольте судить мне.
— Я не к тому.
— А к чему?
— А к тому, что ежели б курили, то о махорке и заикаться посовестились бы. Кто махорку-то смолит?
— Сигары курить изволите?
— Нет, папиросы.
— Какие же?
— «Северную пальмиру» и «Нашу марку». Так что расстарайся десятка на три-четыре.
— Хорошо, расстараюсь, — скрипнул я зубами. — Все?
— Вроде все. Только бутылочку, понятно, не забудь прихватить.
— Что?!
— Бутылочку, говорю, не забудь.
— Какую бутылочку?
— Тронутый ты, что ли? «Какую»! Обычную. Ежели на коньяк пожалеешь, то можно и смирновку. Хрен с тобой, где наша не пропадала!
— Да вы понимаете, о чем говорите?!
— А чего тут не понимать?
— Не будет вам никакой бутылки, ясно?
—Бутылки не будет — разговора не будет, — хладнокровно отпарировал он и лег на койку, повернувшись ко мне спиной, давая тем самым понять, что аудиенция окончена.
Когда я вышел из образцовой КПЗ, я был настолько раскален, что от меня можно было прикуривать.
Начальник уездной милиции, как и положено начальнику милиции, был знатоком человеческих душ и физиономий.
Мельком взглянув на меня, он сразу же все понял.
— Задал вам Гришка перцу?
— Ну и мерзавец!
— И еще какой мерзавец! — поддержал он. — Во всей Нижегородской губернии второго такого не сыщешь. Махровый мерзавец!

— Не говорите!
— Так, может, плюнете на все это дело?
— Нет уж.
— А вы все-таки подумайте, нервы дороже. А главное — я уверен, что ни черта он не знает.
— Знает. Ежели бы не знал, то так нагло не держался. Понимает, что мне без него не обойтись, потому и куражится.
— Ну, ежели так, то надо терпеть. Ничего не поделаешь!
— Я-то готов терпеть, а вот вы...
Начальник уездной милиции настороженно посмотрел на меня. Что-то в моей интонации ему явно не понравилось.
— А при чем тут я?
— Ну как вам сказать? Прямого отношения вы, конечно, не имеете, но некоторое касательство...
— Что он хочет?
Я решил проявить максимум такта и излагать требования Беспалова постепенно, не травмируя психику своего собеседника.
— Гурман он, оказывается. Зернистая икра ему, видите ли, требуется. Иначе говорить не желает.
— Ишь ты, — усмехнулся начальник милиции. — И что же вы решили?
— Если не возражаете... — осторожно начал я.
— А чего мне, собственно, возражать? Передачи мы принимаем, пожалуйста.
Такой легкой победы я не ожидал.
— И балык осетровый можно?
— Почему же нет?
— И стерлядь кольчиком?
— Сделайте милость.
— Не знаю, как и благодарить вас!
— А за что? Если вас не смущают расходы, то нас тем более. Правда, с большим удовольствием я бы посадил этого вымогателя на хлеб и воду, чем баловал его разносолами, но, как говорится, воля ваша. Так что никаких возражений.
Начальник уездной милиции был воплощением великодушия. Но когда я, обрадованный столь успешным началом своей дипломатической миссии, заговорил о папиросах, он сухо сказал:
— А вот этого, Василий Петрович, не положено.
— Ну в виде исключения.

— Не положено. Ведь мы, Василий Петрович, бюрократы и руководствуемся инструкциями. Балык, икра и прочее существующим положением о передачах не возбраняется. А раз так — то с милой душой. Относительно же табака и спичек имеется специальный параграф — строго запрещено. Как же мы с вами будем нарушать его?

— Да, напрасно, выходит, я сюда приезжал.

— Обидно, конечно. Но что тут можно придумать!

— Да нет, кое-что можно было бы, понятно, придумать, — осторожно закинул я удочку, — но у меня даже язык не поворачивается.

— Так уж и не поворачивается? — ехидно спросил он.

— Параграф, конечно, дело святое, — ханжески сказал я. — Но ведь проверяющий передачу может просто-напросто не заметить папиросы. Бывает же такое — не заметил, и все. Усольцев бы...

Он внимательно взглянул в мои бесстыжие глаза, усмехнулся и сказал:

— Ну разве что в интересах науки и из уважения к Усольцеву.

Я готов был расцеловать его.

— А если водку? — дойдя до высшей степени наглости, спросил я.

— Что, водку?

— Ну, это самое, в интересах науки и из уважения?..

— Василий Петрович, а вам не стыдно?

— Стыдно.

Наступило молчание. Долгое. Тревожное. Наконец он сказал:

— А ежели вам все-таки плюнуть на него, а?

— Да я бы рад, но никак нельзя. Без него я как без рук...

— Попробуйте, а? — сказал он почти умоляюще.

Снова молчание. Скорбно смотрю на начальника милиции, он точно так же скорбно глядит на меня, размышляет.

— Только подумать, водку арестованному! Собственными руками!

Я вздыхаю. Жалобно так вздыхаю. Он тоже вздыхает.

— Я, конечно, понимаю ваше положение и поэтому не настаиваю.

— Ладно, — наконец решается он. — Черт с ва-

ми. Если проверяющий не обратит внимания на папиросы, он может не заметить и водку.

— Голубчик!

— Ну, ну, только не благодарите, — поднимает он руку, будто желая отстранить меня, если я вдруг кинусь целоваться. — Я сам себе противен.

— Но ведь в интересах науки!

— Ну, тогда отправляйтесь за продуктами. Справа от пристани в переулке — знаете, где пристань? — есть магазин Шевцова. Вы там купите все, что вам требуется... — Он помедлил и не без юмора закончил: — В интересах науки.

Действительно, в магазине Шевцова нашлось все, что заказывал Беспалов. А стерлядь кольчиком мне приготовили в близлежащей кухмистерской.

Как и предполагалось, пожилой милиционер с вислыми усами «не заметил» ни папирос, ни водки. Правда, мне показалось, что его лицо выражало осуждение. Но мало ли что может почудиться!

Беспалов встретил меня, как строгий ревизор проворовавшегося служащего.

Проверил, будто по реестру, содержимое корзинки, долго и придирчиво разглядывал сургуч, которым было запечатано горлышко бутылки, этикетку. Дважды пересчитал поштучно папиросы. С брезгливой физиономией нюхал стерлядь, икру и балык.

— Все, что заказывали.

— Не слепой, — недовольно сказал Беспалов и ввинтил палец в ноздрю. — Икра от Шевцова?

— Да, а что? — спросил я и почувствовал в своем голосе подхалимскую нотку.

— Залежалая, с рыжинкой.

— Ай-яй-яй! А он клялся, что свежая.

— Жулик, потому и клялся.

— Если хотите, могу купить у другого. В конце концов это не так уж сложно.

— Ладно, и так сойдет, — смилостивился Беспалов. — Не в ресторации все ж, в тюряге.

Я не был уверен, что обед Беспалова в образцовой КПЗ уступает в чем-либо дорогому обеду в лучшем московском ресторане, но спорить с ним не стал.

— Я прежде всего хотел бы поговорить с вами, Гриша, о способах травления дерева.

— Больно быстрый, — усмехнулся Беспалов. — Завтра приходь. Завтра и потолкуем обо всем. Бывай!

Я робко сказал, что разговор предстоит большой и желательно поэтому начать его сегодня же, но Беспалов был неумолим.

На следующий день поговорить нам тоже не привелось. Арестант злобно хмурился, огрызался, ссылался на перепой и нагло требовал опохмелки.

Разговор был отложен еще на день. А ночью Беспалов бежал, высадив голубенькую решетку и аккуратно выдавив вымытое до зеркального блеска оконное стекло образцовой КПЗ. Задержать его не удалось. Да и попробуй задержать, когда рядом Волга. Плыви, куда хочешь. Хочешь вверх по течению, хочешь — вниз.

Объективно моей вины в случившемся, конечно, не было. Но, уезжая из Василь-Сурска, я все-таки старался не смотреть в глаза начальнику милиции...

В Поволжье стояло знойное пыльное лето, а в душе моей шел мерзкий холодный дождичек и чмокала непролазная осенняя грязь. До чего же мне было тогда гнусно, голубчик вы мой, ни в сказке сказать, ни пером описать!

После случившегося, — продолжал Василий Петрович, — я долгое время не имел о Беспалове никаких сведений. Он больше не показывался ни в Василь-Сурске, ни в Маклакове. А затем в моей квартире появился скособоченный плешивый человек, прибывший в Москву с Соловецких островов, где он отбывал наказание.

Скособоченный, сидевший, как он мне сообщил, за халатность, был на Анзере в бригаде Беспалова. Когда его освободили, Гриша просил разыскать меня, передать от него сердечный привет и выразить сожаление по поводу происшедшего в Василь-Сурске.

Оказалось, что мой очерк о Соловецком монастыре, который был опубликован в одной из газет, попал на глаза Мебельщику и вызвал у него поток трогательных воспоминаний о знакомстве со мной в образцовой КПЗ, где он «в интересах науки» объедался зернистой икрой, балычком и стерлядью, а затем сбежал, оставив на память о себе пустую бутылку из-под водки и снедаемого угрызениями совести легковерного исследователя, то есть меня.

По утверждению Скособоченного, Гриша с Соловецких островов не имел ничего общего с тем Гришей, которого я и начальник уездной милиции знали по Василь-Сурску. Это были совсем разные Гриши, которых объединяли лишь внешность и общая биография. И это

произошло не потому, что на Соловках не было балыка, зернистой икры и легковерного Василия Петровича Белова. Причины представлялись значительно более вескими и благородными, такими благородными, что на глазах моего гостя время от времени появлялись слезы умиления.

Скособоченный уверял меня, что:

Первое. Под влиянием неустанной воспитательной работы Беспалов полюбил труд значительно сильней, чем зернистую икру, и его бригада систематически из месяца в месяц перевыполняет план на восемь-десять процентов.

Второе. Беспалов не только не представляет себе свою жизнь без постоянного самоотверженного труда на благо общества. Это само собой. Но он не представляет себе ее и без духовных ценностей, созданных человечеством за многотысячную историю своего существования. Именно поэтому он постоянно читает все поступающие на Соловки газеты и сам участвует в художественной самодеятельности, находя в ней удовлетворение своих постоянно растущих духовных запросов. Вначале он пел в хоре, а совсем недавно с большим успехом исполнил популярную соловецкую песенку: «Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Поезд едет в Соловки. На душе тревога». После концерта его лично поздравлял не кто-нибудь, а сам Володька Скокарь, тончайший знаток и ценитель блатной лирики.

Третье. Учитывая сказанное, любой шпынь поймет, что Беспалов переживает процесс второго рождения. А роды, как известно, всегда происходят в муках. Без родов муки бывают, а без мук роды — нет. И поэтому от меня, Василия Петровича Белова, многое зависит. Я могу значительно облегчить эти родовые муки. Чем? Отцовским советом и продуктовой посылкой. Речь не идет о балыке или стерляди. Обновленный Беспалов может вполне возродиться к трудовой жизни и без них. Но разве для меня так уж трудно купить, например, ветчины, копченой колбасы или несколько банок свиной тушенки!

Я, разумеется, не верил в столь скоропалительное превращение домушника в идейного строителя нового общества. И все же я получил громадное удовольствие от этого монолога. Скособоченный был прирожденным оратором и весьма способным демагогом. А все талантливое меня радует. Но меня смущали бегающие глаза

этого пламенного оратора, изукрашенного замысловатыми татуировками. Его глаза ощупывали и оценивали все, что было в моей квартире, начиная от висящего на спинке стула пиджака с лоснящимися на локтях рукавами и кончая картинами. Люди с такими глазами обычно отбывают свой срок не за халатность. Их сажают за квартирную кражу, за карманную, за кражу со взломом, но только не за пренебрежительное отношение к своим обязанностям. Что-что, а это я понимал.

Поэтому, когда он ушел, у меня вырвался вздох облегчения. Больше Сергунчика — так он мне, по крайней мере, представился — я нигде не встречал. И слава богу, как говорится. Не то знакомство, которое хочется продолжить.

Что же касается Мебельщика, то — слаб человек! — я ему отправил посылку и письмо, в котором просил ответить наконец на давно интересующие меня вопросы. Я полагал, что имею на это полное право. Но Гриша, видимо, был настолько занят своей перековкой и возрождением к новой трудовой жизни, что так и не удосужился черкнуть мне пару строк, чем начисто заморозил мою работу, посвященную истории появления в России двух гарнитуров «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура».

Увы, ему никогда не было свойственно чувство благодарности. Ну что тут будешь делать!

Я уже примирился со своей судьбой. И вот тут-то произошла эта кража в квартире, которая доставила мне столько радостей.

Я ни капли не сомневаюсь, что Гриша отправился ко мне без всякого злого умысла. Он хотел лишь навестить меня. Но, убедившись, что меня нет, а квартира пуста, он просто не удержался. Это было свыше его сил. Недаром же Оскар Уайльд говорил, что лучший способ избавиться от соблазна — это поддаться ему.

Но вот что любопытно. Я вам только что на юморе рассказывал о тех дифирамбах, которые Скособоченный пел своему приятелю по заключению. Мне казалось, что я не поверил ни одному его слову. Да и как можно поверить в то, что мой расхристанный знакомый из образцовой КПЗ, домушник Гриша Гусиная Лапка, с детства привыкший к воровству, вдруг за несколько месяцев перекуется в ударника труда и тонкого ценителя искусства? И тем не менее что-то из сказанного им, видимо, осело в моем подсознании. Глупо, но факт. Иначе не

объяснить, почему добрых две недели после кражи я, едва раздавался звонок, мгновенно хватался за телефонную трубку или бежал открывать входную дверь. Усольцев смеялся надо мной. Но я был уверен, что Беспалов или позвонит мне, или зайдет. Вот такая дурацкая уверенность.

Лишь после того, как на барахолке сотрудники уголовного розыска изъяли в какой-то лавчонке Левитана, Мане и Дега, которые уже успели побывать в десятках рук, я понял, что моя уверенность основывалась только на сильном желании поговорить наконец с Беспаловым, этим солистом художественной самодеятельности, который смог своим прочувственным исполнением растрогать даже Володьку Скокаря.

Увы, вернувшись с Соловков и нанеся мне визит вежливости, который по не зависящим от него обстоятельствам закончился квартирной кражей, Гриша Беспалов, он же Мебельщик, он же Гусиная Лапка, он же Гриша Прыг-Скок, бесследно исчез.

Впрочем, говорить о «бесследном» исчезновении было бы не совсем справедливо. Память о себе он все-таки оставил. И главное — добрую память. Да, добрую. Чего вы улыбаетесь? Вор, уголовник — все верно. А память осталась добрая. Дело в том, что, изучая пометки на полях своей рукописи, я пришел к выводу, что большую часть вопросов мне с его почти что бескорыстной помощью удастся снять. И я не ошибся. Таким образом, только после кражи и благодаря ей я смог успешно закончить начатую мной работу. Согласитесь, это совсем немало. Да и вы узнали много нового. А ваши читатели?

Так что Гриша Беспалов не совсем бесцельно прожил свою жизнь. В некотором роде он даже является моим соавтором. Во всяком случае, в вопросах имитации дерева, перламутра и слоновой кости я бы без него не разобрался.

А вам своей кражей у меня на квартире он как бы подсказал заключительную главу всей этой истории с мебельным гарнитуром «Прекрасная маркиза», или «Золотые стрелы Амура».

Во всяком случае, в действительности эта история закончилась именно так, а не иначе.

Вот в этом Василий Петрович как раз ошибался. Жестоко ошибался. Рассказанная им история, как я очень скоро убедился, имела совсем другой конец, о котором он даже не подозревал...

В тот вечер, когда я был у Василия Петровича, к нему на огонек заглянул Евграф Николаевич Усольцев, и мы засиделись допоздна.

Зять Белова, теперь уже доктор химических наук, Константин Кондратьевич, вызвался проводить нас до метро. Он всегда перед сном совершал получасовую прогулку, считая ее залогом долголетия.

— Небось до моего прихода Василий Петрович вам все про мебельный гарнитур «Прекрасная маркиза» рассказывал? — спросил меня Усольцев, когда мы вышли из подъезда.

Я подтвердил его догадку. Евграф Николаевич переглянулся с Константином Кондратьевичем, и они засмеялись.

— Любопытная, конечно, история, — сказал Усольцев. — Но, между нами говоря, Василий Петрович в своем рассказе об «экспонате № 5», как он выражается, допускает некоторую неточность.

— Или, попросту говоря, ошибку, — вставил Константин Кондратьевич.

— Дело в том, — сказал Усольцев, — что к краже на его квартире Мебельщик никакого отношения не имел. В чем не повинен, в том не повинен. К тому времени, когда это случилось, Гриша Беспалов — мир праху его — уже был мертв.

Я не пытался скрыть удивления.

— Мертв, — повторил Усольцев. — Он скончался на Анзере от крупозного воспаления легких. Так на наш запрос ответила администрация.

— И вы не сказали об этом Белову?

— Нет, не хотелось портить уже обкатанную историю. Уж больно хорошо она получалась у Василия Петровича.

— Но кто же мог совершить эту кражу?

Он засмеялся.

— Стыдно признаться, но до сих пор не знаю. Чего не знаю, того не знаю. В те годы домушников хватало. Мог тогда к нему забраться на квартиру и тот, кого Василий Петрович прозвал Скособоченным, и другой приятель Мебельщика — Петька Интеллигент. Да мало ли кто!

— Постойте, постойте, — сказал я. — Давайте все-таки расставим точки над «и».

— Ну как, расставим? — повернулся Усольцев к Константину Кондратьевичу и подмигнул ему.

— Расставим, — согласился тот.

— Пометки на полях рукописи Василия Петровича были или не были?

— Были, — сказал зять Белова.

— Могли они принадлежать Скособоченному или Петьке Интеллигенту?

— Нет, конечно.

— Значит, сделал их, судя по всему, человек достаточно компетентный?

— Надеюсь, — усмехнулся он.

— Кто же?

— Константин Кондратьевич, кто же еще? — сказал Усольцев.

— А если без шуток?

— Евграф Николаевич не шутит. Так оно и было.

— Странно.

— А что вас, собственно, удивляет? — пожал плечами зять Белова. — Василий Петрович настолько горел этой работой, что невольно заинтересовал и меня, тем более что вопросы имитации материалов для мебели химику значительно ближе, чем искусствоведу.

— Допустим.

— Ну а во время его отъезда мне было поручено присматривать за квартирой. Занятие скучное. Вот я и начал потихоньку читать его рукопись. Ну и не удержался от соблазна сделать на полях кое-какие замечания.

— Но зачем вам с Евграфом Николаевичем потребовалось разыгрывать Василия Петровича?

— А мы не собирались его разыгрывать. Он нас буквально вынудил к этому.

— Константин Кондратьевич!

— А что? Действительно вынудил, — подтвердил хохочущий Усольцев.

— Во-первых, — продолжал зять Белова, — ему очень хотелось поверить в то, что вором был Мебельщик. А во-вторых... Посудите сами, когда говорят, что в ваших замечаниях обнаружено двадцать три орфографические ошибки, вы вряд ли тут же закричите о своем авторстве и уж, во всяком случае, не будете отстаивать его. Зачем мне это? Пусть лучше «чудовищной безграмотностью» отличается Мебельщик. С него взятки гладки.

— А вы действительно... — осторожно поинтересовался я.

— К сожалению. До сих пор не могу подружиться с орфографией. — Наступило молчание.

— Но теперь, когда прошло столько лет, — сказал я, — видимо, стоит восстановить истину.

— Не уверен, — покачал головой Усольцев, — совсем не уверен.

— Зачем? — поддержал его Константин Кондратьевич. — Заблуждение Василия Петровича разве помешало ему закончить свою работу? Нет. А вам оно помешает?

— Да нет, скорей наоборот. Вы с Евграфом Николаевичем подсказали мне неожиданную концовку, которой я, видимо, и воспользуюсь.

У метро мы расстались довольные друг другом. Так что если Василий Петрович считал своим соавтором Гришу Мебельщика, то моими соавторами вполне могли бы стать Константин Кондратьевич и Евграф Николаевич. Особенно Константин Кондратьевич. Но он совсем на это не претендовал и даже просил не упоминать его фамилию в повести о музее Петрогуброзыска. Я его понимаю. Что ни говорите, а двадцать три орфографические ошибки — это многовато не только для доктора химических наук, но даже для кандидата...

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЛОВ И УСОЛЬЦЕВ
3

ЭКСПОНАТ № 1
9

ЭКСПОНАТ № 2
41

ЭКСПОНАТ № 3
111

ЭКСПОНАТ № 4
145

ЭКСПОНАТ № 5
205

ИБ № 4920

Юрий Михайлович Кларов

ПЯТЬ ЭКСПОНАТОВ ИЗ МУЗЕЯ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Редактор **Н. Притулина**
Рецензенты **С. Абрамов, В. Балязин**
Художник **Н. Абакумов**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Е. Михалева**
Корректоры **Е. Дмитриева, В. Авдеева**

Сдано в набор 02.07.85. Подписано в печать 20.11.85. А04900. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,7. Уч.-изд. л. 15,4. Тираж 100 000 экз. (50 001—100 000 экз.). Цена 1 руб. Заказ 1091.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

1 руб.

Юрий Михайлович Кларов родился в 1929 году в Киеве. После окончания Московского юридического института работал в Архангельской коллегии адвокатов, сотрудничал в газетах и журналах. Член Союза писателей и Союза журналистов СССР.

Кларов — автор популярных книг, переведенных на восемь языков. Его произведения неоднократно инсценировались и экранизировались. Пьеса «Конец Хитрова рынка», впервые поставленная Московским театром имени Ленинского комсомола, обошла сцены многих театров страны. Хорошо известен зрителям и телевизионный фильм «Черный треугольник».

Кларов — лауреат премии имени Н. И. Кузнецова первой степени и трижды лауреат Всесоюзных конкурсов Союза писателей и МВД СССР на лучшее произведение о советской милиции.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

